ВАЛЕНТИН ГАГАРИН

МОЙ БРАТ ЮРИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В повести рассказывается о детстве и юности первого космонавта земли Юрия Алексеевича Гагарина, о времени и условиях, в которых он рос, в которых развивался и мужал его характер.

- МОЙ БРАТ ЮРИЙ
  -
  - Предисловие ко второму изданию
  - Пролог
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - ГЛАВА 1
      - В лес за ёлкой!
      - Подарки
      - Праздник
      - С новым счастьем!
    - ГЛАВА 2
    - ГЛАВА 3
      - Разговор на военную тему
      - Привязанность
      - Змей и планер
    - ГЛАВА 4
    - ГЛАВА 5
    - ГЛАВА 6
      - Чёрный день
      - Беженцы
      - Гурты на дороге
      - «Пал смертью храбрых…»
    - ГЛАВА 7
    - ГЛАВА 8
      - Межвременье
      - Немцы!
      - Рус Иван!
      -
    - ГЛАВА 9
      - Память
      - Красный командир
      - Как Гастелло!..
    - ГЛАВА 10
      - Про сахар и аккумуляторы
      - Не убереглись!..
      - «Марьванны» прилетели!..

- ГЛАВА 11
  - Пашем!
  - «Мины» на дороге
  - Кто фашист?
- ГЛАВА 12
  - Листовка
  - Пожар на мельнице
  - В неволю
  - Письмо из дому
- ГЛАВА 13
  - Разведчики
  - Узелок с солью
  - Главное — живы!..
- ГЛАВА 14
  - Три восклицательных
  - Долог день до вечера
  - Через много лет…

○ ЧАСТЬ ВТОРАЯ

- ГЛАВА 1
  - Полевая сумка и пилотка
  - «Я ведь не маленький…»
  - Не повезло!
- ГЛАВА 2
  - В новой школе
  - Сатин на галстук
  - Труба дело!
  - Операция «Баян»
  - Проиграл!..
  - «Моя любимая книга»
- ГЛАВА 3
  - Сватовство
  - Грустная история Найдёныша
- ГЛАВА 4
  - Пошутил!
  - Шерсть «на задир»
  - Самолет или топор?
  -
  - На рыбалку с учителем!
- ГЛАВА 5
  - Сенокос
  - Что скажет дядя Савва?
  - Билеты на московский
  - «Ну, поехали!..»
  - В Белокаменной

- Хождение по мукам
- Рабочего класса прибыло!
- ГЛАВА 6
  - Первый перевод
  - На побывку!
  - Борис примеряет фуражку
  - Как Алешка в школу ходил
  - А какой он был — Ленин?
  - Про Володину тетрадь и куст гортензии
  - Два письма
- ГЛАВА 7
  - Как поладить с «трудными»…
  - Город маминого детства
  - Под куполом парашюта
  - В училище!
- ГЛАВА 8
  - Начало
  - «Запрещенный метод»…
  - Откровение
  - Счастливый день
  - Служба зовет!
- ГЛАВА 9
  - Письма домой
  - Внучка родилась!
  - Немного о бланках…
  - На новое место
- ГЛАВА 10
  - Утро после грозы
  - Принят в партию
  - «Неужели какой найдется?..»
- ГЛАВА 11
  -
  - Иду на работу
  - Мама
  - Корреспонденты
  - Отец
  - Правительственная телеграмма

○ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

- ГЛАВА 1
  - «До» и «после»…
  - «За вами другие пойдут…»
  - Космонавт — почетный колхозник
- ГЛАВА 2
  - В гостинице

- Во Внукове
- На Красной площади
- ГЛАВА 3
  - Рукопожатия друзей
  - На пути в злату Прагу
  - В долине роз
  - Исполнение мечты
- ГЛАВА 4
  - «Буду завтра!»
  -
  - Диспут о боге
  - Народу спасибо!
  - Какие замечательные ребята!..
  - «Работаем как все…»
- ГЛАВА 5
  - В кругу товарищей
  - Мужество
  - Позывной «Чайка»
  - Букет гвоздик
- ГЛАВА 6
- ГЛАВА 7
  - «Очень о всех соскучился…»
  - «Приеду охотиться…»
  - Во вторник, 26 марта…
- ГЛАВА 8
  - Чёрная весть
  - Пометки в календаре
  - Дорога в зону
  - В соседнем квадрате
  - Валя
  - Месяц март…
  - «Мой папа»
- ГЛАВА 9
  - Память людская
  - Продолжить начатое…
  - Город Гагарин, Проспект Гагарина…
  - На улицах родного города
  - В Рязани, на радиозаводе

○ Эпилог

○

ВАЛЕНТИН
ГАГАРИН

МОЙ БРАТ ЮРИЙ

ПОВЕСТЬ

МИНСК
«ЮНАЦТВА»
1988

МОЙ БРАТ ЮРИЙ

За 26 лет до выхода на орбиту Земли советского космического корабля «Восток» с человеком на борту Константин Эдуардович Циолковский сказал:

«Не хочется умирать на пороге проникновения человека в Космос. Я свободно представляю первого человека, преодолевшего земное притяжение и полетевшего в межпланетное пространство... Он русский... Он — гражданин Советского Союза. По профессии, вероятнее всего, летчик... У него отвага умная, лишенная дешевого безрассудства... Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола».

Эти слова произнесены великим ученым в 1935 году. Юре Гагарину было в то время около года.

Кто мог предречь тогда, что именно этот малыш, рожденный в семье смоленских колхозников, станет первым из тех обитателей планеты, на чью долю выпадет, разорвав путы земного притяжения, проникнуть в межпланетное пространство? И все же портрет космонавта, нарисованный Циолковским, удивительно точно предвосхищает и внешний облик Юрия Гагарина, и содержание его внутреннего мира. В этом может убедиться каждый из тех читателей, кто познакомится с воспоминаниями его старшего брата Валентина Алексеевича Гагарина...

Предисловие ко второму изданию

Впервые повесть «Мой брат Юрий» была издана отдельной книгой в 1972 году. Интерес, проявленный к ней читателями по выходу в свет, не стал слабее со временем. И это, в общем-то, объяснимо. Главный герой книги — человек редкой пока профессии: космонавт. И не просто космонавт — Первый из их когорты в Союзе, на земле. Люди самых разных возрастов, самых несхожих призваний хотели и хотят знать как можно больше о жизни Юрия Алексеевича Гагарина.

Читательские конференции — в школах и вузах, на заводах и в колхозах, в студенческих стройотрядах и воинских частях... Письма — из самых отдаленных уголков страны. И во время встреч с читателями, и в письмах — многочисленные вопросы, а порой — особое спасибо этим людям! — теплые воспоминания, искренние рассказы о встречах с Юрой.

Вопросы — этой темы не обойдешь — бывают всякие: и серьезные и курьезные. К примеру, часто встречается такой — скорее всего из разряда серьезных: почему в повести так скупо говорится об отношении Юрия Алексеевича к жене и дочкам Лене и Гале? В ответ приходится разводить руками: отношение было самым добрым, славным, Юра очень любил и Валентину и дочек, это общеизвестно, однако, товарищи дорогие, книга-то моя о другом — о нашем детстве, о нашей юности. О том, проще говоря, чему я сам свидетелем был, что сызмальства память моя сохранила... Кстати сказать, вопрос этот задают преимущественно женщины.

Из категории курьезных стоит, пожалуй, привести такое письмо: «Многоуважаемый Валентин Алексеевич! Я прочитал книгу «Мой брат Юрий» и догадался, что у вас много знакомых среди космонавтов, что вы часто бываете в Звездном городке. Это хорошо. Дело в том, что я очень хочу прославиться и стать Героем Советского Союза. А прославиться и стать Героем легче всего, если сначала станешь космонавтом. В будущем году я заканчиваю восемь классов, и у меня к вам, Валентин Алексеевич, огромной важности просьба: устройте меня по знакомству в отряд космонавтов в Звездном, пока учеником, и, когда я там вырасту и выучусь, я достигну исполнения своей мечты. Надо спешить, потому что желающих много, и я не хочу терять время понапрасну...»

Обратный адрес на конверте подсказывал, что с автором письма — его звали Володей — мы живем в одном городе, в Рязани. И — выпал счастливый случай — вскоре встретились мы с

Володей на читательской конференции в школе. Мальчик понравился мне — своей честностью, откровенной прямотой в разговоре. Как-то не вязалась с его ясным взглядом эта фраза из письма: «...устройте меня по знакомству в отряд космонавтов...». Мы тогда долго и подробно говорили о том, как труден путь в отряд — много мужества, физических и нравственных сил требует от человека, и о том еще, что «по знакомству» никто и никого туда не устраивает.

История та давно случилась, и Володя уже среднюю школу успел закончить, и где он сейчас, к какому делу в жизни прибился — сказать не могу. Но с той нашей встречи с ним не дает мне покоя одна мысль. Вот о чем она — о том, что в газетных и журнальных наших писаниях, в книгах на эту тему профессия космонавта — и по праву! — опоэтизирована, полна романтики. Но, может, не в ущерб романтике нужно порой акцентировать внимание и на тех трудностях, которые выпадают на долю каждого космонавта, пока не пробьет его «звездный час»? Впрочем, и после «звездного часа», после полета (или нескольких полетов) в заатмосферные дали — разве легче становится она, их работа? Я действительно бываю в Звездном и — пусть со стороны поверхностно — могу, однако, судить о том, как напряженны будни Юриных товарищей. Постоянный поиск, каждодневная учеба, тренировки, самозабвенный труд, известная степень риска... Да и пример брата — вся его недолгая, не знающая лености, скидок на усталость жизнь — памятен мне.

В заключение хочу сказать, что новое издание повести дополнено отдельными фактами из жизни Юры и его близких, что сделана посильная попытка ответить на многочисленные вопросы, заданные в письмах, услышанные во время встреч с читателями, что использованы по возможности и воспоминания людей, знавших или когда-либо встречавших Юру... В этом издании появилась совершенно новая, третья часть, названная так: «Космонавт Гагарин». В ней приводятся некоторые подробности из деятельности Юрия Алексеевича — командира отряда в Звездном, рассказывается о том, как провожал он на орбиты своих товарищей.

И еще. Повесть переведена в братских республиках, издательство «Прогресс» выпускало ее в свет на испанском и английском языках.

Валентин ГАГАРИН

Пролог

Ударил радостно школьный звонок и покатился по коридорам. В шестом «А» — класс находился на втором этаже — учитель поднялся из-за стола, ребята загремели скамьями.

Перемена!

Последняя перед последним в этом году уроком.

Мальчишки и девчонки сгрудились у распахнутых настежь окон. Каждому хотелось занять местечко поближе к солнцу и так еще, чтобы лучше видеть улицу.

В эту позднюю весну, на удивление всем, богато цвела сирень. Она тянула свои белые, розовые и синие кисти из-за деревянных изгородей палисадников к свету, к редким прохожим.

Когда вот так греет солнце и многожданные — с походами в зеленый лес, с долгим зореванием на Гжати — каникулы на носу, тут уж не до учебы. Самые интересные учебники вдруг скучнеют, всякая минута урока становится в тягость, и каждую перемену ох как ждешь не дождешься!

Кто-то из мальчишек вырвал из тетради листок, быстро соорудил «голубя» и швырнул в окно. Подхваченный волной теплого воздуха, «голубь» резко взмыл вверх, перелетел улицу и застрял в ветвях черемухи, в палисаднике напротив.

Выдумка пришлась ребятам по душе. И вот уже зашуршали тетради, явственней стал треск выдираемых из них листов, цветные обложки пошли в дело, и целые эскадрильи бумажных самолетиков — синих, розовых, красных — взмыли в воздух из окон второго этажа.

Мальчишки свесили головы с подоконников, ревниво — каждый за своим и за чужим одновременно — следили за самолетиками.

— Во мой парит!

— А мой-то, мой!.. Во-он куда полетел...

— Заливай! Твой кувыркнулся...

— Не кувыркнулся, а «бочку» сделал.

— Понимал бы ты: «бочку»...

— По шее хочешь? Так я могу.

— Отзынь, не то так врежу!

— А у моего центр тяжести лучше. Я гвоздь в

нос ему воткнул...

По мостовой шел старичок: серый парусиновый костюм, соломенная шляпа, очки в проволочной оправе на горбатом носу. И еще — черная бородка клинышком.

Заслышав ребячий гомон, старичок поднял голову вверх,

улыбнулся, помахал ученикам рукой.

Тут-то и случилось непоправимое: самолет, выброшенный из окна последним,— великолепный оранжевый самолет из тетрадочной обложки, со столбиками таблицы умножения на фюзеляже, с нарисованными красным карандашом звездами на крыльях,— прочертив в воздухе плавную дугу, стремительно пошел на снижение и спикировал прямо на старичка. Задел шляпу, очки, и очки упали на мостовую. Звякнуло стекло. Старичок нагнулся, шаря по мостовой руками.

Ребят от окон как ветром сдуло.

— Ой, он в школу идет! — пискнул испуганный девчоночий голос.

Когда в класс вошел учитель физики Лев Михайлович Беспалов, а следом за ним бочком протиснулся в дверь старичок в парусиновом костюме, ученики, приветствуя их, поднялись без обычного шума.

— Садитесь,— разрешил Лев Михайлович.

Сели не дыша.

— Кто это сделал?

Беспалов положил на край стола великолепный оранжевый самолет — тот самый со столбиками таблицы умножения на фюзеляже, с нарисованными красным карандашом звездами на крыльях, но ребята как будто ничего не замечали: каждый сосредоточенно рассматривал крышку своего стола.

— Кто обидел пожилого человека? — повторил Лев Михайлович.

Класс молчал.

Старичок растерянно вертел в руках шляпу. Очки по-прежнему сидели на его горбатом носу, но одного стекла в них недоставало.

Беспалов прошелся из угла в угол, взял со стола оранжевый самолет, повертел его в руках.

— Вот что, ребята. Наказывать я вас не буду — через сорок пять минут начинаются ваши каникулы. Оставлять вас без обеда, вызывать родителей теперь уже бесполезно. Но вот рассоримся мы с вами, судя по всему, на целое лето.

Класс шумно вздохнул.

Шли минуты урока, но урок, по сути, не начинался.

И тут из-за стола в среднем ряду поднялся невысокий русоголовый мальчуган. Сосед отчаянно дергал его за штанину: сядь, мол, чудак! — но мальчуган обреченно отмахнулся.

— Лев Михайлович,— сказал он,— не надо со всеми ссориться: класс невиноват.— И повернулся к старичку: — Это я сделал. Простите меня, пожалуйста.

Старичок прицелился в него уцелевшим стеклышком очков, пытаясь лучше рассмотреть виновника беды.

— Я не с умыслом — по нечаянности вышло,— повторил мальчуган.

Класс ждал. Старичок неопределенно пожал плечами, и вдруг добрая улыбка тронула его сухие губы, и тотчас она, эта улыбка, отразилась на лицах учеников.

— Честное признание снимает с тебя вину, мой юный друг,— изрек он с витиеватой старомодностью.— Я не в обиде. Да-с, не в обиде, на таких мужественных ребят нельзя держать сердца.— Пожилой человек обращался уже к учителю:— Сам кончил гимназию, как же-с, как же-с, тоже шалил, бывало. Возраст, ничего не поделаешь. Простим ребят, да-да, простим.

Лев Михайлович как-то некстати кивнул головой.

Все вздохнули снова, на этот раз шумно и с облегчением, и тут же увидели в руках у Беспалова оранжевый самолет.

— Всякое увлечение хорошо, однако иногда и меру надо знать,— укорил ребят Беспалов. И откровенно признался: — А я уже было подумал, что разругаюсь с вами на целое лето. Нехорошо вышло бы... Договорились же строить летом настоящие модели...

В недавнем прошлом боевой летчик, участник Великой Отечественной войны, Беспалов хорошо понимал, что это такое — ребячья страсть к авиации. Сам когда-то, в довоенные еще годы, начинал в аэроклубе. Он и подогревал ее постоянно, эту страсть, организовав в школе кружок по авиамоделизму.

— А сейчас продолжим урок.

— Извините-с!.. Еще минутку.

Старичок в парусиновом костюме, прежде чем покинуть класс, снова всмотрелся в мальчугана — тот все еще стоял за столом. Осведомился:

— Как зовут тебя, мальчик?

— Юра Гагарин.

История эта, приключившаяся с Юрой, стала известна в семье в тот же день. Когда вечером собрались ужинать, сестра Зоя спросила:

— Что, Юра, страшновато было каяться-то?

— Еще как страшно! — улыбнулся с хитринкой Юра.— Зато старичок очень добрый попался. Он, по-моему, сам робел не меньше нас.

* * *

...Сейчас, когда так много времени прошло с тех дней, пытаешься вспомнить все, что имеет какое-то отношение к детству Юры, к юношеским его годам. Что-то очень цепко, неизгладимо хранится в памяти. Что-то утрачено, потеряно и, однако, не насовсем. Каждая поездка в Гжатск (теперь город Гагарин) или на место родового нашего «корня» — в село Клушино, нечаянная или обговоренная заранее встреча с друзьями собственной юности, с друзьями детства и юности брата, с людьми, близко знавшими его, тонким лучиком высветят вдруг что-нибудь полузабытое, нечеткое, не имевшее прежде определенной формы. И начинает работать механизм памяти. Извлекаются из неведомо каких тайников картины событий — тех самых, над которыми порой и не задумался бы.

Вот так и рождалась эта книга. И начать ее хотелось именно с этой картины — со старичка в парусиновом костюме, с оранжевого самолета из обложек ученической тетради.

Почему именно с этой, постараюсь сказать чуть позже.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КЛУШИНО — НАША РОДИНА

ГЛАВА 1
Канун сорок первого

В лес за ёлкой!

Вечером, запоздно уже, я сказал маме:

— Завтра пойду в лес. За елкой.

Мама только что вернулась с фермы, раздевалась у порога. За окнами недвижно стояла густая темень. Семилинейная лампа, подвешенная к потолку на проволочном крючке, ярко высвечивала стены избы, беленый угол просторной русской печки, стол, за которым Зоя готовила уроки.

— Ты слышишь, мам? — повторил я.— За елкой пойду завтра.

Мама вздохнула и согласилась:

— Ладно уж, пойдешь. Видать, не дождаться отца нам.

— Валь, я с тобой,— вцепился в мой рукав Юра.— Я тоже хочу за елкой.

Я представил, как трудно будет ему, шестилетнему, угнаться за мной на крохотных лыжах по рыхлому снегу, не побежит — поползет ведь. А день будет клониться к вечеру, потому что за елкой нужно идти после уроков в школе, и еще выбирать ее нужно: не всякая годится к празднику. Представил я это и строго сказал:

— Ты посидишь дома.

— Нет, пойду,— заупрямился брат.

— Нет, останешься.

— Пойду!

— Хватит вам, петухи! — прикрикнула мама.— Утро вечера мудренее. Спать! Зоенька, ты управилась?

— Сейчас, один пример дорешаю.

Пример сестра решила быстро, лампу загасила, и уже ничего не было видно в нашей избе — ни печки, ни стола, ни стен, ни прямоугольников врезанных в них окон.

А за окнами как раз метель разгулялась, подняла поземку, и ветер чертом завыл в печной трубе.

Я лежал и слушал тихое дыхание Юрки — он спал рядом: только руку протянуть — и вот она, его койка. Слушал, как сладко почмокивает во сне наш самый младший, Бориска. Как высвистывает ветер в трубе. Слушал и думал о том, что очень все это некстати — и метель, и ветер. Некстати потому, что и за

елкой надо идти, и вряд ли теперь, по такой-то непогоде, по непроходной дороге, отец успеет к празднику. Почитай, полтора десятка верст пути осилить надо. С его-то больной ногой. Да ни в жизнь!

Отца, как на грех, за неделю до Нового года с бригадой колхозных плотников направили в районный центр — отремонтировать срочно какие-то общественные постройки. Обещал он нам вернуться для через три, ну, по крайности, через четыре. Обещал, а вот неувязка вышла... Некстати все это и потому еще, что в прежние годы, сколько помнил я себя, забота о елке ложилась на плечи отца. А теперь мне предстояло на себя ее взваливать... Да и праздник без отца — скучнее он будет. Новый год, так говорила мама, принято встречать всей семьей.

С такими невеселыми мыслями я и заснул. Уж не помню, что мне снилось в ту ночь, но разбудили меня голоса: один, приглушенный,— не побудить бы ребят! — мамин, другой — неторопливый, бубнящий.

«Отец! — догадался я.— Как же это он успел?»

Глаза раскрываться не хотели. Протянул руку — Юры на койке уже не было, но постель еще хранила тепло его тела.

Вылезать из-под одеяла мне тоже не хотелось: в избе, знал наверняка, сейчас не то что прохладно — студено. Лежал с закрытыми глазами, слушал медлительно-спокойный рассказ отца.

— Из Гжатска выехали в сумерки,— говорил он.— Сначала ничего вроде, ладно, а потом метель нас прихватила. Перепугались малость, думаем, не заплутать бы. До Тетерь доехали кое-как — решили остановку сделать, заночевать. К утру улеглось, так снова в дорогу пустились. Спешили к празднику успеть.

— Ну и хорошо, а я уже было обеспокоилась,— отвечала мама.— Завтракай да отдохнуть ложись.

— Какой теперь отдых...

— Валь,— прошептал над самым ухом Юрка.— Слышишь, Валь?

С трудом разодрал я веки. Юрка одет, умыт, причесан. Наклонился надо мной, на лице — таинственность и нетерпеливость: что-то, видно, знает такое, чего не знаю я, и хочется ему, очень хочется поделиться своей тайной, и радостно, что он узнал первым.

— Валь, вставай, пойдем в сени.

Как и с вечера, помигивал за стеклянным пузырем семилинейки огонек — теперь уже не такой яркий, потому что предутренняя темень, не в пример полуночной, не так плотна;

ходики на стене выстукивали минуты: тик-так, тик-так... Стрелки на ходиках показывали очень раннее время: без десяти пять. Мама, управясь с ухватами, задвинув в печку большой чугун со щами, куталась в теплый платок — ей сейчас на ферму надо было бежать, к поросятам своим подопечным. Отец сидел за столом и ногтями сдирал «мундиры» с холодных картофелин — от вчерашнего дня осталась картошка. Завтракал.

— Здорово, батя,— сказал я ему и, как был, в трусах, в майке, выскочил вслед за братишкой в сени.

Мороз ударил в колени, знойные мурашки побежали по телу.

— Ух!

В сенях, на скамье, стоял с прикрученным фитилем фонарь «летучая мышь». И тут, в скупом его свете, я вдруг увидел прислоненную к стене елку. Тонкая и пушистая, верхушкой доставала она потолок и сверкала каждой своей ветвью, каждой иголкой. Это снег и льдинки застыли на ней и теперь отражали скудный, желтоватый свет «летучей мыши». Юра вывернул фитиль в фонаре, качнул веточку на елке — осыпался снежок, льдинки на ветке заискрились, заблестели, а одна упала на пол, разбилась с хрустальным звоном.

— Вот это да! Отец елку принес?

— Игрушек вовсе не надо,— невпопад ответил братишка.— Правда, Валь? Так вот и поставим. Красиво!

— Она растает, Юрка. От тепла растает. И ничего не останется.

Юра погрустнел, а я, почувствовав, что совсем замерзаю в холодных сенях, побежал в избу.

Подарки

Дом наш на высоком каменном фундаменте стоит. Громоздкие, неподъемные камни эти присмотрели на дальнем поле и прикатили во время стройки самолично отец и мать. И как управились?.. Просторный у нас дом, соломой крытый, из звонких, пропитанных запахами солнца и смолы лесин сложенный. Он и срублен был отцовским топором, и поставлен был на хорошем месте — на самой окраине села, у дороги, что ведет в Гжатск, в районный центр.

Вокруг дома — сад: яблони, вишенки, смородина. За дорогой — у нашего дома она делала поворот почти под прямым углом — луг. Зимой он белый, заснеженный, а летом — цветистый, пестрый, гудящий пчелами. Дальше, за лугом, стояли молочно-товарные и животноводческие фермы, мельница-ветрянка лениво помахивала крыльями. За мельницей, полгоризонта синим

поясом увязывая, лес виднелся.

Если же к нам идти от центра села, от школы, например, то следует спуститься по довольно отлогому и длинному склону. Зимой это было очень удобно: едва первый снег выпадал и склон становился выше, круче, мы, ребятня, подошвами валенок такие прокатывали на взгорье ледяные дорожки — одно удовольствие. Возвращаешься, бывало, из школы, остановишься на минутку на самой вершине склона, посмотришь вниз, а потом оттолкнешься посильнее и — только держись, смотри, как бы нос не расквасить! Мчишь без останову. Притормозишь где-нибудь далеко за родным домом и вдруг обнаружишь, что шапку на полпути обронил, что сумка твоя раскрыта, а тетрадями ветер на снегу играет. Идешь собирать.

От родителей, понятное дело, за обувь доставалось — «горела» она на наших ногах.

В тот день, последний день декабря, занимались мы в школе недолго: нам раздали табеля с оценками за вторую четверть и распустили по домам, предупредив, что в три часа дня в школе состоится новогодний вечер.

Домой мы с Зоей шли, утопая по колено в снегу: ночная метель сделала свое дело — засыпала, замела наши ледяные дорожки. Только редкая цепочка глубоких следов — наших же, утренних — бежала нам навстречу по склону.

У крыльца дома топтался Юра, нас поджидал. Шапка на нем моя, старая,— тесна она мне стала, да и водилось так в нашей семье, как и в других крестьянских семьях: младшие все донашивали за старшими, достаток не ахти какой имелся. На подбородке шапка тесемками завязана, так что только глаза и нос покрасневший видны. Пальтишко длинное и пестрые, мамой связанные варежки на руках.

Завидев Зою и меня, Юра побежал навстречу, глотая слова, прикартавливая чуть-чуть, закричал:

— Я тоже... с вами... в школу... пойду... На праздник...

— Пойдешь-то ты пойдешь,— ответил я,— только вот беда: тебя ведь никто не приглашал туда. Вдруг не пустят?!

— Ну что ты болтаешь, чего выдумываешь? — вступаясь за брата, оговорила меня Зоя.— Как это не пустят?

— Очень просто. Кто он такой? Не школьник даже. Так, от горшка два вершка.

— Пустят,— упорствовал Юра.— Меня Ксения Герасимовна пригласила.

Трудно давалось ему сложное имя-отчество моей и Зоиной учительницы, и он для убедительности повторил еще раз:

— Ксения Герасимовна... пригласила. Сама! Я катался на

лыжах, а она подошла и сказала: «Приходи, Юрик, в школу, у нас праздник сегодня, и у тебя тоже будет праздник».

— Тогда придется взять.

В избу мы ввалились втроем — точно в жаркую речную воду окунулись. От печи исходило ровное тепло, вкусно пахло свежими щами, а посреди комнаты в крестовине, только что слаженной отцом, стояла наша красавица елка. Росинки блестели на ее ветвях, и, пританцовывая, ходил вокруг нее и хлопал в ладони Бориска.

Мы разделись и, пока оставалось время до начала школьного вечера, принялись обряжать елку. Хозяйничала Зоя, мы с отцом помогали ей, а Юра и Борис вертелись около. То есть не то чтобы вертелись — норовили игрушки на ветки цеплять, да не все у них получалось... Борис был увальнем, ходил медленно, весь преисполненный какой-то внутренней важности, и Юра не упускал случая поддразнить его. Так было и сегодня. Схватив Бориску за руки, Юра подтянул его к себе, приказал, строго глядя брату в глаза:

— Будешь делать, как я. Заниматься зарядкой будем. Делай р-раз!

Две пары рук — одна против воли их хозяина — взметнулись вверх.

— Делай — два!

Руки разошлись в стороны.

— Делай — тр-ри!

Руки упали вниз.

И снова:

— Делай р-раз!

Этаким вот манером — зарядкой — Юра изводил Бориску по нескольку раз на дню, особенно по утрам, и заканчивалось всегда одним и тем же: не выдержав такого вольного с собой обращения, Борис с криком, со слезами на глазах убегал искать защиты у матери. Так случилось и сегодня: Борька заревел, мать прикрикнула на Юру.

— А я что? Я ничего,— оправдывался он.— Толстый Бориска очень, вот я...

Наконец и елка убрана — ох и красавицей же обрядили ее, а все не то, нет того сказочного блеска, что был на ней утром, когда в сенях стояла,— и время уже идти в школу, на праздничный вечер.

Мама открыла сундук, перебирает в нем что-то. Мы ждем, затаив дыхание.

— Юра,— зовет она,— я вот тебе рубашку новую к празднику сшила. Ну-ка, сынок, надень, посмотрим, хорошо ли придется.

Рубашка, по общему мнению, пришлась в самую пору. Юра подозрительно смотрит на нас: не задразним ли мы его за девчоночьи нежности? — а потом решительно идет к маме и целует ее в щеку:

— Спасибо...

Получают по обновке и все остальные: Бориске и мне тоже по рубашке досталось, Зое — кофточка.

Мы спешим одеться: не опоздать бы! А мать все не отпускает нас, все приглядывается: ладно ли вышло у нее рукоделие? И, радостная, вздыхает вдогон, когда мы уже у порога:

— Чай, не стыдно будет на людях показаться...

Праздник

Школьный зал до отказа ребятами набит. По беленому потолку, с угла на угол, разноцветные флажки на нитках протянуты, гирляндами из хвойных веток украшены стены.

Я держу Юру за руку. С трудом пробиваемся мы с ним к маленькой сцене. Так получилось, что, едва переступили мы порог школы, преподаватели, которые хорошо знали Юру, затащили его в учительскую, помогли раздеться — снять пальто и шапку. А Ксения Герасимовна Филиппова возьми да спроси Юру:

— Может, ты выступишь на нашем вечере?

— Ага, выступлю,— вполне серьезно ответил брат.— Я целых два стихотворения к Новому году выучил.

— Вот и хорошо,— одобрила Ксения Герасимовна.— Так мы тебя первым и выпустим.

Я опять держу Юру за руку. Глазенки у него блестят восторженно, разбегаются по сторонам. Все ему внове, все интересно: впервые попал он в такой пестрый, гомонящий, сложный мир. Некоторые школьники, из тех, что постарше, пришли на вечер в самодельных маскарадных костюмах. Оберегая — как бы не помять! — пышные хвосты из марли и ваты, снуют меж ребят «белки» и «сестрички-лисички», золотую пыльцу осыпают с высоких кокошников «снежинки» и «снегурочки». Кругом чудеса, на каждом шагу дива дивные.

— Валя, а это кто? — спрашивает брат.

— Как это? Это же Нинка Белова, соседка наша.

— Нет, костюм на ней чей?

Костюм на Нине сегодня великолепный: по длинному черному платью — серебряная россыпь звезд из фольги, пышная и длинная, до пояса, русая коса у нее, а на черной шапочке искусно нашит полумесяц из бумаги бронзового цвета.

— Наверно, это Ночь.

— Ага, я так и думал. Только это ночь теплая, летняя.

У самой сцены, с деревянной шашкой на поясе, заломив папаху на затылок, покручивает тонкий рыжий ус лихой казак.

— Чапаев! — шепчет брат завороженно.

— Женя,— говорю я «Чапаю», потому что узнаю в нем Женьку Белова, моего товарища по школе и по уличным играм,— Женя, помоги-ка мне. Артиста должен видеть народ.

Женя, подморгнув брату, куда-то исчезает и вскоре возвращается со стулом в руках, поднимает его на сцену. Я помогаю Юре подняться на стул, и он, не дожидаясь, пока объявят его номер, объявляет его сам.

— Милые ребята,— кричит он изо всех силенок,— сейчас я прочту вам два стихотворения. Слушайте все, пожалуйста.

Школьники смеются, аплодируют, кто-то выкрикнул: «Просим!» — потом наступила тишина.

Юра картавит, буква «л» не дается ему, он храбро заменяет ее отнюдь не родственной «р», и это делает его речь особенно забавной.

— Первое стихотворение,— слышим мы,— называется «Про кошку».

Села кошка на окошко,

Замурлыкала во сне.

— Что тебе приснилось, кошка?

Расскажи скорее мне...

Он и второе стихотворение, про елочку, прочел: «В лесу родилась елочка...», и напоследок, как заправский актер, трижды поклонился залу. Зоина выучка!.. Ребята снова забили в ладоши, я хотел снять Юру со стула, но он опередил меня:

— Я сам! — И спрыгнул на сцену.

Тут к нам подошел Дед Мороз, протянул братишке большой кулек с конфетами и печеньем.

— Держи, Гагарин. За храбрость тебе и за талант.

Юра воззрился на бородатого Деда.

— Спасибо! А вы взаправдашний Мороз? — спросил он.

— А какой же еще? Самый что ни на есть взаправдашний. Из темного зимнего леса к вам на праздник пришел.

— А почему у вас борода льняная?

Юра попытался ухватить Деда Мороза за бороду. Тот откачнулся, погрозил пальцем и ушел в толпу ребят — выводить на сцену следующего «актера».

С новым счастьем!

Отец наполнил рюмки и, когда на наших старых ходиках

минутная стрелка догнала часовую у цифры 12, поднялся за столом, медленным взглядом обвел избу. К вечеру натопленная печь дышала жарким теплом. На нашей красавице елке горели крохотные восковые свечи. Где-то за печкой, в потаенном углу, пострекотывал сверчок — неназойливо, так, чтобы только напомнить о себе. Может, песня сверчка и убаюкала Юру и Бориску, но, скорее всего, намаялись они за хлопотный день и дрыхли сейчас на своих тюфяках, что называется, без задних ног. За праздничным столом нас было четверо: взрослые — отец и мать, и почти взрослые — мы с Зоей. Мне к тому времени исполнилось шестнадцать, Зоя была на два года моложе.

— Старый год мы прожили хорошо, дружно,— как всегда, неторопливо сказал отец.— Пусть и новый, наступающий, будет для всех нас счастливым и радостным. С новым счастьем!

Мы соединили рюмки.

Выпив свою, отец поставил ее на стол, прихрамывая, подошел к простенку, где по соседству с ходиками висел привезенный им из Гжатска пахнущий типографской краской календарь. Отец оторвал разукрашенный верхний листочек. На следующем значилось: 1941 год, 1 января, среда.

...Иногда я задаю себе вопрос: почему так хорошо сохранились в памяти события того, отдаленного от нынешних десятилетиями, дня — последнего дня тысяча девятьсот сорокового года? И думается мне: потому, наверно, что наступивший сорок первый ожидаемого счастья нам не принес — помешала война... И потому еще, что в последний раз встречали мы новогодие вместе, всей семьей, встречали в своем доме, за своим столом, на своей родине. Нам было хорошо.

ГЛАВА 2
Трамплин

Он рос упрямым парнем, наш Юра. И упрямство его порой принимало формы самые неожиданные. Вспоминается такое.

В полдень к нам забежал Женька Белов. Потоптался на пороге и, шмыгая носом, сказал:

— Здрасьте!

Отец, не любивший и малейшего беспорядка, одернул его:

— Ноги отряхни, снегу нанес.

Женька схватил веник, выскочил в сени, а через мгновение снова появился в дверях.

— Вот теперь здравствуешь,— проворчал отец.— Что новенького принес?

Женька был не из робкого десятка.

— А я не к вам вовсе, я к Валентину. Трамплин сговаривались делать? Сговаривались. А когда начнем?

— Да сейчас и начнем,— ответил я, одеваясь на ходу.

Выскочили во двор. Прихватив лопаты, двинулись к нашему запурженному откосу. Там, тоже с лопатой в руках, поджидал нас Женькин брат, Володька.

Не мешкая, взялись за дело. Обязанности свои знали хорошо — из года в год повторялось одно и то же. В сторонке от будущей трассы мы с Женькой разгребли верхний — рыхлый — слой снега, добрались до твердого наста. Нарезали его квадратными пластами, а Володя относил эти пласты на лыжню и складывал горкой.

Работа закипела, когда с ведрами, полными воды, пришли на помощь девочки — наша Зоя и Нина Белова. Плотно сбитый, слежавшийся снег, едва обливали его водой, оседал и буквально на наших глазах — мороз был крепок, жесток — превращался в лед. Но сверху ложились новые и новые пласты снега, и девчата уже измучились, устали носить воду, хотя и колодец-то был недалеко, в каких-нибудь ста шагах,— у нашего дома стоял он, вырытый отцом колодец.

Трудились до темноты, пока не начали валиться от усталости, зато трамплин получился на славу: прыгнуть с такого — дух захватит. Было у нас теперь занятие на все десять дней каникул. На всю зиму, вплоть до весны, до тепла, забава была.

Утро следующего дня началось по обыкновению. Разбудил меня пронзительный визг: Юра успел подняться вслед за матерью и отцом и, затосковав от безделья, стащил одеяло с Зои и окатил

ее кружкой холодной воды. «Сейчас следующую кружку — на меня»,— понял я и вскочил с постели. И точно: не обращая внимания на крики сестры, Юра стоял у порога — там, на лавочке, мы держали ведра с водой — и торопливо погружал кружку в ведро.

— Уши надеру! — пригрозил я.

— Ладно уж, не буду.

Завтрак ждал нас на столе. Мама давно ушла на ферму, отец тоже собирался на работу: зимой в колхозе по плотницкой части дел немного, сегодня по наряду предстояло ему возить корма. Одетый в телогрейку — овчинные рукавицы за пояс заткнуты,— он, прихрамывая, ходил по избе, ждал, пока мы сядем за стол, ворчал по обыкновению, что копаемся долго.

— Ну вот что, без баловства чтоб! — строго наказал мне и Зое отец и ушел.

С Зоей мы распределились по-своему; на ее долю — Борис, на мою — Юрка.

— Давай-ка, брат, забирай санки, пойдем трамплин опробовать,— сказал я Юре.

Он нахмурился:

— Санки? А ты небось на лыжах?

— На лыжах.

— И я на лыжах.

— Нос расквасишь.

— Ну и пусть!.. На санках пусть девчонки катаются, это ихнее дело. А я не девчонка.

Я еще не кончил завтракать, как Юра выбрался из-за стола, оделся и убежал на улицу. Зоя вышла следом, а вскоре вернулась.

— Юрка уже на откосе,— сказала она.— И Володька туда же пошел...

Юра и Володя Орловский (он несколькими месяцами старше брата) друзья — водой не разлить. И не только друзья — соперники. Давняя шла между ними борьба за первенство — буквально во всем: кому быть верховодом во время игры в лапту, в «чижа», в «ножички», кто в летнюю пору больше ягод или грибов из лесу принесет, кто по зимнему снегу на лыжах лучше ходит. Особенно на лыжах — тут поддаваться никто не желал. Если Юра вернулся домой с улицы прозябший до того, что и разуться сам не в состоянии, тесемок на шапке не развяжет застывшими пальцами, но сияющий,— понимай так: обошел он сегодня Володю Орловского. И тут уж Юрка начинает задирать Бориску, теребить меня и Зою: дайте ему какую-нибудь интересную книжку, непременно с картинками. Если ж хмурится, от ужина отказывается, молчит, сопя, значит, Володя его опередил. «Да

уступи ты, сынок,— скажет, бывало, мама.— Охота тебе переживать-то? Добро бы из-за дела, а то сущая безделица ведь...» — «Не хочу уступать, все равно обгоню».— «Верно, сын,— вмешивался отец.— Чему, мать, учишь, что значит «уступи»?»

Участие отца еще больше распаляло Юру. Надо сказать, что борьба у ребят шла честная, без хитростей — в открытую, напрямик соперничали.

А жили Орловские неподалеку от нас. Иван Иванович, отец Володин, был священником. Добрый по натуре, но вспыльчивый и прямой человек... Когда через полгода грянула война и гитлеровцы оккупировали Клушино, он отказался сотрудничать с ними, за что его преследовали, арестовывали. В сорок четвертом, после освобождения Клушина, Иван Иванович погиб на мине вместе с сыном.

Юра, уже и взрослым, нередко с теплотой вспоминал товарища своих детских игр...

Так вот, Зоя сказала:

— Юрка уже на откосе, и Володька туда же лыжи навострил. К трамплину примериваются.

«Ну, сейчас наломают дров!» Я набросил телогрейку на плечи, лыжи в охапку схватил и стремглав бросился на улицу. Добежать до трамплина я не успел — опоздал.

...Володя Орловский прыгал первым. Как потом выяснилось, друзья-приятели оспаривали это право. Рассудил их жребий: поконались на лыжной палке. Верх достался Володьке.

Мальчик разбежался на откосе, с силой оттолкнулся палками, затем его маленькая фигурка сжалась в комок. Трамплин. Резкий подскок вверх. Долгий плавный полет в воздухе и... Володя ловко приземлился. Снег взвихрился под его лыжами.

Одного пронесло. Молодец!

— Айда! — крикнул Володя снизу и призывно взмахнул палкой.

Юра тоже помахал в ответ, разбежался, оттолкнулся, благополучно дошел до трамплина. Тут его с силой подбросило вверх, левая лыжа слетела с его ноги и... Юра шлепнулся в снег, под самым трамплином упал.

Я подбежал к нему — он сидел на снегу и растерянно смотрел на лыжу: нос ее был отломан.

— Эх ты,— укоризненно сказал я и спросил: — Не ушибся?

— Н-нет. Вот... лыжа.

— Вставай, пойдем домой,— взял я его за руку.

Володя Орловский проводил нас до самого крыльца. Шли они, два товарища, два соперника, с таким одинаково горестным выражением на лицах, что и не поймешь, кто тут победитель, а

кто побежденный.

Лыжу, которая подвела Юру, мы подобрали поблизости от нашего дома. Вон куда укатила!

А дома брат, как ни крепился, как ни кусал губы, не выдержал: разревелся.

— Да брось ты,— утешали мы с Зоей его,— подумаешь, велико несчастье. Вот сейчас возьмем планку, пару гвоздей, собьем лыжу — катайся себе на здоровье.

— Не хочу я на хромой лыже кататься,— всхлипывал Юра.— На ней прыгать нельзя — опять развалится.

Пришел отец перекусить — объяснили ему, в чем дело. Баловать нас отец не любил — не водилось этого в нашей семье, но, по всему видать, неподдельное горе сына тронуло и его душу. Опять же, семейная честь пострадала: что там ни говори, а поединок Юрка проиграл, и прав он — на сколоченной лыже далеко не ускачешь.

— Не реви,— хмуро сказал отец.— На той неделе поеду в Гжатск — куплю тебе новые лыжи.

— Ага, на той неделе... Я дома сидеть буду, а Володька на лыжах кататься будет... Так я кататься разучусь, и Володька все время обгонять меня будет...

И снова — в рев.

Отец послушал-послушал — надоела ему эта музыка. Подморгнул мне:

— Или мы не плотники, Валентин, а? Пойдем-ка в сарай.

Короче говоря, сыскали мы в сарае подходящий материал, вооружились инструментом и принялись пилить-строгать. К вечеру лыжи были готовы, да какие лыжи славные получились — легкие, упругие, изящные с виду. Я натирал их воском и прислушивался к тому, что творится у трамплина. А туда к вечеру со всей околицы ребятня сбежалась, шум и гам стояли невообразимые. Приятно мне было, что уж завтра-то братишка постарается отыграться.

На ночь мы поставили в лыжи распорки.

А вечером следующего дня Юра вернулся домой сияющий. С порога заявил, что здорово проголодался.

Поужинал с аппетитом и начал задирать Бориса и мешать Зое читать книгу.

Мы не задавали ему никаких вопросов. Все было ясно.

А вообще-то, плакал Юра в детстве редко. Пожалуй, не много таких случаев могу я припомнить, да и они запали в память своей исключительностью и бывали, когда заговаривало в брате уязвленное самолюбие...

ГЛАВА 3
Весна

Разговор на военную тему

Мама затеяла стирку. Подвинула к печке широкую скамью, на скамью водрузила цинковое корыто. Гора грязного белья — шуточное ли дело стирка, когда в семье шесть человек! — легла на пол. Огромный чугун с разведенным щелоком стоял рядом.

— Валентин,— попросила мама,— принеси-ка свеженькой воды.

Я подхватил ведра, выскочил на улицу. Юра увязался за мной.

Солнечный луч кольнул глаза. Я зажмурился на мгновение и услышал поблизости невнятный, приглушенный шум. Туп-туп-туп...— падала с крыши, давая о себе знать, мартовская капель.

Тихо, безветренно.

Наледь на шершавом срубе колодца потемнела, истончилась, и едва я задел ее днищами ведер, как она мокрой пластинкой скользнула к ногам.

— Валь, смотри, трамплин какой маленький стал,— сказал Юра.

Наш заветный, подаривший нам столько радостей и огорчений трамплин тоже потемнел, осел, уменьшился в объеме, и трудно было поверить, глядя на него сейчас, что всего лишь несколько дней назад только смельчаки из ребят постарше не страшились прыгать с него, да такие вот отчаянные малыши, как наш Юрка и Володька Орловский, по безрассудству своему ломали на нем лыжи.

А над трамплином, на самой макушке откоса, там, где солнце пригревало с особой силой, уже чернела первая проталина.

— Весна идет, Юрка. Скоро почки стрелять начнут.

— Знаешь, Валь, как охота босиком по траве побегать.

— Теперь недолго ждать. Скоро в лапту играть будем.

— А за щавелем пойдем?

— А то нет!

По дороге, со стороны Гжатска, чалый жеребец ходко тащил легкие санки. Вот они поравнялись с нами, дядя Павел натянул вожжи, Чалый примедлил бег, замотал головой, всхрапывая, кося в нашу сторону налитым кровью глазом.

— Тпрру, окаянный! Привет, племяннички! Отец дома?

— В сарае. Инструмент к работе готовит.

— Держи-ка, сынок.

Из кармана полупальто дядя Павел достал пакет с леденцами, подал Юре.

— А ты, Валентин, привяжи-ка этого бешеного покрепче. С норовом, чертушка,— ласково ругнул дядя Павел жеребца и прошел в сарай.

Павел Иванович Гагарин, или дядя Павел, родной брат нашего отца, служил ветеринарным фельдшером. Надо сказать, что избы наши в Клушине стояли неподалеку. Ласковой души человек был Павел Иванович: добряк, мечтатель, влюбленный в астрономию, географию и поэзию. Любил ли он с такой же силой ветеринарию — этого я не знаю, но специалистом в районе дядя Павел числился отменным. К нам, племянникам, да и вообще к детворе относился он с какой-то особо трогательной нежностью.

Был у Павла Ивановича и еще один врожденный дар: он умел неподражаемо красиво, с истинной артистичностью рассказывать всякие забавные или таинственные, жутковатые истории. Вот это-то его качество, пожалуй, больше всего и заставляло нас, ребятишек, тянуться к нему.

Юра конечно же, оставив меня управляться с жеребцом, удрал в сарай вслед за Павлом Ивановичем. Я и сам был не прочь бежать — уж наверняка привез дядька из города какие-либо интересные новости и рассказывает их теперь отцу... Но норовистый Чалый никак не желал привязываться. Скаля ядреные зубы, он все тянулся куснуть меня, и мне пришлось немало повозиться, прежде чем я изловчился крепко-накрепко припутать вожжи к оградному столбику. Потом я оттащил домой ведра с водой, еще дважды слетал к колодцу, вынес и слил за двором грязную воду. У-уф! Теперь, кажется, можно и в сарай пробежать... Но дядя Павел уже шел мне навстречу.

— Бывай, племянник. В Пречистое еду — туда, понимаешь ли, чесотку каким-то ветром занесло. Маются коняги, спасать надо. Хочешь со мной поехать?

Еще бы не хотеть! Но ведь вот беда: и уроки, как назло, не сделаны, и матери помочь надо. А Пречистое — село дальнее, тут единым духом не обернешься.

— Ладно, в другой раз будь наготове,— утешил меня дядька.

Досадуя на неудачу, я взял лопату, принялся скалывать лед со ступенек крыльца. Подошел Юра.

— Валь,— спросил он,— кто это такой — агент?

Агент? Квитанции по домам разносит, страховки,— объяснил я в меру своих знаний.

— Дядя Павел говорил, что какого-то агента милиция поймала. В Смоленске. Германского какого-то. А зачем он

прятался?

Я насторожился: это было что-то новое.

— А что еще он сказал?

— Что война скоро будет. Люди так говорят.

— Ну да! — усомнился я.— Брехня все это.

— И папа ему сказал, что брехня.

— А дядя Павел?

— А дядя Павел... не разобрал я, сказал что то. Какие-то чудные слова он сказал — не запомнил я.

Разумеется, и до нашего села, затерянного в глухих смоленских лесах, до села, где в те — сороковые — годы еще не было электричества и репродукторы, похожие на черные тарелки, висели на стенах всего лишь нескольких изб, а плохонький ламповый приемник стоял только в сельсовете, доходили отголоски событий, которыми жила планета. Мы, школьники, писали сочинения о мужестве бойцов республиканской Испании и переживали горечь ее поражения. Мы знали, кто помог палачу Франко задушить молодую революцию, и искренне — из-за сочувствия к обездоленным испанским детям, которых видели в кадрах кинохроники, из-за обиды, что не устояли республиканцы, — ненавидели самое слово «фашизм». Нам было известно, что гитлеровские фашисты захватили Польшу и Чехословакию, присоединили к своему рейху Австрию, бомбят и обстреливают города Англии... Но все это было так далеко от нас и воспринималось умозрительно. К тому же у нас, знали мы, есть Красная Армия, которой нет в других странах. Вот белофинны совсем недавно обломали зубы об ее крепость...

— Знаешь, Юрка,— сказал я, все еще обивая лед с приступок крыльца,— если фашисты сунутся к нам, Красная Армия надает им по шее.

— А война какая бывает? Страшная?

— Как какая?.. Ну, стреляют друг в друга. Солдаты. Из пушек стреляют, из винтовок...

— И с шашкой, как Чапаев, скачут?

— И с шашкой, как Чапаев,— подтвердил я.

— Здорово! Вот бы мне с шашкой!

На этом общий наш интерес к военной теме исчерпался. Юра тоже сходил за лопатой, взялся помогать мне. Черенок у лопаты был длинный, вдвое длиннее его роста, и это доставляло братишке немало хлопот: лед не поддавался, лопата соскальзывала с приступок. Потеряв равновесие, он ударил себя по носку валенка.

Жаль мне стало брата.

— Ты бы лучше не путался под ногами, не мешал мне.

Юра поднял на меня глаза — они светились обидой. Молча прислонил лопату к стене, поднялся на крыльцо и скрылся за дверью. А солнце припекало все сильнее, плавились и превращались в грязные лужицы обитые нами льдинки, оседал, подтачиваясь, трамплин на взгорье, и с улицы вовсе не хотелось уходить...

Привязанность

На рассвете с силой забарабанили в раму. Я подскочил к окну, всмотрелся. Чье-то лицо прилипло к стеклу с той стороны: в молочном сумраке вешнего рассвета были едва различимы сплюснутый нос и округлые глаза.

— Чего надо?

— Анну Тимофеевну покричи. Пусть на ферму бегит скоричка,— ответили голосом сторожихи со свинофермы, и нос и глаза исчезли, растворились в белесом тумане.

Мама — она всегда была легка на подъем — уже набрасывала на себя платье.

— Видать, Белуга поросится. Приспел ее час,— бросила она на ходу и скрылась за дверью.

Белугой звали знаменитую на весь район, необычайно породистую свиноматку-рекордистку: не помню уже, сколько поросят приносила она, но знаю, что очень много. За такую доблесть ее, кажется, даже на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке показать собирались.

Разумеется, и отношение к Белуге было особенным: над ней тряслись, ее берегли и холили. В свинарнике ей отгородили просторную клеть. Рацион ее усиленного питания, согласованный с ветврачом, проверял по утрам лично председатель колхоза. О здоровье рекордистки, говорили, нередко справлялся по телефону сам секретарь райкома.

В общем, замечательная по всем статьям была свинья. И колхоз хорошие получал деньги, распродавая ее потомство. Одно плохо: опоросы давались ей очень трудно. Маму в таких случаях неизменно звали на ферму — со дня организации колхоза работала она в животноводстве, была и дояркой, и телятницей, и заведующей молочнотоварной фермой. В общем, опыт имела не маленький, умения обращаться с животными не занимать стать. «Ты хоть рядом с нами постоишь, Тимофеевна, а у нас все на душе спокойнее»,— говаривали ей в затруднительных случаях молодые работницы фермы.

Домой в этот день мама вернулась поздно: мы уже из школы пришли, сидели за столом — готовили уроки на завтра.

— Слава богу, все обошлось,— сказала она.— А вымучились через край.

Юра вцепился в подол ее юбки.

— Мама, покажи мне поросяток. Какие они?

— Красивые. Белые все, хвосты крючками, а носы пятачками.

— Покажешь?

— Ну что ж, пойдем завтра.

И на следующий день Юра сходил.

После этого посещения фермы Юру дома днем мы перестали видеть: с утра до вечера пропадал он возле поросят, даже про обед забывал. Отец однажды полюбопытствовал:

— Что он хоть делает-то там? Мешает, небось, под ногами путается?

— Все делает, не хуже меня справляется,— вступилась за Юру мама.

А делал Юра вот что: поросят, пока они не подросли, держали в большой корзине. Юра, с разрешения и под присмотром мамы, в часы кормежки извлекал их из корзины и по одному носил и подкладывал Белуге под бок. Питай, мол.

Росли поросята неодинаково: те побыстрей, эти помедленней. Понемногу начали подкармливать их коровьим молоком. И однажды мама со смехом поведала нам такую историю:

— Отозвали меня по делу, а как раз время поросят кормить. Вспомнила: помощник — вот он, возле. Оставляю Юрку за себя. Наказываю строго: проследи, мол, чтобы все сыты были. Возвращаюсь — батюшки светы! Часть поросят у кормушки, молоко сосут, а некоторые в клетку загнаны, и дверка палкой подперта. Пригляделась — в клетке-то все те, что посильней, покрепче. Визжат, орут, пятачками в решетки тычутся. Понятно, голодные... «Юрка, негодник ты этакий,— говорю,— что ты наделал? За что ты их так-то?» — «А они, мам,— отвечает,— жадные очень: слабеньких отгоняют, сами все сожрать норовят». — «Так ведь им, Юра, всем есть нужно, и слабым и сильным, а то расти не будут»,— толкую парню. Еле уговорила. «Ладно,— пообещал мне,— накормлю и этих жадных, только после. Когда слабенькие поедят. Пусть поправде будет...»

...Забегая вперед, скажу, что привязанность к животным Юра пронес через всю жизнь. Уже и после рокового мартовского дня у родителей долгое время жил забавный пес Тобик, очень похожий на знаменитых Белку и Стрелку, тех самых, которые когда-то поднялись в космос. Юра вырастил этого Тобика из слабенького, худого заморыша и в одну из поездок привез в Гжатск.

Интересно, что и животные будто за версту чуяли: Юра не может, не в состоянии обидеть их, преданностью и покорностью

платили ему за ласку. Двоюродная сестра наша Надя Щекочихина вспоминает такое. В их доме под Москвой держали овчарку. Дик, матерый и злющий от постоянного пребывания на цепи псина, готов был растерзать любого постороннего человека, осмелившегося приблизиться к его конуре. Юра, учась в ремесленном, нередко наведывался к родственникам и как-то легко и быстро, незаметно для окружающих подружился с Диком: кормил с руки, гладил бесстрашно. Потом брат уехал — в Саратов, в Оренбург, на Север, разрывы во времени между отпусками составляли год, а то и два, но только лишь Юра появлялся во дворе щекочихинского дома, Дик, гремя цепью, с восторженным лаем летел ему навстречу.

Летом 1960 года Юра заглянул к Щекочихиным с женой и дочкой Леной. Взрослые заговорились за чаем и не видели, как Лена — она только-только начала ходить — выбралась из комнаты и затопала прямехонько к Дику. Хватились, а девочка уже возле овчарки, тянется обнять. Женщины заволновались.

— Без паники,— тихо сказал Юра.— Дик не тронет Лену, он умница — понимает, что Ленка — моя дочь.

Подошел ближе и посадил девочку верхом на пса.

— Дик, дружище, катай...

С этого дня всякие игрушки для Лены уже не существовали — бывая у Щекочихиных, занималась она только с Диком: трепала его за уши, обнимала, каталась на нем. Пес терпеливо сносил нежданную напасть.

— А ведь она, Лена-то, и впрямь вылитый папа, вот Дик и не хочет обижать ее,— пришли к единодушному заключению женщины.

Юра не спорил, улыбался согласно. Всему радовался он в то лето — первое в отряде космонавтов, такое многообещающее.

А вот и еще одно любопытное свидетельство — сочинение, написанное Галей, младшей дочкой брата, в начальных классах школы. Называется оно так: «Наши жильцы».

«Я очень люблю животных,— пишет Галя.— Эту страсть я переняла от папы. Сколько я помню себя, в нашем доме были птицы и животные. То папа привезет лань, то белочку. Иной раз проснешься, а в ванной полощутся утки, не одни, а с утятами. Мама подошла набрать воды, а утка клюнула в руку ее. Папа долго смеялся и часто вспоминал испуг мамы.

Когда папа был во Франции, ему подарили кота, по кличке Мерлен. Это было беспокойное, пушистое, рыжее существо. Его любимым местом отдыха были стол в гостиной или пианино.

Но больше всего мне запомнился случай, когда мы с папой привезли цыпленка. Он сидел в банке и оглушительно пищал. Мы

его старались накормить, напоить, но он от всего отказывался. Пришлось отправить его к наседке.

За всеми животными и птицами приходилось ухаживать маме. Она раздаривала беспокойных жильцов соседям, а папа привозил новых».

И это сочинение, и еще одно, текст которого я приведу позже, переписанные специально для бабушки Ани, бережно хранятся ею. Бабушка Аня, то есть наша мать, знает и начало и продолжение этой истории с цыпленком... Девочки вместе с отцом гостили у нее в Гжатске. Во дворе соседнего дома наседка водила цыплят. Галя увидела их — маленьких, пушистых, и пришла в неописуемый восторг, глаз оторвать не могла. Хозяйка, заметив это, подарила цыпленка.

Вот он-то, великий путешественник, и приехал в Звездный на Юриной «Волге». Ну, а когда цыпленок «забастовал», отказываясь от корма и воды, нашли для него наседку поблизости от городка космонавтов. Женщина, которой отдали его, как, шутя, говорил Юра, «на воспитание», позже не раз приносила Гале гостинец, приговаривая: «Вот, доченька, пусть мама тебе сварит, твоей курочкой яичко снесено...»

Змей и планер

1

Зима устала, выбилась из сил. Колючие мартовские ветры съели последний снег, ручьи отжурчали по овражкам. За околицей на влажной луговине, желтой от прошлогодней травы, проклюнулся и развернул светлые лепестки подснежник. Откос, по которому пролегали отчаянные трассы лыжников, вновь стал пологим и длинным, мягкой зеленью заволокло его склон.

А тут и апрель подошел.

Дни установились солнечные, и долгими они были, апрельские дни, особенно воскресные. Оно и понятно: в школу идти не надо, работу по дому, хотя и хватало ее, мы с Зоей делали быстро. А после чем заняться? Вот и бродишь неприкаянно из угла в угол, и не знаешь, куда себя приткнуть.

В такое вот воскресенье Зоя взяла Бориску за руку:

— Мы в лес. Кто с нами?

— Сыро там,— ответил я.

— Как хотите. Жалеть потом будете.

Они ушли, мы остались вдвоем.

— Что же нам-то делать, Юра?

Брат сидел за столом, листал старую подшивку пионерского журнала: разглядывал рисунки и фотографии, довольно бойко читал подписи под ними. Как-то незаметно для нас научился он читать: прислушивался к нам с Зоей, когда мы готовили уроки, и вдруг обнаружилось, что он знает уже алфавит, потом принялся из слогов слова лепить, так оно и пошло-покатилось...

— Валя, смотри, какой большущий змей,— подал мне Юра подшивку.

На последней странице обложки была фотография: мальчик в белой панаме, напрягая руку, удерживает на веревке воздушного змея — огромный парус из бумаги и деревянных планок, взлетевший под самые облака. И телеграфный столб, и двухэтажный жилой домик на втором плане, и сам мальчик, окруженный товарищами,— все это казалось мелким и незначительным по сравнению с гигантским змеем. Тут же, под фотографией, и чертеж был приложен, и напечатаны практические советы, как его, диковинного змея этого, соорудить.

— Давай сделаем, а? — загорелся Юра.

Клей под руками, деревянных планок в сарае

сколько угодно — почему и не попробовать? Вот с бумагой затруднение вышло — не было у нас таких плотных, таких больших листов бумаги, какие рекомендовались в журнале. Придумали:

— Тащи, Юрка, старые газеты.

Лист к листу, в несколько слоев, и вот уже основа готова. Несколько легких планок по сторонам бумажной выкройки, другие — крест-накрест, с угла на угол положили. В маминой шкатулке нашли подходящей длины и крепости тесьму. Шкатулка эта, кстати сказать, была запретным и заманчивым для Юры с Борисом царством удивительных сокровищ: клубков разноцветных ниток, сережек, дешевых рассыпанных бус, полустертых латунных колечек...

— Запускать будем с откоса.

Бережно, за углы, вынесли мы наше творение из дома, торжественные и гордые, поднялись по склону. По дороге к нам присоединились Володя Орловский и Ваня Зернов, тоже сверстник и товарищ Юры. А потом и еще ребятишки набежали.

Ветер дул порывами, время от времени. Я предупредил брата:

— Юрка, ты придерживай змея, а когда крикну, подбрось его вверх и отпусти.

Разбежался вниз по склону.

— Давай!

Змей взвился в воздух. Ребята загалдели восторженно, заохали.

Стая белых голубей летела высоко над нами. Ветер нес нашего змея,— нам теперь он виделся маленьким, несерьезным,— прямо на стаю. Не знаю, за какое чудище приняли голуби самодельную игрушку, но вся стая вдруг затанцевала, затолклась на одном месте, а потом развернулась и обратилась в беспорядочное бегство.

Когда от нашего змея остались лишь клочки драной бумаги, ребята окружили меня, загалдели наперебой:

— Пойдем новый мастерить.

— Пойдем, Валентин, мы все тебе помогать будем.

Натиск был дружным — я уступил:

— Ладно, пойдемте, коли понравилось...

Зоя с Бориской уже вернулись из лесу. На подоконнике в стеклянной банке стоял букет голубых подснежников, и в избе от них было как-то уютнее, светлее.

Бориска сообщил:

— Там снег под деревьями.

— А все равно хорошо,— сказала Зоя.— Жаль, что вы не пошли.

Юра улыбнулся хитро:

— А нам и не жаль вовсе. Правда, Валь? — И затеребил меня: — Ребята ждут в сарае.

На этот раз мы справились с работой куда быстрее — опыт уже имелся и помощников прибавилось.

Второго змея ребята запускали без меня.

А потом завертелось! Что ни день, заявляются всей ватагой: Юра, Володя, Ваня Зернов. Клей им змея, да и только! Клеил до тех пор, пока не научились мальчишки сами мастерить эти несложные игрушки. А тут еще отец браниться начал: не успевал прочитать свежую газету, как она шла в дело.

2

После уроков в школе нас, и пионеров и комсомольцев, собрали в пионерской комнате: разговор шел о том, как лучше, торжественней отметить первомайский праздник. Решили: подготовим хоровую декламацию, физкультурные номера, распределили, кому и с чем выступать.

Пока решали, как всегда в таких случаях, велись жаркие споры. А я все посматривал в угол. Там, на шкафу, запыленная и поломанная,— вывихнуто крыло, корпус в сплошных дырах,— стояла модель планера.

Когда собрание закончилось, я подошел к вожатому:

— Можно мне эту штуку взять?

— Планер-то? Возьми. Давно собираюсь его выбросить, стоит, место занимает.

Модель была в размахе крыльев, наверное, метр с лишком, но исковерканная до безобразия. Починить ее я и не надеялся — выпросил так, интереса ради, меньших братьев подивить, может, и порадовать.

Дома Юра, увидев модель, ахнул:

— Вот это самолетик. Как взаправдашний!

— Это не самолетик, а планер. Летает так же, как и змей, по ветру.

— Все равно с крыльями, значит, самолет.

Отец, которого не очень-то занимали наши игры и увлечения, тоже заинтересовался планером. Модель на полу стояла: беспомощно висело крыло, дыры в корпусе затянуты паутиной, и даже бойкий паучок выполз из какого-то отверстия в хвосте. Безрадостная, унылая картина. Отец обошел вокруг планера, потрогал искалеченное крыло, покачал головой:

— Такую штуку загубили, стервецы.

Что-то прикинул, задумавшись, и неожиданно для нас объявил:

— Чинить будем, починить можно. Крыло заново сделаем, обтянем все,— щелкнул пальцами по корпусу,— папиросной бумагой. Потуже. Легко и прочно.— Он натянул на голову фуражку.— Ты, Валентин, ступай во двор, строгай рейки для крыла. Да сосну возьми, выбирай какую посуше — легкое дерево. И не торопись, работа спешки не любит... А я в магазин наведаюсь, куплю бумагу папиросную.

Это было в батином характере. Сызмальства и плотник, и шорник, и печник, и на все руки мастер, не одним десятком домов осчастлививший землю, он уважительно относился к любому предмету, сработанному человеческими руками. Этому уважению и нас учил.

До магазина путь не близок: раньше чем за час отцу не обернуться. Я неспешно принялся строгать рейки. Юра вертелся рядом: то стамеску подсунет, то уж — совсем ни к чему — клещи принесет, положит на верстак.

— Ну скорей же, скорей,— волновался он.— Возишься как не знаю кто. Так мы и до ночи не успеем.

— Ишь прыткий. Слыхал, что отец сказал: не надо спешить.

Ссылка на авторитет отца малость утихомирила его, однако ненадолго. Снова запел под руку:

— Не умеешь, так не берись.

Хотел было прогнать его, но отец из магазина вернулся

неожиданно быстро. Сообща доделали мы и поставили на место крыло, обтянули модель бумагой.

— Давай звезды на крыльях нарисуем,— предложил Юра.

Я легкомысленно клюнул на дешевую приманку:

— И фамилию напишем. Крупными буквами: ГАГАРИН, и...

Договорить я не успел, отец круто осадил меня:

— Не сметь! Вдруг не полетит — на посмешище выставить себя хочешь? И кто ты такой: Га-га-рин? — ехидно, по слогам, произнес он.— Тоже мне Петр Великий...

Посрамленный, я притих.

Изо всех исторических деятелей прошлого России больше других занимала воображение отца фигура Петра Первого. Все книги о нем, какие обнаружились в нашей сельской библиотеке, отец перечитал по вечерам. А читал он медленно, основательно, стараясь в каждое слово вникнуть наверняка, не раз и не два возвращаясь к трудным, малопонятным или особенно интересным для него местам, и эта работа — а во имя ее была пожертвована не одна зима,— для отца была своеобразным подвигом.

В той же степени, в какой прельщала отца фигура Петра Великого, была противна ему императрица Екатерина. «Катька-немка»,— презрительно именовал он ее и, знаю, в кругу товарищей не стеснялся рассказывать о ней скабрезный анекдот...

— Пойдемте так, ничего не надо рисовать,— тянул нас Юра. — Вон темнеет ведь.

Темнеть должно было не скоро, но нетерпение испытать планер в полете подмывало и меня.

Вышли на луг, за околицу. Отец не провожал нас — наблюдал от двора, блюл достоинство: хоть и серьезная штуковина этот планер, а все ребячья затея.

И снова, как и в первый раз, когда испытывали змея, окружила нас толпа мальчишек и девчонок: в селе жизнь что на ладони — насквозь из окон видна.

Первая попытка запустить модель окончилась неудачей: на высоте десяти — двенадцати метров планер завалился на крыло и упал на землю.

«Опять ремонтировать, пропади он пропадом!» — обреченно подумал я, но, вопреки ожиданиям, никаких поломок не обнаружилось.

Сорвалось и во второй, и в третий, и в четвертый раз. Ребята захихикали.

— Трактор, а не планер.

— Трактор хоть гудит и землю пашет.

— От этого в печке польза будет.

Мне стало стыдно. Мельком взглянул на Юру: щеки у него

покраснели, глаза лихорадочно горят, а губы плотно сжаты. Переживает, и, наверно, больше меня.

— А ну его, ребята,— махнул я рукой.— В печку так в печку. И то дело. Пойдемте по домам. Что-то в нем, видать, не так рассчитано.

Юра стал передо мной, загораживая дорогу:

— Все так, все так, я знаю. Еще разик попробуй, Валь, один разочек.

А, была не была! Я снова поднял модель, и... на этот раз нам сказочно повезло: планер круто набрал высоту, лег в горизонтальное положение и, покачивая серыми, обтянутыми папиросной бумагой крыльями, поплыл, поплыл, голубчик! Прямо к ферме поплыл, к тому самому помещению, где обитала некоронованная царица клушинского свиного поголовья рекордистка Белуга, куда Юра бегал кормить поросят.

Ребята бросились вдогон, а я пошел домой. Отец стоял у двора, опираясь на трость, и встретил меня насмешливым взглядом.

— А все-таки он полетел! — не скрывая торжества, воскликнул я, наверно, с теми же интонациями в голосе, с какими некогда великий астроном-ученый воскликнул: «А все-таки она вертится!»

Планер посрамил воздушного змея, отодвинул его на второй план. До тех пор, пока не осталась от планера горка жалких планок и изорванной бумаги, ребята не хотели признавать никаких других занятий.

Через много лет после этого Юра, уже космонавтом, навестил меня в Рязани. Сидели за столом, говорили о разном. Меня больше занимало все, связанное с его полетом, а он вспоминал наше Клушино, наше детство.

— Ты не забыл планер? — вдруг спросил он с улыбкой.

— Конечно нет. Это же перед самой войной было.

— А я его часто вспоминаю... И стихи тоже запомнились, те самые...— Чуть прищурив глаза, Юрий с видимым удовольствием прочел:

Я хочу, как Водопьянов,
Быть страны своей пилотом,
Чтоб летать среди туманов,
Управляя самолетом...

Потом разговор перебросился на другое, о планере речи больше не было. А мне вот думается сейчас: не в те ли дни детского увлечения воздушными змеями и планером родилась в

его душе неистовая страсть к небу?

ГЛАВА 4
Баллада о комиссаре Сушкине

С четырех сторон обдували деревянный обелиск четыре ветра: восточный, западный, северный, южный. Он стоял на взгорье, на скрещении всех улиц села, скромный памятник за решетчатой оградой. Памятник герою революции и комиссару времен гражданской войны товарищу Сушкину.

Правление нашего колхоза располагалось поблизости от памятника. Рядом стояли клуб, магазин, сельсовет. И красавица церковь, сложенная из красного кирпича. Когда я смотрел на нее — в моем воображении возникали зубчатые стены и башни Московского Кремля, хоть Кремль в то время я видел только на картинках.

Наша одноэтажная деревянная школа тоже здесь.

О Сушкине, через двадцать с лишним лет после его гибели, говорили всяко.

Пламенным большевиком и честнейшим революционером назвал его председатель колхоза Кулешов. Было это на митинге — в тот день, когда колхозу присваивали имя комиссара.

И там же, на митинге, довелось услышать мне, как некая старушка из раскулаченной семьи, крестясь и вздыхая, вспоминала Сушкина злыми словами, недобрым шепотком.

Односельчан, вовсе безразличных, равнодушных к памяти комиссара, я не припомню. А нам, подросткам, не терпелось понять, где тут — в разговорах о Сушкине — правда, а где ложь, вымысел, навет.

Накануне первомайского праздника рядом с обелиском колхозные плотники под руководством отца соорудили невысокий помост. Трибуну, если сказать проще...

На ферму прибежала рассыльная из правления колхоза — курносая веснушчатая девчушка.

— Теть Ань, председатель велел тебе на митинг прийти.

— Бегу,— ответила мама.— Вот задам поросятам корму, зайду переодеться домой, и... одна нога здесь, другая там.

— Председатель, теть Ань, быстрей велел, какая есть, пускай идет, сказал. Народу там собралось — пропасть.

— Бегу, бегу.

На митинг идти — дома не миновать: можно бы и зайти переодеться. Но раз председатель велел быстрее, надо поторопиться.

Когда мама, запыхавшись, прибежала на площадь, митинг

был в разгаре. На помосте, обтянутом красным полотнищем, возвышаясь над толпой колхозников, стояли председатель артели Кулешов и уполномоченный из районного центра. Одетый в кожаную куртку и синие галифе, уполномоченный — невысокий черноволосый мужчина лет тридцати пяти — говорил речь. Правую руку с зажатой в ней фуражкой он держал на отлете, и в такт его словам фуражка то взлетала вверх, то, вычертив дугу, падала вниз, то маячила где-то у груди оратора.

Народу собралось действительно много: и стар и млад дома не усидели. Мы, школьники, в белых рубахах, пионеры — в галстуках, при параде, стояли в строю под знаменем и поверх кепок, косынок, соломенных шляп глазели на уполномоченного. Юра и Володя Орловский вертелись где-то там, у самой трибуны.

А уполномоченный, энергично рубя воздух зажатой в руке фуражкой, с увлечением выкрикивал фразы о том, что праздник Первомая страна встречает новыми трудовыми достижениями...

Говорил оратор красно, самозабвенно, и слушали его очень внимательно. Кто-то кашлянул неосторожно — на него зашикали в несколько голосов.

А потом уполномоченный вытирал испарину со лба, улыбался довольно. А когда стихли аплодисменты — люди у нас щедрые, били в ладоши долго,— предоставили слово председателю колхоза.

Кулешов помялся, пытался отнекиваться,— не удалось. В отчаянии махнул рукой:

— Товарищ из района, я так разумею, все правильно обсказал. Повторять не буду — все одно, значит, так-то не выйдет,— мудро рассудил он.— Меня вы и так каждый день слышите. А вот о чем я скажу. Тут, в правлении, значит, уговорились мы премии выдать нашим ударникам, стахановцам, значит. Вот я сейчас и зачну подарки раздавать...

Площадь одобрительно загудела, в задних рядах кто-то хлопнул в ладоши — все подхватили.

— Значит, так...— кричал председатель, перекрывая шум толпы.— По порядку... Белова Анна!

Тетя Нюша, мать наших приятелей братьев Беловых, никак не хотела выходить вперед.

— Да иди же ты,— подтолкнул ее к помосту Иван Данилович, муж.

Небольшого роста, рыжеволосая, худенькая, она растерялась под взглядами десятков глаз и зарделась пуще кумача.

— Непривышные мы,— прошептала тетя Нюша еле слышно.

За спиной председателя на двух табуретах лежали газетные свертки.

— Тебе, как передовой доярке, значит, отрез на юбку...

Кулешов развернул сверток, показал колхозникам отрез материи. Люди снова зааплодировали. Тетя Нюша переминалась с ноги на ногу и держала руки за спиной.

— Берите, берите, товарищ,— подбодрил ее уполномоченный, и это официальное «товарищ» так не вязалось с маленькой, вконец оробевшей тетей Нюшей.

— Спасибочки,— невнятно пролепетала премированная и поспешила затеряться в толпе.

— Гагарина Анна!..

Вот когда спохватилась мама, пожалела когда, что послушалась рассыльную, не забежала домой переодеться. Но делать нечего — вышла как есть, в рабочем халате.

— И тебе тоже на юбку...

Кулешов подал маме завернутый в газету премиальный отрез, пожал ей руку. Уполномоченный наклонился к уху председателя, шепнул что-то.

— Вот какое дело, Анна Тимофеевна,— остановил маму председатель.— Товарищ из района интересуется, значит, чтоб ты речь сказала... Да ты чего боишься-то?.. Расскажи, как шестьдесят трудодней в месяц вырабатываешь, как детей одновременно воспитываешь. Ведь не один, не два у тебя — четверо. Как работаешь, значит, расскажи. Мама развела руками, улыбнулась:

— Бояться я не боюсь, некого бояться: здесь все свои. Но ведь ты, председатель, все, почитай, сказал за меня.— Посерьезнела.— А работаю, как и все в колхозе, в удовольствие — век бы так работать. И за это,— она шагнула к решетке памятника,— за это ему, товарищу Сушкину, и таким, как он, людям спасибо. Низко я ему кланяюсь.

Снова одобрительно загудела площадь, а мама, растерянная, смущенная, протискивалась сквозь толпу в задние ряды...

После митинга на том же помосте силами коллектива школьной самодеятельности был дан концерт. Старались мы изо всех сил.

Затем площадь опустела. Мама поджидала меня и Зою, стояла в стороне, держа Юру за руку.

— Хорошо мы выступили? — подбежала к ней раскрасневшаяся Зоя.

— Очень хорошо,— ответила мама, поправляя галстук на ее груди. И, все еще смущаясь, добавила тихо: — Мне вот тоже... выступить пришлось. Некстати как! Не ждала, не гадала.

— Мам, пойдем на Сушкина поглядим,— потянул ее за руку Юра.— Поближе поглядим, какой он на карточке.

— Что ж, пойдем.

На обелиске, за квадратиком оконного стекла,— фотография. Тонкая щеточка усов, мягкие, задумчивые глаза — глаза мечтателя, совсем как у дяди Павла. И высокий лоб мудреца... Такие лица бывают у очень добрых людей.

— Мам, он молодой умер?

— Его убили, сынок.

— Кто убил?

— Кулаки. Враги Советской власти. Убили и еще над телом надругались.

— А они, кулаки, за царя?

— За царя, сынок.

— А как это было? Расскажи, мам.

— Расскажи,— подступились и мы с Зоей, потому что и нам не терпелось узнать правду о комиссаре Сушкине.

— А было это так...

Было это так.

В 1918 году в Гжатском уезде вспыхнул кулацкий мятеж. Богатеи и обманутые ими крестьяне из бедняков и середняков, правда, таких было не очень много, объединились в вооруженные отряды. Во главе отрядов встали офицеры-белогвардейцы, до поры до времени скрывавшиеся в подполье.

Кулацкий мятеж в Гжатске был не единственным в те годы. Мироеды поднимали головы и в других губерниях Центра, сколачивали контрреволюционные силы в Поволжье, в далекой Сибири, где, по сути, еще не отгремела гражданская война, Враги молодой Советской Республики пытались взорвать ее изнутри.

Как правило, начинались кулацкие восстания везде на один и тот же манер: с дикой расправы над большевиками, с надругательства над преданными Советской власти людьми. В Гжатске и окрестных селах погибло тогда немало коммунистов и сочувствующих им.

Из Петрограда на помощь гжатским коммунистам и малочисленному красноармейскому гарнизону, выдерживающему тяжелые кровопролитные бои, пришел бронепоезд с десантом красных латышских стрелков.

Мятеж в Гжатске был подавлен, но клушинские мироеды, понимая, что спета их песенка, боролись с отчаянностью погибающих.

Первый натиск красных латышских стрелков на линию своих окопов они отбили.

Тогда по окопам ударил из пушек бронепоезд.

Как раз в это время конвой восставших вывел на расстрел комиссара Сушкина, захваченного в первый день мятежа. Ему

пришлось идти мимо своей избы, подслеповато смотревшей на дорогу стеклами убогих окон.

Из избы выскочил мальчик, сын комиссара, оттолкнул одного из конвоиров, бросился к отцу:

— Папа, куда они тебя ведут?

— Уйди, сынок, как бы и тебя ненароком... Уйди...

Руки у комиссара были связаны за спиной — он не мог обнять сына, прижать его к себе. Только наклонился, поцеловал.

— Слышишь, наши пушки бьют. Конец теперь кулачью. Беги домой, сынок, к маме беги.

Снаряд с бронепоезда разорвался совсем близко — конвоиров и пленника осыпало комьями и пылью взметанной вверх земли. Перетрусившие кулаки бросились врассыпную, но, убегая, один из них выстрелил в спину комиссару.

Сын не послушался отца — не убежал домой. И когда Сушкин упал лицом в дорожную пыль, мальчик наклонился над ним, чтобы развязать комиссару руки... Однако кулаки вернулись к телу Сушкина, глумились над ним — мертвым...

А наутро Клушино заняли красные латышские стрелки, и во главе отряда с маузером в руках шел Сергей Тимофеевич, мамин старший брат, наш дядя Сережа. Потомственный питерский рабочий, большевик с шестнадцати лет, комиссар Красной Армии, он был другом погибшего Сушкина. И это он привел бронепоезд из Питера на усмирение кулацкого мятежа.

Как спешил он помочь товарищу и как переживал, что не успел вовремя!..

— А почему я ни разу не видел дядю Сережу? — спроил Юра.

— Он умер молодым, сынок. Тиф его свалил.

— Ух, гады! Попались бы мне эти кулаки...

Мама взглянула на Юру и, как ни грустно ей было вспоминать о брате, не могла сдержать улыбки. Мы с Зоей рассмеялись: столько гневной и решительной отваги было на Юркином лице, что впрямь поверишь, попадись они, мятежники-мироеды, в его руки, точно, несдобровать бы им.

Потом мы шли домой, спускались под гору, и Юра все оглядывался назад, на памятник над могилой комиссара. Оглядывался и я.

Деревянный обелиск, открытый всем ветрам всех четырех сторон света, стоял на скрещении сельских улиц.

...А у Юры и Володи Орловского с этого дня новое появилось увлечение. Мальчишки выстругали себе деревянные сабли и с утра до вечера пропадали в лугах, за околицей, играя «в комиссара Сушкина и дядю Сережу». Иногда в игру принимали и Бориса, впрочем, не на весьма благовидные роли: изображать

бронепоезд или бунтующих кулаков.

* * *

...Осень 1967 года. Страна отмечает полувековой юбилей Советской власти. Из города Калинина приехал в Гжатск Василий Иванович Сушкин, сын комиссара. На вокзале попросил встречавших, чтобы проводили его в дом Гагариных — родителей космонавта.

Он-то и поведал отцу и матери кое-какие подробности из тех трагических дней 1918 года.

— Накануне мятежа,— рассказывал Василий Иванович,— прискакал из Гжатска комиссар, товарищ отца. Свалился с лошади — в пыли весь, лицом черен, только зубы сверкают. «Прятаться надо, не то кулаки порешат нас всех»,— предложил он. Отец возразил: «Я прятаться не стану, ничего дурного людям я не сделал».

Верил он в людей...

Несколько дней прожил сын комиссара в Гжатске. Вместе с нашими родителями был Василий Иванович на могиле своего отца, вместе выступали они у пионерских костров, в цехах перед рабочими, в колхозных Домах культуры и библиотеках.

Ненапрасной была вера комиссара в людей, потому и не гаснет память о нем в сердцах человеческих...

ГЛАВА 5
Ночь на мельнице

— Куда бы ни занесла судьба русского человека, а этого, ребятки, он забыть не сможет,— сказал дядя Павел.

Сквозь отверстие в крыше — недавним ураганным ветром вырвало клок соломы, а залатать руки не дошли пока,— хорошо видимая, мерцала над нами одинокая голубоватая звезда. Мы лежали на рядне, укрывшись просторным тулупом и двумя старенькими одеялами: в центре дядя Павел, справа от него Юра, слева я. Под нами было сено — прошлогоднее, громко похрустывающее при каждом движении; над нами — соломенная крыша и — сквозь отверстие в ней — холодно поблескивающая одинокая звезда. Тревожен был ее свет, но от тулупа по-домашнему веяло кисловатой овчиной, и этот запах не могли убить даже острые запахи сена, и нам было хорошо и уютно.

Дядя Павел не переносил одиночества — взрослая его дочь давно жила в Москве — и нередко, едва начинало смеркаться, стучался в нашу дверь.

— Тимофеевна,— говорил он, обращаясь к матери,— отправька нас с племянниками на ночь на сеновал.

Мама разрешала охотно:

— Ступайте уж, так и быть.

Мы с Юрой тотчас забирали рядно, тулуп, одеяло и готовили нехитрую постель. И с нетерпением ждали, пока отец и Павел Иванович — со стороны на них посмотреть, близнецы: так похожи друг на друга, разве только Павел Иванович ростом повыше,— сидя на крылечке, выкурят по папироске на сон грядущий.

Так оно и сегодня было. Выкурив папиросу, дядя Павел пришел на сеновал, разделся, привычно занял свое место.

Вот сейчас, как и всегда в такие ночи, начнется наше путешествие по странам и материкам. Бог мой, где только не побывали мы с нашим всезнающим дядькой! Охотились на мустангов в прериях Америки, штурмовали недоступные пики высочайших горных хребтов, открывали заново открытые Колумбом и Магелланом земли, летели с Чкаловым через Северный полюс, зимовали с Папаниным на льдине... Он, наш добрый и многознающий дядька, был для нас и Фенимором Купером, и Виктором Гюго, и Жюлем Верном, и всесведущим комментатором скромных сообщений ТАСС об успехах наших первопроходцев Арктики, пионеров освоения Сибири и Дальнего Востока одновременно. Из его рассказов мы узнавали о жизни

больше, нежели могли нам дать школа и опыт собственного познания. Он учил нас мечтать.

Когда дядя Павел принимался рассказывать, мы забывали о времени, мы не помнили о нем. Замолкала у клуба гармошка, гасли девичьи голоса, приусталые от частушек, успокаивались дворовые собаки, потому что и прохожих, к кому бы можно было придраться, не оставалось на улице, а дядя Павел все говорил и говорил, а мы слушали и слушали, и нам вовсе не хотелось спать в такие ночи, по крайней мере, все то, что оставалось до рассвета, принадлежало нам. Никого, кроме нас, и ничего, кроме нашей общей мечты, в эти часы на земле не существовало.

— Так вот, ребятки, куда бы ни занесла судьба русского человека, а этого вот — запаха сена, запаха родной земли — забыть он не в состоянии,— сказал дядя Павел.

Мы подумали, что за этим вступлением последует какая-нибудь необычайная, диковинная история, и навострили уши. Но дядя Павел совершенно неожиданно и надолго замолчал.

— А я один раз сидел под копной, и ко мне за рубаху ящерица заползла,— почему-то вспомнил Юра.

— Испугался?

— Сначала испугался, а потом за хвост ее вытащил. Только хвост у нее отвалился. Больно ей было, а?

— Новый вырастет,— утешил я брата.— Дядь Паш, ты чего — спишь?

— Нет, хлопчики, не сплю.

— А чего же молчишь?

— Вон на звезду засмотрелся и задумался. Меня давно тревожил один вопрос, на который я нигде — ни в книгах, ни в разговорах с товарищами — не мог найти ответа.

— Дядь Паш, а на звездах, ну хоть на какой-нибудь одной, живут люди?

— Вот, Валя,— дядька приподнялся, сел, неосторожно сдернув с меня одеяло: зябкий холодок защекотал пятки,— ты вроде как мои мысли подслушал. Как раз об этом и думал я сейчас.

— Живут? — подал голос Юра.

— Тут, милые мои, разницу надо уяснить,— тихо заговорил дядя Павел.— Между звездами и планетами разницу. Каждая звезда, она что солнце, температура у нее страшнейшая. Живой организм там существовать не может, и самое крепкое вещество, сталь там или алмаз, моментально в пар превратится— такая там, можно сказать, жарища. А вот планеты, мне думается, есть, очень на нашу Землю похожие. Должен же там кто-то жить...

— Какие ж похожие? Марс, Юпитер, Венера, Плутон...—

блеснул я познаниями, почерпнутыми из школьного учебника.— Про них науке все известно.

— Плохо ты науку понимаешь, племянничек,— укорил меня дядька.— Это же только нашей солнечной системы планеты, и ничего-то толком даже ученые в них не понимают, спорят все, а ведь им, солнцам-то, числа во Вселенной нет. И планеты вокруг каждого есть другие, не видимые нам.

Он вдруг скатился с горы сена вниз и — услышали мы — принялся натягивать сапоги.

— Вот что, ребята, все равно, вижу, не до сна нам всем. Есть предложение пойти прогуляться.

Уговаривать нас не нужно было.

Странно выглядит ночью родное село, что-то незнакомое, отчужденное появляется в его облике. Днем, при солнечном свете, изба как изба, обыкновенная, при палисаднике, в котором растет сирень. Ночью же избы угрюмеют, тяжелеют, лохматыми скирдами наползают на дорогу.

Держа друг друга за руки, мы с Юрой шли за дядей.

В небе постепенно, одна за другой, загорались звезды, и затерялась, стала неприметной среди них наша, голубоватая и холодная, и тонкий серп молодой луны повис над селом. Тотчас посветлели нахлобучины соломенных крыш над избами.

Мы перешли дорогу, зашагали по лугу. Росная трава неслышно стелилась под ноги, обдавала нас холодными брызгами.

— Раз роса — дождю не быть, старая примета,— сказал дядя Павел.

По левую руку от нас оказалась ферма. Было отчетливо слышно, как хрумкали за стеной, пережевывая свою жвачку, коровы, виден был сквозь плохо завешенное окно сторожки спокойный, ласковый свет фонаря. «Дядя Андрей Калугин не спит»,— вспомнил я старика сторожа, самого заядлого в селе курильщика и забавного балагура, и это было приятно — думать, что кто-то в селе и кроме нас не спит.

Но вот и ферма осталась за спиной, а мы все идем, и куда идем — одному Павлу Ивановичу известно.

— Дальше лес,— говорю я.

— А мы не в лес.

— А куда?

Дядя Павел не отвечает. Я вижу только его спину, слышу, как всхрустывает под его ногами нечаянная ветка, и вся эта непонятная ночная вылазка обретает в моем воображении заманчивую и таинственную прелесть.

Темная громада ветряка выросла перед нами.

Мельница тоже спит, беспокойно, по-стариковски: немощно поскрипывает суставами, постанывает, дышит надсадно.

— Пришли.

Дядя Павел толкает тяжелые ворота, и они, скрипя, разъезжаются, и нас тотчас обдает запахами муки, перегретого за день и медленно остывающего жернова, смолистого дерева.

«На мельницу? Зачем?» — хочу удивиться я и не успеваю: кто-то грозно захохотал в ответ.

Я вздрогнул.

— Ой! — вскрикнул Юра, прижимаясь ко мне.

— Филин это,— спокойно объясняет дядя Павел.— Пугает нас, а нас пугать незачем. Пришли мы.

В мельнице темно, только высоко над головами пробивается в окошко слабый неровный свет. Ощущение такое, будто стоишь на дне глубокого колодца.

— Пошли! — скомандовал дядька.

Ступеньки лестницы заговорили под ним.

— Пошли, Юрка!

Прижимаясь друг к другу, мы осторожно нащупываем ступеньки и поднимаемся все выше и выше. А лестница стонет, покачивается чуть, и в голову лезет всякая дребедень — домовые, водяные, лешие. Медленно отвыкали люди в нашем лесном краю от суеверия. И если днем, когда солнце ярко светило, смеялся я обыкновенно над россказнями ребят о проделках ведьм и колдунов, то сейчас, ночью, на старой мельнице, разом пришло на память все слышанное когда-либо о нечистой силе. А тут еще филин разорался некстати — снова заухал, захохотал, но уже с другой стороны, и если бы не дядя Павел впереди, не держал бы я за руку Юру,— смазал бы сейчас пятки салом. Только поминай как звали!

Дядя Павел остановился под самой крышей, у слухового окна. Подал нам руку.

— Где вы? Та-ак.

Из окна тянет холодок.

— Смотрите,— торжественно сказал дядя Павел.— Запрокиньте головы и смотрите в небо.

Мы подвинулись к окошку, послушно подняли головы вверх. Юра первый, кажется, догадался, зачем привел нас сюда дядька.

— Ага, звезды какие крупные. По кулаку.

— Точно, Юрок. А Млечный Путь видите? Млечный Путь наблюдаешь, Валентин?

— Ну, вижу.

Голос у дяди стал по-мальчишески звонким, и это удивило меня.

— Вот там, ребята, и скопились все другие миры. Там много солнц, много планет, и каждая ходит по своему кругу. Есть среди тех планет и такие, как наша.

— Может, кто-нибудь оттуда сейчас на нас смотрит,— предположил Юра.

Дядька отозвался с пылом:

— Конечно, смотрят. Им же интересно узнать, как мы тут, на Земле, живем и есть ли мы вообще.

Холод пробрал меня до пяток: босиком, в одной ситцевой рубашонке пустился я в эту прогулку. Юра и вовсе: штанишки по колено...

— Эх, дядь Павел,— укорил я.— Млечный Путь и с нашего сеновала хорошо виден. Зачем мы сюда-то тащились?

— Чудак ты, Валентин,— не сразу откликнулся дядька, и голос его потускнел, упал.— С сеновала мы посмотрели бы на него, поговорили — и все. И забыли бы о нем. А теперь он на всю жизнь в твою душу западет.

Юра выдернул свою руку из моей.

— Ты чего? — спросил я. Он не ответил, но мне и так понятно: обиделся за дядьку. Мне и самому неловко стало: не подумав, с бухты-барахты взял да и сказанул глупость, но как ее, эту глупость, поправить, сразу я не сообразил.

К счастью, надолго обижаться дядя Павел не умел. Он обнял нас, притянул к себе, и мы еще долго стояли и смотрели сквозь вырез окна в синь неба, на звезды.

Июньские ночи воробьиного носа не длиннее.

Вскоре звездная россыпь стала бледнеть, таять, точно ломкий ледок в вешнем ручье, и вот уже редкие и крохотные, чуть крупнее горошины, остались звездочки, и горизонт у востока тронуло алым. На дальнем конце села загомонило на разные голоса стадо. Песня пастушьего рожка проплыла над нами и утонула в чащобе темно-синего леса.

— Пора домой.

Мы спускались вниз по крутым и шатким ступеням лестницы, и скрип ее теперь был не так громок и пугающ, и смешными казались все страхи и переживания уходящей ночи.

...Мама выгоняла корову в стадо. Очень удивилась, завидев нас.

— Где это вы шатались, полуночники? Ай-яй-яй, придется отцу доложить,— пригрозила она шутливо.

Павел Иванович приложил палец к губам:

— Тс-с-с!

И на цыпочках, с таинственным видом прошел на сеновал. Мы молча проследовали за ним, а через десять минут спали как

убитые...

После, на исходе недели уже, была еще ночь, когда я приходил на мельницу, но уже один. Чтобы снова посмотреть на звезды и, быть может, заново ощутить с остротой загадку тех сказочных опасностей, которые, по моему убеждению, прятались в каждом углу ветряка. Но — оттого ли, что я уже знал, куда и с какой целью пришел,— не пережил я вторичного того волнующего чувства новизны, того восторга открытия, своей причастности к тайнам мироздания, не пережил всего того, сложного и не поддающегося объяснению, чем так богато одарила меня первая ночная прогулка.

— Я ушел разочарованный: и звезды мелковаты, и душа спокойна.

Юра, знаю, тоже несколько раз бегал туда по ночам — и один (представляю, скольких страхов ему это стоило!), и с товарищами. У него со старым ветряком сложились свои отношения, по-видимому, более благополучные, нежели мои.

ГЛАВА 6
Война

Чёрный день

Субботним полднем невесть откуда забрели в Клушино цыгане. Длинные телеги в парной упряжке с грохотом прокатили по улицам села, завернули на луг, остановились неподалеку от нашей избы.

Я только что вернулся с сенокоса — так заведено было: летом все мы, старшие школьники, работали в колхозе. Юра пришел с рыбалки, и мы с ним сидели на крылечке, поджидали мать и отца. Зоя в избе варила уху — у братишки сегодня был неплохой лов.

День выдался на редкость жаркий, солнце пекло немилосердно, нас от его палящих лучей спасала только тень козырька над крыльцом.

Цыгане — толпа пестро одетых и очень крикливых людей — с удивительным проворством выпрягли коней из повозок, и вскоре на лугу, как грибы после дождя, выросли три дырявых полотняных домика-шатра.

От табора отделилась группа: десятка полтора загорелых до черноты кудрявых мужчин и длинно-косых женщин с детишками на руках.

— К нам идут,— заметил Юра.

Цыгане, точно, подошли к нашему дому. Я испугался, что сейчас начнут попрошайничать или приставать: давай-де погадаем, и раздумывал, как бы побыстрее отделаться от них, навязчивых... Но ничего такого не случилось. Седобородый старик с лицом, иссеченным морщинами, подойдя к крыльцу, вежливо приподнял над головой соломенную шляпу и гортанно поприветствовал нас:

— Здравствуйте, молодые люди. Можно напиться из вашего колодца?

— Бадейка на цепи,— ответил я.— А воды не жалко.

Юра стремительно поднялся, сбегал в избу и вынес оттуда большую алюминиевую кружку. Протянул ее седобородому:

— Пейте на здоровье.

— Спасибо, молодой человек.

Пили они по очереди, и очень интересно было наблюдать за ними. Сперва, неторопливо и с достоинством, осушил кружку старик, потом утолили жажду люди пожилые, затем молодые

парни. А уж после всех заполучили кружку женщины.

Напившись и похвалив воду — студеная, вкусная! — цыгане пошли в село. Кружка осталась на срубе.

Тут как раз появился отец. Разгоряченный знойным солнцем и ходьбой, он примедлил шаг у колодезного сруба, зачерпнул воду из бадейки, поднес кружку к губам.

— Папа,— крикнул ему Юра,— из нее цыгане пили!

— Всяк человек — человек,— почти библейской мудростью отозвался отец и, вытирая губы тыльной стороной руки, скомандовал: — Ты, Юра, Зою поторопи: пусть на стол накрывает живее — делов ныне невпроворот. Мать-то пришла, что ли?

Коси, коса, пока роса...

Мышцы рук, особенно правой, туго стягивает непосильная усталость. Вышли мы в луга спозаранку, и вот уже солнце плывет почти в самой верхней точке неба, и тени наши на земле куцы, обрублены, и роса давно спала, а мы все машем и машем косами, торопясь закончить длинный прогон. Мы, мальчишки, идем за взрослыми колхозниками, за опытными косцами, а они, кажется, не знают устали.

Пот заливает глаза, прибаливают обожженные солнцем плечи. Утром мама хотела смазать их гусиным салом. Я не послушался, а зря...

Но вот наш бригадир, высокий, жилистый и неутомимый старик, кричит:

— Шабаш!

Мужики и парни валятся в траву, кисет идет по рукам. Мне очень хочется закурить, как закуривают взрослые: не торопясь свернуть цигарку, вкусно затянуться горьковатой махоркой. Велико мальчишеское искушение, но... узнает отец — пощады не жди. И я лежу на спине, прищурив глаза, смотрю в небо и думаю о том, что сегодня самый длинный летний день, макушка лета, и, быть может, самый жаркий. И о том еще, что в деревне, как начинается страдная пора, забывают люди о выходных. Вот сегодня, к примеру, воскресенье, а у нас самый разгар работы.

— Ден пять такая погода постоит — управимся с сенокосом, — степенно рассуждает бригадир.— Добрая будет у животинки зима, трава ноне богатая.

Пять дней — ерунда, мы уже больше в лугах трудимся. Поначалу ой как трудно было, а сейчас ничего, сейчас я втянулся...

— Кому близко — могут домой идти обедать,— разрешает бригадир.

Мне до дому — рукой подать, а перерыв у нас долгий, и я,

оставив косу на лугу, иду домой. Есть, правда, не очень хочется, но молочка — холодного, из погреба! — испить кстати будет.

Дорога моя — через поляну, на которой вчера цыгане разбивали свой лагерь. Ушли они ночью, тихо ушли, незаметно, и только выжженная на месте недавнего костра земля, ненужное тряпье и бумага да выщипанная их конягами трава напоминают о том, что совсем недавно здесь стоял табор.

Ночь пройдет, а утром рано
В путь далекий, милый мой,
Я уйду с толпой цыганов
За кибиткой кочевой,—

как умею, напеваю я и чувствую, что губы у меня потрескались от жары и жажды, и размышляю о том, что ведь и в самом деле неплохо бы оно было — прибиться к цыганскому табору, побродить по земле. Сколько, должно быть, видят они сел и городов, людей интересных встречают, а люди те все по-разному, всяк на свой манер живут. Побродить с цыганами лето, а осенью вернуться домой, и тогда уже не дядя Павел мне — я расскажу ему занятные и диковинные истории...

Все наши, кроме отца, дома.

Юра с Бориской сидят на полу, в руках у Юры раскрытая книжка.

— Повторяй за мной,— приказывает он Борису,— повторяй: «Климу Ворошилову письмо я написал...»

Борису учеба явно не впрок: он отчаянно вертит головой, косит глаза на окно. Там по стеклу с наружной стороны ползет оранжевая бабочка.

— Да повторяй ты! — сердится Юра.— Смотри, а то заставлю зарядку делать...

Мама с Зоей, вооружившись ножницами и сантиметром, из старой маминой юбки кроят младшим новые штаны.

— Устал,— пожаловался я, садясь на скамью у порога.

Зоя, острая на язык, отрезала:

— Не хвастай. Мы после обеда тоже в луга идем. Сено ворошить.

— Ворошить — не косить...

Тут в сенях шаги послышались, я узнал походку отца и удивился, что-то очень тороплив он сегодня на ногу.

Распахнулась дверь, отец стал на пороге и, не переводя дыхания, глухо сказал:

— Война!

Мы притихли.

И в этой внезапной и непривычной тишине — в доме, где много детворы, тишины вообще-то не бывает — я вдруг услышал, что мама плачет. Она сидела на табуретке и тихо плакала, вытирая глаза концами головного платка.

Юра и Борис медленно — это запомнилось четко — поднялись с полу, на цыпочках подошли к матери, прижались к ней с двух сторон. Она крепко обняла их, притянула к себе.

— Ух! Зададим мы теперь фашистам! Покажет им Красная Армия, где раки зимуют! — сказал я с каким-то почти радостным воодушевлением, стыдясь того, что мама плачет, но голос мой прозвучал одиноко, и никого не успокоили мои слова.

— Очень уж тяжелые бои идут,— отозвался отец.— Много наших городов немцы бомбили, границу перешли. Молотов по радио выступал...— Не договорив, он прошел к столу, сел на табуретку, подперев голову руками.— Что-то нехорошо мне,— пожаловался.— Голова раскалывается, и знобит...

Зоя метнулась за градусником:

— Давай температуру измерим.

Отец вяло отмахнулся:

— Посижу, и пройдет... Перегрелся я на солнце...

— Кому говорят, ставь градусник,— прикрикнула Зоя. Сестра умела быть настойчивой, когда ее, эту настойчивость, требовалось проявить.

— Ого, за сорок...

Отец уже не слышал нас — то ли дремал за столом, то ли впал в забытье.

Мама поднялась с места, подтолкнула к дверям Юру к Бориску:

— Бегите на улицу, сынки. Пока не позову, домой не являйтесь. И к отцу не подходите.

Когда за младшими закрылась дверь, мама — глаза ее были сухи, и всегдашняя мягкость, плавность в движениях уступили место незнакомой мне прежде в ней решительности,— сказала:

— Это тиф. В двадцать втором мы вот так всей семьей перехворали. Ступай к председателю, Валентин, проси лошадь. В Гжатск повезем отца.

Дорога до Гжатска — мы повезли отца вдвоем с мамой — была длинной и невеселой. Два горя, свалившиеся на нас одновременно,— весть о войне и болезнь отца — не то что надломили, а как-то прибили, измучили нас так тяжело, как не мучает ни одна самая черная работа.

— Что-то будет, что-то будет? — повторяла мама то и дело.

— Ну что будет? — пытался я успокоить ее.— Все равно мы

сильнее и скоро разобьем фашистов.

— Э, сынок, пока солнышко взойдет, роса очи выест... Ты войны не видел, а я еще в те, в германскую да в гражданскую, хоть и ребенком была, а горюшка вдосталь хлебнула...

Отец стонал, метался, просил пить, терял сознание. Ему то жарко было, то холодно.

Но вот и больница — маленькие деревянные бараки поблизости от вокзала. Грохочут мимо поезда — грузовые и пассажирские, и в эти минуты ходуном ходят ненадежные стены больничных покоев.

Отца сразу же определили в инфекционную палату. Нас с мамой туда не пустили, но я все же подошел к окну: видно же будет, куда его положат. Прильнул к стеклу, всмотрелся. На ближней к окну койке лежал знакомый цыган — тот самый вежливый старик в соломенной шляпе, что подходил вчера к нашему дому и разговаривал с нами. Сейчас он лежал, повернув лицо к окну, глядел на меня мутными глазами и не узнавал, не видел меня.

Мне сразу вспомнились и алюминиевая кружка на колодезном срубе, и отец, черпающий воду этой кружкой из бадейки, с жадностью выпивающий ее до дна...

Беженцы

Много ли дней минуло с начала войны, а мимо нашего дома по дороге, днем и ночью, в сушь и в дожди, нескончаемые, тянутся вереницы беженцев из западных, приграничных областей.

Никогда прежде не видели мы такого потока людей: старики и старухи, женщины и дети, подростки. Больше всего женщин и детей. И у всех — у взрослых, у ребятишек — черны от пыли и усталости лица. У многих — у взрослых и у ребятишек — тощие котомки за спинами. Мы знаем: в этих котомках нехитрый и зачастую ненужный скарб — то, что первым подвернулось под руку, когда под разрывами немецких бомб покидали хозяева родные хаты. Останавливаясь у деревенских изб, беженцы пытаются обменять это барахло на продукты. Колхозницы машут руками: дело ли грабить обездоленных? — и выносят им хлеб, молоко.

Редко-редко попадается в этом потоке повозка, запряженная непременно изголодавшейся клячей. Конь-доходяга едва волочит ноги, а на повозке, судорожно вцепившись в вожжи, сидит какой-нибудь «счастливчик» — не пешком ведь идет! — а за его спиной, смотришь, не меньше десятка голодных, как галчата, ребятишек.

Девушка в белой косынке и сиреневом платье крутит педали

велосипеда. К багажнику бельевая корзина веревками приторочена. Но трудно вот так, на велосипеде, в толпе медленно бредущих людей — и девушка спрыгивает на разбитую дорогу, ведет велосипед в руках. А он мужской, и заднее колесо — под грузом на багажнике — вихляет из стороны в сторону.

Старик с гривой седых и длинных волос толкает перед собой тележку на высоких железных колесах. В тележке лежит набитый чем-то мешок, а на мешке сидит мальчуган в матросском костюмчике: курточка с якорями, круглая шапочка и по ленте серебряные буквы — «КРАСИН». У старика глаза, утомленные недосыпанием, и плотно сжатые губы. Мальчуган вертит головой, недоверчиво смотрит по сторонам. Дед и внук, видать.

В черных одеяниях и платках, надвинутых на самые глаза, прошли две старушки монахини.

Нестройная колонна детдомовцев — стриженных наголо мальчишек и девчонок лет по десяти — двенадцати — проплыла вслед за ними. Во главе колонны брели немолодая женщина-воспитательница и усатый мужчина в красноармейской гимнастерке с пустым рукавом. Мужчина иногда оглядывался, сипло кричал: «Подтянись!» — и детдомовские покорно убыстряли шаг, догоняли вперед идущих и снова отставали.

К нашему колодцу пробиться невозможно. Некоторые из беженцев устраиваются отдохнуть ненадолго в тени яблонь; сидят или лежат, жуют черствый хлеб; другие просто утолить жажду подходят. Колодец за день вычерпывается без остатка: на дне бадейки, когда ее вытаскивают наверх, толстый, в палец, слой грязи.

Мама, если дома, не на ферме, бежит к колодцу с кринками молока в руках:

— Хоть детишек напоите, люди добрые. Откуда, из каких мест идете?

Отвечают разно:

— Гродненские...

— В Минске жили, милая.

— Из-под Бреста. Слышали небось? На границе с Польшей.

Течет, течет по дороге людской поток. Усталые, измученные, изголодавшиеся люди... Беженцы не плачут, нет. Разве только совсем уж маленькие ребятишки, когда невмоготу становятся жара, жажда, голод. Только скорбь на лицах у взрослых, скорбь да гнев, когда начинают рассказывать о том, как падали на их города и села фашистские бомбы, как тяжелые артиллерийские снаряды разносили в щепу их жилища, как обгоняли их на дорогах и расстреливали в упор немецкие мотоциклисты.

— Не люди они, милые, германцы эти самые,— говорили

беженки,— нет, не люди. Не могут женщины на божий свет таких людей производить.

Днем и ночью не отдыхает дорога. В глубь России несут свою боль, свое горе, свою ненависть к врагам обездоленные, несчастные люди.

Мама заметила их в окно.

— Юра, сынок,— попросила она.— Видишь тетю с ребятишками? Позови их в избу.

Худенькая белокурая женщина остановилась у колодца. За подол ее платья держались два паренька, примерно Юриного и Борискиного возраста, а за ее спиной в платке, концы которого были перехвачены на груди крест-накрест, спала девочка лет двух-трех. Женщина пыталась напиться из бадейки, но это не удавалось ей: мешали пареньки — крепко держались за нее, мешала ноша за спиной.

В избу они вошли нерешительно. Юра вел их, держа за руку паренька постарше.

— Здравствуйте, робко сказала женщина.— Вот мальчик позвал нас.

— Садитесь, садитесь. Развязывай платок, молодка, девчушку на кровать положи, вот сюда. А ребятишки пусть прямо к столу проходят.

Мама расхлопоталась: Зою в погреб прогнала — за молоком и салом, достала из печи чугун со щами, крупными ломтями порезала хлеб.

Парнишки, тоже худенькие, малопроворные, как вошли в избу, так и слова не проронили, и не отходили друг от друга ни на мгновение. Они и за стол сели рядышком, плечо к плечу, вяло взяли ложки.

Мама уговаривала:

— Ешьте, ешьте, родимые. Непохоже, чтобы выбыли сыты.

— Замучились они,— объяснила женщина.— Мы ведь из самой Литвы, идем, и все пешком, пешком. С самолетов в нас по дороге стреляли.

— Ну, ешьте же,— все уговаривала мама ребятишек,— и ты, молодка, не стесняйся. Хлеб берите, хлеб.

Юра — он стоял у печки, смотрел на ребят со стороны — вдруг подошел к столу, взял ложку:

— Сейчас я им помогу.

Зачерпнул щи, аппетитно надкусил ломоть хлеба и, пережевывая его, серьезно сказал:

— Вот как есть надо!

Ребята посмотрели на него и тоже заработали ложками.

Мама сидела на скамье у дверей, печально смотрела на женщину, на ребят. Потом предложила:

— Вы уж сегодня переночуйте у нас, отдохните, а завтра пойдете дальше.

Мальчики вышли из-за стола, в один голос сказали: «Спасибо!» — и Юра с Бориской повели их в сад. Мы сидели в избе и слушали рассказ женщины о том, что ей с ребятами пришлось пережить.

— И четырех утра не было,— вспоминала беженка,— как бомбы на наш городок упали. Выскочила из дому в чем была — только мальчишек своих и успела вывести. И вот идем с тех пор... Люди у нас добрые, понимают в несчастье, а так... ну чем бы кормить я их стала?

Мама качала головой, сокрушалась:

— Я и то смотрю: пожиток-то у тебя никаких с собой. А мужик-то твой где же?

— Военный он у нас, папка наш.— Женщина наклонила голову, пряча глаза.— Перед самой войной в командировку он уехал, на границу. Наверно, и в живых теперь нет.

— Трудно тебе придется, если... Молодой овдоветь... и трое детей на руках.

— Девочка не моя,— сказала женщина.— Соседей наших девочка. Погибли они, а она вот осталась.

Мама всплеснула руками:

— Ой, горе горькое! То-то, смотрю, не в тебя девочка: ты белявая, а она темненькая. Подумать только, мы еще и не ведали, что война началась, а сколько крови уже пролилось... Знаешь что, молодка, оставайся-ка ты в нашем селе, хотя бы и в нашем доме поживешь.

Женщина заколебалась было, потом несогласно покачала головой:

— Нет-нет, что вы. И сюда немцы придут.

— Неужто придут?

— Придут. У меня в Тамбове родители — будем туда добираться.

— Идти-то как далеко...

Прибежал с улицы Юра, пожаловался с порога: новые товарищи не хотят играть в войну.

— Не надо в войну, мальчик. Придумайте что-нибудь другое.

Голос у женщины был очень печален, а мама внезапно рассердилась:

— Я тебе задам войну! Тоже мне вояка!

Юра посмотрел на нее ничего не понимающими глазами: редко такое случалось, чтобы мама сердилась, выскочил в сени,

крикнул оттуда:

— Ладно, мы в прятки будем!

Ночью, когда наши нежданные гости крепко спали, мама с Зоей кроили и шили платьице для девочки: на ней, как выяснилось, кроме мальчишеской рубашки, ничего не было.

Утром женщина прощалась с нами: мамы уже не было — ушла на ферму.

Может, когда и придется встретиться,— сказала она.

Мы — Зоя, Юра с Бориской и я — проводили их на дорогу и долго стояли на крыльце, смотрели им вслед. Женщина несколько раз оглянулась, и мальчишки оглядывались вместе с ней, и тогда мы поднимали руки, махали им, и они махали нам в ответ.

Юра вдруг сорвался с места, нырнул в избу, а вскоре вернулся, держа в руках каравай и кусок сала.

— Мы же им с собой ничего не дали! — крикнул он.— Я их догоню.

Пыль столбом поднялась за ним по дороге...

— Валя, спросил он меня вечером, припомнив, видимо, наш недавний и — увы! — очень давний уже разговор: ведь он еще до войны состоялся, разговор тот, в ином времени, в другом измерении.— Валя, разве ж такая война бывает? Ты же говорил, что солдаты стреляют друг в друга. Из пушек, из винтовок.

— Наверно, бывает и такая, Юра.

Брат был на девять лет моложе меня. Но что мог ответить ему я, человек, по деревенским понятиям, да и в его глазах тоже, достаточно взрослый уже? Я еще и сам-то не очень хорошо понимал, какая она бывает, настоящая война. Финская кампания нашу семью, да и село наше почти не задела — прошла стороной, как дальняя и неяркая гроза.

Разговор с женщиной-беженкой растревожил. Если раньше мне, да и не только мне, думалось и верилось, что немцев вот-вот остановят, повернут вспять, погонят с нашей земли, то теперь в душу закралось сомнение. И страх. А ну как они и до нашего села доберутся?! А ну как и нам придется топтать дальнюю и незнакомую дорогу?!

С Юрой — и это сразу бросилось в глаза — тоже резкая произошла перемена. Обычного веселья — и резвости в нем почти не осталось — он реже улыбался, стал молчалив и задумчив, целыми днями не отходил от крыльца и от колодца. Он выносил на улицу и раздавал беженцам все, что находил в избе, в погребе, на огороде: хлеб, вареную картошку, сахар, молоко, огурцы.

Когда же видел в толпе беженцев очень усталых, изголодавшихся ребятишек, зазывал домой.

— Взрослеет Юрка,— говорила мама и радовалась, глядя на него, что сердцем не черствый растет парень.

Сколько их, беженцев, вошло в те дни в двери наших домов!..

Гурты на дороге

Август запомнился суматошным, бестолковым.

Недели две вместе с другими ребятами из села — с теми, кому, как и мне, не подошло время призыва в армию,— работал я на строительстве оборонительных сооружений. Лопата и лом были нашим инструментом. Гудела от усталости спина, мозоли твердели на руках... Но вширь и вглубь росли противотанковые рвы.

Натиск фашистских войск все нарастал. Ходили слухи, что немцы взяли Минск и со дня на день войдут в Смоленск. Надобность в земляных работах отпала, и нас распустили по домам.

В селе дел хватало. В первые же дни войны ушли все, кто по возрасту и состоянию здоровья нужен был фронту. Призвали председателя колхоза Кулешова, трактористов наших, комбайнеров и шоферов призвали, да и технику из МТС — машины и тракторы — забрал фронт. Забота о хозяйстве свалилась на плечи женщин, немощных стариков и инвалидов. На нас, пятнадцати-шестнадцатилетних, смотрели теперь как на полноценную силу.

Как нарочно, богатый созрел урожай: тучный колос клонил стебли к земле, хлеб перестаивал на корню. И все мы: и стар и млад — вышли на уборку. Косили хлеба вручную, молотили по-дедовски — цепами...

А дорога мимо нашего дома все не знала покоя. По-прежнему шли в глубь страны беженцы, теперь уже не из приграничных областей — из районов, более близких к нам.

А вскоре появились на этой дороге и красноармейцы из наших отступающих частей.

* * *

Как-то вечером заглянул к нам дядя Павел.

— Тимофеевна, дальше жить как предполагаешь?

— А что? О чем ты? — встревожено, вопросом на вопрос ответила мама.

— Видишь ли, какое дело: скот со всех колхозов собираем — эвакуация. В Мордовию, слышно, погоним. Меня за старшего

посылают.

— Уходишь, значит?

— Сверху приказ дали. Я вот и зашел потому: подумать надо, покумекать. Раз скотину отгоняем — придет, видать, немчура и сюда. Наверху-то там виднее: стада перегонять — труда и денег стоит. Попусту подымать не стали бы. Стратегия... Вот и хочу спросить: ты-то с ребятами как?

Мы сидели притихшие, внимательно прислушивались к разговору. Дядя Павел — очень это было заметно — за последнее время осунулся, побледнел, голос его звучал надтреснуто, глухо, и ничего, ровным счетом ничего не осталось в нем от того мечтателя, который способен был глубокой ночью поднять ребят с сеновала и вести за собой на мельницу. Вести за тем, чтобы вместе с нами, ребятами, любоваться далекими звездными мирами и верить, что на нездешних планетах существует жизнь, похожая на нашу, земную... Еще не война в буквальном смысле этого слова — только громовое эхо ее докатилось до нашего села, а люди преображались на глазах: не было прежнего благодушия, прежней неторопливости, лености даже — нервы каждого были как натянутая до предела струна.

— Валя,— шепотом спросил Юра,— а что это такое: э-ва-ку-а-ция?

Я ответил тоже шепотом:

— Это чтобы немцам ничего не досталось. Скот уведут далеко-далеко.

— А когда его уведут?

— Скоро. Завтра, должно.

— Тогда я пошел.

— Куда?

— С Белугой попрощаюсь и с поросятками.

— Брось, Юрка, нужно им твое прощание...— попробовал было я остановить брата, но он уже тихо выскользнул за дверь.

— Так как же ты надумала, Анна? Собираешься в дорогу, нет? Я ведь могу и гуртовщицей тебя устроить, очень просто даже,— услышал я голос дяди Павла.

Мама беспомощно развела руками:

— Куда ж я пойду, Павел Иванович? Отец-то наш в больнице лежит. Была я вчера у него: очень плох, туго на поправку идет. Разве ж дело — оставить его одного? Да и надеюсь все: бог не без милости, может, и не дойдут сюда супостаты.

— Что ж, дело хозяйское.

Павел Иванович потоптался на пороге, кашлянул смущенно:

— Вы уж тут, коли остаетесь,— все равно ведь вам,— вы уж тут за домом моим приглядите. По родству и по соседству... А

попрощаться я завтра забегу.

Он открыл дверь — вечерней прохладцей повеяло из сеней, оглянулся на пороге:

— Пошел я.

Кто-то с разбегу ударил его в живот.

— Юра, ты что?

В дверях стоял Юра, и смотреть на него было страшно: глаза мокрые, побелел весь, губы трясутся, кулаки сжаты.

— Что с тобой, сынок? Кто тебя обидел? — бросилась к нему мама.

— Т-там, т-там,— от волнения он начал заикаться, слова застревали у него в горле,— т-там Белугу... убивают... И п-поросят...

— А-а, чушь,— махнул рукой дядя Павел и вышел в сени.

Кто убивает? — вскинулась мама и, как была, простоволосая, в домашнем платье, бросилась к выходу. Мы с Юрой конечно же побежали за ней.

У ворот свинарника стояли Андрей Калугин, сторож, и пожилой красноармеец с медалью «За отвагу» на гимнастерке. Калугин, приветливый и на редкость словоохотливый старичок, сыпал из объемистого кисета махорку в плотно сжатую пятерню красноармейца.

За стеной свинарника взвизгнул поросенок.

— Мама, прогони их! — закричал Юра, догоняя мать и хватая ее за подол платья.

— Что тут происходит, дядя Андрей? — трудно переводя дыхание, спросила мама.

— Это Юрка тебя переполошил? И гвардию за собой привел? Зря. Солдатики тут поросяток наших колют.

Лицо у мамы заалело пятнами.

— По какому праву? Кто позволил?

Калугин не торопясь раскурил самокрутку, пыхнул горьковатым дымком.

— Эх, Аннушка,— пустился он в длинные рассуждения,— право по нонешним временам одно существует: война все спишет...

Красноармеец недовольно поморщился, вмешался в разговор:

— Вы, гражданка, не волнуйтесь. Там действительно мои товарищи свинью закололи. Так у нас на это от вашего колхоза разрешение есть.

Он порылся в нагрудном кармане, извлек оттуда клочок бумаги с лиловой печатью и размашистой подписью, протянул маме. Та повертела его в руках, прочла вслух: «Разрешается... части Красной Армии...», вернула бумажку.

— Рекордистку-то нашу зачем же? — тихо спросила она.

Андрей Калугин снова не упустил случая пофилософствовать:

— Чисто женское у тебя понимание предмета, Анна Тимофеевна. Раскинь-ка так: на своих, к примеру, ногах Белуга от супостата не уйдет — слабы у ей ноги, а мяса тяжелы. Транспорт подходящий для нее пока не изобретен. Самый для Белуги выход — в солдатский котел. Не без пользы, значит, пропадет, не позволим мы такой заслуженной свинье пропасть без всякой пользы.

Он повернулся к красноармейцу, кивнул в сторону мамы:

— Заглавная и наилучшая у нас свинарка. Переживает.

— Ага, понятно,— отозвался красноармеец, подошел к Юре, наклонился, поднял его на руки. Юра отчаянно отбивался, барахтался, отталкивал красноармейца руками.

— Уйди, уйди, ты нехороший! — кричал он.

Но не тут-то было.

— Славный ты парень,— ласково приговаривал красноармеец, заключая брата в железные объятия.— Славный парень, и душа у тебя нежная, любящая — не по нынешнему времени душа. Горько тебе придется.

Юра понемногу успокоился, тронул кружочек медали на груди красноармейца.

— За финскую,— мимолетная улыбка тронула губы бойца.— В этой не заслужил еще.

Он спустил Юру на землю, повернулся к маме:

— Так что ж выходит, гражданочка: поладили мы между собой?

— Вон наш дом,— показала мама.— Заходите, коли хотите. Сварю мясо, молока поставлю.

— Спасибо.

Красноармеец горько усмехнулся:

— Расколошматили нас — теперь вот на переформировку идем. С продовольствием, извиняюсь, хреново, так вот по колхозам и питаемся. А кормить-то нас не за что, не за что! — вдруг вскрикнул он.

Мама тронула его за локоть:

— Не надо. Нам ведь тоже нелегко.

Красноармеец махнул рукой:

— Согласен... Сынок,— позвал он Юру,— поди-ка сюда, сынок.— И достал из нагрудного кармана красноармейскую звездочку, протянул братишке.— Возьми на память. И запомни, сынок, мы еще предъявим счет немчуре поганой. За все сполна предъявим.

Из свинарника вышел молодой пухлогубый боец: рукава

гимнастерки закатаны, ворот расстегнут.

— Готово, старшой.

— Ну и хорошо.

Пожилой красноармеец пожал маме руку, Юрку потрепал по голове и скрылся в помещении.

Ненадолго задержалась в Клушине эта, поредевшая в сражениях с гитлеровцами, часть. Потом и другие проходили через село, и их привалы были коротки и тревожны.

...Смешанное стадо вопило на все голоса: мычало, блеяло, хрюкало. Бестолковые овцы никак не хотели идти по дороге — все рвались в луга, и злые как черти пастухи, колотя пятками по бокам ни в чем не повинных коней, носились вслед за ними, щелкали длинными бичами — точно из ружей палили.

— Геть, геть! — кричали они.

— А, чтоб тебя!

Все село вышло провожать колхозное стадо. Женщины стояли у калиток, смотрели, козырьком поставив руку над глазами, на пыльную дорогу. Смотрели вслед гурту до тех пор, пока не растаяло на линии горизонта темное облако, поднятое сотнями копыт.

— Вот и осиротели мы,— грустно сказала мама.— Куда теперь руки приложить — не догадаешься.

На все хозяйство осталось несколько рабочих лошадей, не считая резвого выездного жеребца — его до войны седлали только для председателя Кулешова, да с десяток худосочных коровенок, а еще овцы и свиньи из тех, что поплоше, для которых, заведомо ясно, долгий путь в Мордовию окажется гибельным.

На пароконной бричке с крытым верхом подкатил к нашему дому Павел Иванович. Одетый, несмотря на жару, в наглухо застегнутый серый плащ-дождевик, в полувоенной фуражке защитного цвета и скрипящих хромовых сапогах, он сошел с брички, приблизился к нам. Мы стояли у колодца.

— Вот, ухожу, стало быть. Попрощаемся, что ли?

Расцеловался с матерью, со мной, с Зоей, подержал на руках Юру.

— Свидимся ли еще, крестник? Ну, живи!

— Не надрывай душу, Павел Иванович, ступай с богом,— поторопила его мама.

Тяжело ступая, дядя Павел побрел к бричке. Поднялся на подкрылок, обернулся:

— Так я попрошу, Анна Тимофеевна: присмотрите за домом. Вот пусть хоть Валентин туда переселится. Не маленький — уследит.

Застучали колеса по дороге.

— Что делается, что делается...— На лице у мамы недоумение и удивление написаны.— Не узнать Павла Ивановича. С ума он сошел, что ли? Сколько горя в России, а он о хате своей забыть не может.

* * *

Через несколько дней мама привезла из больницы отца. Смотреть на него было грустно: голова обрита наголо, щеки втянуты, глаза ввалились. По избе ходит с трудом, тяжело опираясь на трость.

— Уж думала, и не жилец на этом свете. Шутка ли — сыпняк, — призналась нам с Зоей мама.

Больше всех возвращению отца радовался истосковавшийся о нем Юра.

Снова в сборе была вся наша семья.

Помня просьбу дяди Павла, время от времени наведывался я в его избу, смотрел, все ли в порядке. Иногда и ночевать в ней оставался.

«Пал смертью храбрых...»

Он был и проще, и доступней на этот раз, тот самый чернявый «товарищ уполномоченный» из района, что проводил в нашем селе первомайский митинг. В армейской гимнастерке, без знаков различия, туго перетянутый командирским ремнем — кобура с пистолетом на правом бедре,— вошел он в комнату сельсовета, куда собрались мы по вызову рассыльной.

— Здравствуйте, товарищи комсомольцы!

— Здрасьте! — отозвались нестройно.

— Вот какое дело, ребята...

Он подвинул к себе стул, оседлал его, положив руки на спинку, внимательным взглядом прощупал каждого из нас. Человек десять или двенадцать — все сверстники, дружки по улице и школе,— мы с интересом ожидали, что скажет он нам.

— Вот какое дело, товарищи! Я разговариваю с вами по поручению районного комитета партии. Есть данные, что в пределах района действуют фашистские шпионы и диверсанты. Это во-первых. Во-вторых, в окрестных лесах с некоторого времени появились дезертиры, предавшие Родину в трудный для нее час...

Наверно, его самого смутили собственные же высокопарные

слова, он поморщился, поправился на ходу:

— В общем, всплывает всякое дерьмо, ставит палки в колеса...

Мы молча принимали тяжелую правоту его слов.

— Так вот, товарищи,— продолжал он,— районная партийная организация в каждом населенном пункте создает оперативные комсомольские группы по обезвреживанию шпионов и диверсантов, по выявлению дезертиров. Такая группа должна действовать и на территории вашего колхоза. Вооружиться рекомендую исходя из обстановки: охотничьи ружья, полагаю, в селе есть. Всех присутствующих здесь и будем считать членами оперативной комсомольской группы. Кто-нибудь против?

— Все за! — дружно закричали мы. Идея нам понравилась.

— Славно! Теперь стоит вопрос о старшем, о командире.

Он повертел в руках бумажку — список собравшихся в сельсовете, просмотрел фамилии.

— Кто тут будет Гагарин?

Я поднялся со скамьи.

— Это твоя мамаша работает на свиноферме?

— Работала,— поправил я.— Свиней-то нет больше.

— Помню, помню твою мамашу. Вот ты... как по имени-отчеству? Валентин Алексеевич?.. Вот ты, Валентин Алексеевич, и возглавишь группу, если, конечно, комсомольцы не возражают.

— Согласны! — опять закричали ребята.

— Ну и добро. Инструкции... впрочем, какие тут к черту инструкции? Патрулировать вам придется по ночам, к несению боевой службы следует приступать сегодня же. Колхозные кони — оперативность должна быть подлинной — поступают в ваше распоряжение. Все!

Мы гурьбой вышли из сельсовета. Низкие и тяжелые облака плыли над селом, обещая скорую осень и затяжные дожди.

Уполномоченный достал из кармана галифе коробку «Казбека», закурил, протянул папиросы нам. Коробка загуляла по кругу: все мы вдруг почувствовали себя очень взрослыми и наделенными большой ответственностью людьми.

По праву командира оперативной группы оседлал я персонального председательского жеребца — вот уже два месяца скучал он без хозяина.

Мы выехали за околицу. Толпа мальчишек, в том числе и неразлучная троица: наш Юра — он явно гордился тем, что мне доверили командование группой, Володя Орловский и Ваня Зернов — бежала вслед за нами. Женщины глазели на нас из окон, от крылечек, и во взглядах их можно было прочесть и удивление, и насмешку, и жалость. Наверно, странное

представляли мы зрелище: мальчишки верхом на заезженных клячах, кто в седле, а кто и просто так — охлюпкой, с безобидными дробовиками за спиной.

Сами ж себе мы казались грозной вооруженной силой, готовой без страха и сомнения, лицом к лицу, в упор встретить любую опасность.

За околицей придержали шаг, посовещались малость и пришли к единодушному мнению: окрестные леса, если будем держаться вместе, и за ночь не объедем. Разбились на группы по два-три человека, прикинули каждой участок.

Я остался в паре с Володей Беловым.

— Юрка,— крикнул я брату: мальчишки все под ногами у коней вертелись.— Шпарь домой, к утру диверсанта тебе привезу!

— А зачем он мне? — резонно возразил брат.

Солнце еще совсем за горизонт не ушло, но в лесу, куда мы вскоре въехали на рысях, было уже и сумрачно, и прохладно.

— Смотри внимательней,— шепотом предупредил я Володю.— Может, они где-нибудь костер жгут.

— Как же, станут они себя демаскировать.

Мы быстро и как-то незаметно для себя привыкли ко всяким, не знаемым прежде, словечкам из воинского обихода и умели при случае щегольнуть ими.

Темнело очень быстро, и вместе с надвигающейся темнотой надвигались на нас и неясные страхи. Наши кони почти вслепую, наугад продирались в лесной чащобе, с треском ломали кустарник, и треск этот, казалось нам, слышен был на много верст окрест. А ну как, думалось, не мы обнаружим шпионов или диверсантов, а они нас? Что-то будет тогда? У них, поди, и вооружение получше, и по одному они не ходят — группами.

Вдруг уже крадутся за нами, чтобы напасть со спины? А может, на мушке держат?

Не сговариваясь, по молчаливому соглашению торопливо пересекли мы лес и галопом выехали в хлебное поле, нащупали дорогу: звезды высвечивали прикатанный, прибитый большак.

Тихо, спокойно все. Где-то очень далеко, за Гжатском,— аж у Вязьмы, думать надо,— высверкивают в небе торопливые молниевые росчерки, погрохатывают раскаты грома.

«Пушки тяжелые бьют»,— догадались мы.

За хлебным полем начиналось другое — картофельное. И тут-то вот почувствовали мы оба, что отчаянно проголодались, и, наверно, поэтому нас осенило: если диверсанты не разжигают костра — разведем его мы. Смотришь, они и препожалуют прямо на огонек, тут мы их, голубчиков, и сцапаем.

Спешились, стреножили коней, картошки накопали, из

старого омета надергали соломы, и заполыхал наш костер.

Печеная картошка оказалась очень вкусной. За день — весь день проработали на току — мы здорово приустали и потому, насытясь, избавясь от голода, прижались друг к другу, плечом к плечу, и незаметно уснули.

Пробудились одновременно, как от толчка, и... оторопели. Перед нами стояли четверо: трое в штатском — в телогрейках, в пальто, у одного за плечами русская трехлинейка, а четвертый — в шинели, и к солдатскому его ремню прицеплена граната. Физиономии у всех заросшие, немытые, видать, давно, и все с пристальным интересом рассматривают нас.

Костер наш давно потух, но и без того было светло: вон и солнце взошло, карабкается наверх.

Впрочем, нам с Володей было не до солнца.

«Прощай, мама родная! — пронеслось в голове.— Они. Бандюги! Сейчас пристукнут...»

Хотел подняться на ноги — ноги не подчинились. Плечом почувствовал, какая крупная дрожь бьет Володьку. И ружей наших не видно. Куда к черту они подевались?

— Хлопчики,— вежливо поинтересовался бородач в шинели и с гранатой на поясе,— вы здешние?

— Угу,— невнятно выдавил я.

— В какой стороне Гжатск будет? Заплутали мы...

И Володя и я, как по команде, вытянули руки, показывая направление.

— Ага. Так я и думал.

Бородач в шинели носком разбитого ботинка ковырнул пепелище — серые останки от нашего костра. Из золы выкатилась обугленная картофелина. Он наклонился, поднял ее, разломил и с сожалением отбросил в стороны обе половинки.

— Как вы сюда попали, хлопчики? Что вы делаете тут?

— О-охотимся,— трудно ворочая языком, ответил Володя.

Бородач улыбнулся печально:

— На нас охотиться не надо. Мы свои, ополченцы мы. Точнее, все, что осталось от славной ополченской дивизии.

— Хватит тебе,— угрюмо перебил его товарищ с винтовкой за спиной. Только тут я разглядел, что он в очках.

Мы встали с земли: наши ружья — я уже не надеялся их увидеть — лежали у нас за спинами.

— Прощайте, ребята.

Через неубранную рожь пошли они в ту сторону, где лежала дорога на Гжатск.

— Может, и мой отец где-нибудь сейчас скитается,— мрачно сказал Володя, глядя им вслед.

Рожь, придавленная сапогами и ботинками, не хотела распрямляться: новая дорожка обозначилась в поле.

Пристыженные и злые, молча растреножили мы коней и поехали к дому. До самой околицы не обменялись ни единым словом, а солнце между тем поднималось все выше и выше.

Юра встретил нас за околицей. Он был озабочен чем-то, расстроен явно. «Наверное, волновался, что нас так долго нет»,— подумал я.

— Валя,— крикнул он, подбегая,— я тебе что-то сказать хочу!

— Военная тайна? — засмеялся я.— Говори вслух.

Брат не улыбнулся.

Я придержал коня, Володя проехал вперед.

— Давай-ка руки, Юрка, лезь сюда.

Он довольно ловко вскарабкался на круп коня. Над самым ухом моим проговорил:

— Валь, дядю Ваню убили на войне.

— Какого дядю Ваню? — не понял я.

— Белова. Ихнего вон...— Он показал на Володю.

Да ты что!..

То ли слишком громким был Юркин шепот и Володя услышал нас, то ли сердце подсказало что-то товарищу, но он вдруг рванул коня в галоп.

Когда мы с Юрой, перемахнув через ограду на чьем-то огороде, подскакали к дому Беловых, там стояла плотная толпа молчаливых женщин. Я соскочил с коня, пробился вперед. Мама держала на руках впавшую в беспамятство тетю Нюшу, а Нинка Белова брызгала ей в лицо из кружки. Навзрыд плакал Витька — самый младший из братьев.

Бледный как полотно подошел ко мне Володя и протянул листок тонкой папиросной бумаги. Руки у него дрожали.

И у меня, когда я взял листок, запрыгали в глазах отпечатанные на машинке буквы. «Иван Данилович Белов... пал смертью храбрых... при защите социалистического Отечества...» — с трудом разобрал я.

Ивана Даниловича, дяди Вани Белова, отца моих товарищей, нашего доброго, приветливого всегда соседа, не стало. Может, ошибка, нелепость какая?

...Это была первая траурная весточка, нашедшая дорогу в наше село.

Весь этот день и многие последующие Юра не отходил от отца. За обеденным столом садился непременно рядом с ним, а когда отец, еще очень слабый после болезни, опираясь на трость, шел на ток или в правление, Юра непременно цеплялся за его

свободную руку. Словно боялся потерять отца.

* * *

Горе в одиночку не ходит.

Все чаще в той или иной избе плакали навзрыд женщины.

Погиб Григорий, двоюродный брат Ивана Даниловича.

Сразу две похоронки пришли в дом Аплетовых: не стало Ильи и Александра.

Пал смертью храбрых наш беспокойный пред-колхоза Иван Иванович Кулешов...

И многие, многие другие.

Оперативная комсомольская группа выезжала в патруль почти ежедневно. Растерянность и страх, охватившие в первую ночь,— в откровенном разговоре выяснилось, что не только мы с Володей праздновали тогда труса,— уступили место привычке и ненависти к неуловимому, коварному врагу. Гибли в сражениях отцы — ребята мужали.

Увы, изловить шпиона или диверсанта не так-то просто. Слышно было, что районной милиции такие операции иногда удаются. Но на то она и милиция: там и люди повзрослей, и сноровки у них, привычки к этому делу побольше. На нашу же долю, как ни старались и как ни желали мы этого, ни один паршивенький диверсант не достался.

ГЛАВА 7
Лётчики

Белая рубаха тщательно выутюжена, висит на спинке стула.

В носках надраенных до блеска ботинок отражается потолок. Ботинки куплены в Гжатске еще до войны и ни разу не надеваны.

Пузатый портфель — с вечера уложены в него букварь, тетради в косую линейку и пенал с карандашом — тоже на стуле.

Наш Юрка идет в первый класс. Событие!

Больше всех взбудоражен предстоящим событием виновник торжества. Он и прежде-то имел, обыкновение подниматься чуть свет, вместе с родителями, а нынешнюю ночь, по-моему, совсем глаз не сомкнул. Уже на ногах, уже разгуливает по комнате в одних трусах, что-то бормочет под нос. И ведь поди ж ты, каким серьезным стал человеком: не крадется к Зое с кружкой воды, не лезет ко мне, к Борису.

Чуть приоткрыв веки, искоса наблюдаю за ним.

Постоял у окна, на стекло подышал, вычертил пальцем какие-то вензеля. Потом к зеркалу подошел— оно в простенке висит, а на стекле, нарисованные вкривь и вкось, видны мне теперь инициалы: «Ю. Г.», причем «Ю» умудрился поставить вверх тормашками, вот так: «О-І».

У зеркала стоит долго, засмотрелся на себя. Мне с койки отлично видно его отражение: смешной большелобый мальчонка с оттопыренными ушами, со стриженной наголо, «под Котовского», головой — вчера отец руку приложил к отросшим за лето патлам.

Наверно, он заметил, что я наблюдаю за ним,— отражение в зеркале состроило рожицу, показало розовый язык.

— Ты чего вытягиваешься? — повернулся он ко мне.— Вставай, а то в школу опоздаем.

Ишь, на равных заговорил наш школьник.

— Встаю, Юра, встаю.

Мне-то как раз можно и не спешить, для меня курс наук закончен — возможно, надолго, а то и на всегда. Когда идет война, тут не до учебы — есть дела поважнее. Но я молчу, молчу об этом. И потому, что не хочу огорчать брата, и потому, что вот такое нежданное и вынужденное расставание со школой все-таки грустно, что там ни говори...

Но за Юру порадоваться можно. Учиться ему, думать надо, будет легко: читает он бойко, и пишет сносно, и счет знает.

Только придется ли ему учиться?

В это утро никто из нас и словом не обмолвился о воине, о той, что уже не за дальними горами гремела. Не хотели омрачать Юре праздник. Но мысли, мысли-то наплывали — от них куда же денешься? Невеселые мысли, безрадостные. На сколько месяцев, а то и лет, она, война, затянется? До каких же это пор будет и будет отходить на восток наша Красная Армия? Где, на какой версте какого русского поля удастся наконец остановить гитлеровскую саранчу?..

После завтрака брат облачился в новые штаны и рубаху, натянул ботинки.

— Не жмут?

— В самый раз.

— Ну-ка, повернись, сынок,— совсем как гоголевский Тарас Бульба, приказал ему отец. Придирчиво оглядел парня с ног до головы, снял с плеча невидимую пылинку, легонько подтолкнул к дверям: — Что ж, ступай учись.

— Погоди, Юрушка,— остановила мама.— Дай-ка я тебя расцелую на все хорошее.

Юра нахмурился и подставил щеку: с некоторых пор он терпеть не мог «девчачьих нежностей», но маме отказать не смел.

— А это с собой возьми,— протянула ему мама два краснобоких яблока.

— Пошли скорей,— позвал Юра сестру: Зоя неспешно укладывала книги в свой старый портфель.— Пошли, опоздаем ведь.

Бориска подбежал к нему, ухватил за руку:

— Дай портфель понесу.

— Куда, мелюзга? — Юра сделал страшные глаза, выставил вперед два пальца:— Сейчас забодаю.

— Ма, он дразнится,— привычно заныл Борис.

Юра — где ж тут сдержать радость: так давно ждал он этого дня! — улыбнулся широко:

— Ладно, давай помиримся. Пойдем уж, до школы меня проводишь.

Мы долго смотрели им вслед из окон: Зоя шла чуть впереди, Юра и Борис, приотстав, держались за один портфель и грызли яблоки.

А вон и другие показались на дороге первоклашки.

— Хоть бы одного отец в школу провожал,— вздохнула мама. — Как раньше-то хорошо, светло в этот день бывало...

Никто из нас в то утро не заговаривал о войне. Но к полудню — как раз в школе заканчивались уроки у первоклашек — война сама напомнила о себе.

Он вывалился из кабины и сразу попал в илистую грязь болота. Увязая в ней унтами, сделал несколько шагов в одну сторону, в другую — везде непроходимая топь, подернутая сверху зеленой ряской.

— Дядя,— услышал он детские голоса,— сюда иди, тут по кочкам допрыгаешь.

Он увидел ребятишек: мальчишки и девчонки стояли шагах в десяти от него, совсем рядом стояли — руку протянуть. Пригляделся к болоту, точно: поросшие ядовито-желтыми цветами, торчат в болоте кочки — крохотные спасительные острова в море все засасывающей тины.

Прыгнул на один островок и ахнул от боли. А островок закачался, поплыл было — едва не сорвался он, не плюхнулся в болото всем телом.

Все же кое-как, осторожничая, добрался до ребят, почувствовал надежную твердь земли под ногами и только тут заметил, что у мальчишек и девчонок, у этой мелкоты, подсказавшей ему дорогу на спасительную сушу, в руках портфели и сумки, а щеки и руки вымазаны чернилами.

— Странно,— сказал он, растерянно улыбаясь.— Значит, тут еще учатся...

Но все это было малость позже.

А перед тем над селом, над крышей нашего дома, едва не зацепив трубу, с ревом промчался краснозвездный истребитель. Стекла в оконных переплетах задребезжали, я выскочил на крыльцо.

Обезумевшие куры с кудахтаньем неслись под навес двора.

— Падает! — заорал я.

Истребитель падал в болото: за околицей, километрах в двух от нашего дома, лежало оно. Падал стремительно, резко, как с силой брошенный камень.

Все! Сейчас взорвется...

Я закрыл глаза, но взрыва не услышал: только сильный, глухой шлепок — будто бы мокрую глину в стенку швырнули.

— Чего стоишь? Беги туда. Может, летчик-то жив, помочь, может, надо,— услышал я за спиной голос отца. Наверно, он вышел на крыльцо следом за мной.

Отец, ясное дело, и сам бы не устоял на месте, но с его хромотой... Да и слаб он еще после больницы-то .

— Беги, кому говорю!

И я побежал.

Ватага школьников — впереди Юра и Володя Орловский — кубарем скатилась с бугра, успела к самолету прежде меня. Они и подсказали летчику, как удобнее выбраться на твердую землю.

В кожаном реглане, в летной шапке, он стоял перед ними, чуть покачиваясь на нетвердых ногах, слушал оглушительную тишину, растерянно улыбался и повторял:

— Странно. Значит, тут еще учатся...

— Вы ранены, дядя?

— А? Ранен? Ерунда, чушь... Ступню разбил при посадке. Заживет, как на собаке... Поди-ка сюда, малыш. Как зовут тебя?

— Юра. А это мой товарищ, Володя.

— Ну что ж, Юра, давай руку. А я Ларцев.

В это время над селом пролетел другой истребитель с красными звездами на крыльях, заметив нас, закружил, вычерчивая петли.

Летчик поднял Юру на руки, снял кепку с его головы, стал махать ею, показывая направление. Видимо, его поняли правильно: истребитель развернулся, пошел на посадку и приземлился довольно далеко от нас, километрах в полутора, зато на возвышенности — сухой, ровной, всегда пригреваемой солнцем.

Пилот второго самолета бежал к нам.

— Дружок,— повернулся ко мне Ларцев,— тебе по силе: раздобудь-ка где-нибудь пару досок покрепче...

Раздобыть доски было делом нехитрым: поблизости стоял заброшенный сарай, и я ничтоже сумняшеся отодрал несколько досок от его стены. Мы перебросили их к самолету — получились мостки. Только тут заметил я, как страшно — живого места не сыскать — изрешечены пулями хвост, фюзеляж, плоскости крыльев. Чудно еще, что на летчике ни единой царапины — разбитая нога не в счет. Подбежал второй пилот, обнял товарища.

— Сукин ты сын, жив, значит! — закричал он, радостно возбужденный.— А я думал: все, крышка, прошили тебя! Жив, бродяга!

Жестикулируя, перебивая друг друга, они вспоминали подробности недавнего воздушного боя. «Он к моему хвосту прицепился, тут ты ему и наподдал...» — «Нет, это что? Ерунда, чушь... Тому вон фрицу врезали — пополам развалился...»

Нам не все было понятно в их разговоре, но главное мы уяснили: дорого заплатили фашисты за наш искалеченный, разбитый истребитель — трех самолетов стоил он немцам.

— Пора за дело,— вдруг спохватился Ларцев, показывая на свой истребитель.

Болото засасывало машину: только крылья, широко разметавшись, поддерживали самолет.

По просьбе летчиков ребята наперегонки слетали в деревню, принесли несколько пустых ведер. Впрочем, Юрино ведро

оказалось не пустым: там стояла кринка с холодным молоком, лежала краюха хлеба.

— Душа парень,— похвалил его Ларцев и достал из сумки плитку шоколада.— На-ка вот, поделись с товарищами. За хлеб и молоко спасибо — съедим, а мясо домой отнеси — самим пригодится.

Юра вертел в руках шоколад, не зная, как приступиться к нему, потом решился: сорвал с плитки ярко расцвеченную обертку, разломал на кусочки. Ребята воробьями налетели на него.

— Что, Юрка, обделился? — засмеялся летчик, видя, какое огорчение и недоумение написаны у братишки на лице. Снова копнулся в сумке, достал другую плитку.— Придется НЗ разорить. Только теперь на целую не рассчитывай. Надо и себе оставить на всякий пожарный. Ешь в темпе — и за работу!

Мы с жаром — погонять нас не надо было — принялись помогать летчикам. Ларцев сливал в ведра бензин из баков, а мы носили его к исправному самолету. Боеприпасы — их, правда, оказалось совсем немного: все расстреляли в бою,— перенесли туда же.

Летчики, видать, запарились в своем кожаном одеянии, сняли куртки, и мальчишки восторженно ахнули: на гимнастерке у каждого сверкали ордена. Признаться, не только Юра или там Володя Орловский — и сам я впервые увидел не на картинке, а въяве такие боевые награды.

— А это что?

— А это какой? — посыпались вопросы.

— Красного Знамени. За финскую.

— Звездочка... То есть орден Красной Звезды. За Испанию.

Они, еще не остывшие от жаркой схватки в небе, и так выглядели в наших глазах самыми храбрыми и самыми красивыми людьми на свете, а тут мы и вовсе влюбились в них.

Юра ни на шаг не отходил от Ларцева: где-то раздобыл ему тонкую, но крепкую палочку, попросил разрешения подержать в руках планшетку, ловил каждое сказанное им слово.

— Ну-ка, Юрка,— сказал тот,— давай я тебе самолет покажу поближе. Хочешь в кабину?

Брат побледнел от волнения, растерялся.

— Ага,— только и вымолвил.

Летчик легко поднял его с земли, усадил в кресло пилота, начал показывать на непонятные приборы, объяснять их назначение:

— Скорость... Ручка управления... Высота... А это уровень масла показывает. Нет в машине масла, вытекло все... Эк, какой

ты быстрый! Трогать ничего не надо, а то улетишь невзначай. Лови тогда.

— Я только посмотрю,— шептал Юра.

Близко к полуночи простились мы с летчиками. Каждый из мальчишек звал пилотов ночевать к себе, но они решили остаться у самолетов.

...Утром мы выскочили на улицу. Чадным костром горел на болоте один истребитель. Второго — того, что на взгорье стоял, не было видно.

— Улетели соколы,— сказал отец.— Одну машину запалили, а на другой вдвоем улетели.

Юрка обрадовался:

— Вот молодцы! Опять будут фашистов бить...

* * *

Вскоре после своего полета в космос Юра получил письмо из города Горького. Автором письма оказался бывший военный летчик Ларцев. Он писал, что хорошо помнит сентябрьский день сорок первого года, когда сделал вынужденную посадку близ села Клушина, мальчишек клушинских помнит, Юру.

Он же сообщил, что второй летчик, его товарищ, погиб в воздушных схватках с фашистами.

«Мне верилось,— так писал Ларцев,— верилось, что из мальчика по имени Юра вырастет летчик, но о космосе мы, нилоты тех лет, в сороковые годы только мечтать могли».

А я вот сейчас думаю, что среди тех людей, кто помогал Юрию ступеньку за ступенькой одолевать крутую дорогу в космос, кто помогал родиться и окрепнуть его мечте,— одно из первых мест по праву принадлежит двум летчикам-героям, двум товарищам, посадившим свои самолеты у нашего села тогда, в сорок первом году.

Мне не забыть, с какими жадными и восторженными глазами сидел Юра — первоклашка, перемазанный чернилами,— в кабине грозного «яка».

ГЛАВА 8
Нашествие

Межвременье

Непогодь, нудные затяжные дожди и неуверенность в дальнейшей жизни принес с собой октябрь.

Всякая связь с внешним миром перестала существовать. Кто-то обрезал телефонный провод с Гжатском, молчали наши настенные репродукторы, перестала приходить почта.

В сельсовете, куда я невзначай забрел однажды, было пусто и сиротливо, пахло жженой бумагой. Забыто торчал на тумбочке ламповый приемник. Механически включил его — и тотчас, в шорохе и треске, прорезались звуки чужого языка, бравурные воинственные марши. Ясно — немцы. Радуются своим успехам.

Радоваться им, конечно, можно. На улицах Бреста, Минска, Гродно, Львова, Орши, Смоленска, на улицах десятков других городов и сотен деревень звучит немецкая речь. Это мы знали из старых сводок Совинформбюро. Знали и другое: на отдельных направлениях фашистские части прорвались вперед так далеко, что и Гжатск и Клушино остались как бы за спиной у них.

Радуются, гады! Долго ли им еще радоваться?..

Поздним вечером — темень была, хоть глаза выколи,— промокший и продрогший, возвращался я из лесу и думал о том, что никому теперь не нужна наша охота на диверсантов и шпионов, что если вдруг и посчастливится поймать какого-нибудь фашистского прихвостня, ну что я с ним делать стану? В Гжатск его не повезешь — дорога опасная, в Клушине решать его судьбу некому... Да и ребята устали, все неохотней выезжают в патруль: бесполезное, мол, дело делаем, и поубавилось их, ребят,— кое-кто покинул село, ушел на восток вслед за отступающими красноармейскими частями, кое-кого, не вышедшего возрастом для службы в армии, сочли нужным призвать для работы на предприятиях промышленности.

Грязная дорога хлюпала под копытами жеребца, я доверился его чутью, ослабил поводья — умный конь никогда не заблудится, сыщет дорогу к Дому.

— Стой!

Команда прозвучала внезапно и грозно, жеребец всхрапнул, дернулся в сторону, но кто-то невидимый резко ухватил его за повод. Острый луч фонарика ударил мне в лицо, ослепил.

— Убери фонарь,— попросил я.

— Митяй, пригаси свет,— послышался голос, показавшийся мне знакомым.— Сдается, вроде свой парень, знавал я его когда-то. Слазь с коня, хлопче, потолковать надо.

Я подчинился, слез.

Тот же знакомый и полузабытый уже голос продолжал в темноте:

— Не узнаешь? Каневский я, Виктор Качевский, ай позабыл? А ты ведь Валька Гагарин, Алексея Ивановича сынок?

— Он самый,— подтвердил я, успокаиваясь и теперь уже наверняка узнавая в темноте Качевского, своего односельчанина. В самом начале войны он был призван в армию, а до того работал шофером. Дом его матери стоял на усадьбе тети Нюши Беловой.

Рядом с Каневским — по громкому дыханию, кашлю, по темным силуэтам можно было определить — стояло еще несколько человек.

— Ты не бойся,— успокоил меня земляк.— Тут все свои ребята. А остановили мы тебя вот зачем: немцы в селе есть?

— Пока нет. Наши сегодня проходили, из отступающих. А ты как сюда попал?

— Так вот и попал. Как отступающий... Нынче это словечко в моду вошло.

И злость, и желчную насмешку, и страдание услышал я в голосе Качевского. В нескольких словах он объяснил, что их часть выходила из окружения мелкими группами, что он, Каневский, и его товарищи — семь человек, все сибиряки и уральцы, пытались перейти линию фронта, прорваться к Москве, но всякий раз натыкались на немецкие заслоны, отходили с боем и так оказались поблизости от Клушина.

— В Гжатске тоже немцы... А о партизанах тут что-нибудь слышно? — спросили бойцы.

Я удивился:

— О каких партизанах? Какие тут партизаны, когда сами говорите, что фронт кругом, даже через лес проходит. Нет их у нас, и не слышно ничего.

— Нет — так будут,— сказал кто-то басом.— Однако веди нас в село, Качевский. И жрать охота, и высушиться не мешает. Завалимся сейчас как к теще на блины...

Расстался я с бойцами у околицы. У каждого из них за спиной была винтовка.

А дома переполох. Отец, завидев меня на пороге, обрушился с бранью:

— Где тебя черти носят? В дорогу собираемся, а он, видите ли, гуляет.

— В какую дорогу?

Тут, приглядевшись, заметил я фанерный чемодан, перекрученный бельевой веревкой, множество узлов и узелков, увидел, что все и впрямь одеты по дорожному, с запасом.

Я опустился на скамью и, не знаю почему, вдруг рассмеялся. Нервы, что ли, не выдержали, но остановиться я никак не мог. Юра, Борис и Зоя сидели на голой койке, недоуменно таращили на меня глаза.

— Поздно,— сказал я, с трудом давя неуместный смех.— Уже поздно, батя.

Отец раскипятился:

— Болтай пустое! Сейчас запряжем жеребца, на котором ты дуриком по полям шастаешь, и часа через два будем в Гжатске. Оттуда на Можайск подадимся, а от Можайска до Москвы рукой подать. Смотришь, доберемся потихонечку до Мордовии той самой, Павла Ивановича разыщем. Адресок его имеется у меня.

— В Гжатске немцы. И везде немцы.

Я рассказал о встрече с Качевским и его товарищами. Они, взрослые вооруженные люди, силенок каждому не занимать, налегке шли и то не могли перейти линию фронта. А у нас дети, вещи...

Отец потерянно сел на табурет, задумался.

В это время, сотрясая стекла в рамах, один за другим прогремели шесть взрывов. По Клушину била тяжелая артиллерия: то ли противник пристреливался, то ли свои обознались — кто тут разберет...

Наверно, все мы побледнели. И на улицу выскочить страшно — рядом, на огороде, упали снаряды, и дома оставаться не по себе: влепят в избу — поминай как звали. Братская сразу будет могила, или, точнее сказать, семейная.

— Зачем они стреляют по нас? Они же убьют нас! — выкрикнул Юра.

Отец поднялся с табурета, снял с себя телогрейку, принялся стаскивать сапоги.

— Мать, потроши узлы, стели постели,— приказал он.— Выспаться надо. Утро вечера мудренее.

Не знаю, как другие, но я в эту ночь не закрыл глаза и на минуту.

Немцы!

Не удалось нам бегство из Клушина.

Утром Зоя и Юра, делать нечего, привычно отправились в школу. Директор — им был Петр Алексеевич Филиппов, муж нашей учительницы Ксении Герасимовны,— встретил школьников

в дверях.

— Занятия, ребята, сегодня не состоятся,— печально сказал он.— И когда начнутся снова, сказать определенно не могу. Ступайте по домам.

Все ребята вышли на улицу. У магазина, громко судача о том о сем, стояли женщины: поджидали, когда препожалует на работу завмаг Егоров. Особой аккуратностью заведующий магазином не отличался, но в селе к этому привыкли, не жаловались.

Утро было хмурым, сереньким, взглянешь в небо и поймешь: в дождях перебоя не будет.

Немцы появились неожиданно со стороны Пречистого. Десятка полтора их было, немецких солдат в зеленых мундирах. Они спокойно ехали на мотоциклах с колясками и пулеметами, и фонтанчики жидкой грязи из-под колес высоко взметывались над их головами.

Завидев солдат в незнакомой форме, женщины от магазина бросились врассыпную, ребята же побежали прятаться в школу. Тотчас над их головами просквозила пулеметная очередь, вслед донеслось властное:

— Цурюк! Назад!

Подчиняясь команде, женщины вернулись к магазину, сбились у его дверей, стараясь спрятаться друг за дружку. Но спрятаться было некуда — за их спинами уже толкались перепуганные школьники.

Из коляски одного мотоцикла выпрыгнул на землю немец в фуражке с невиданно высокой тульей и витыми погонами на мундире — вероятно, офицер; узкоплечий и узкозадый, он прошелся, разминая затекшие ноги.

— Вишь гусь какой, прямо аршин проглотил,— вполголоса осудил кто-то в толпе.

Офицер повернулся к солдатам, отдал команду. Тотчас зашевелилось дуло пулемета на его мотоцикле, нацелилось в толпу, откатывая ее и пригвождая к стенке. Другие машины, фыркнув моторами, развернулись полукружьем, взяли под прицелы пулеметов близлежащие улицы и строения, памятник комиссару Сушкину, школу, клуб, сельсовет.

Офицер сделал несколько шагов вперед, остановился перед женщинами, долго и небрежно рассматривал каждую из них. Толпа затаила дыхание — ждала: что-то будет?

— Где есть красный армеец? — спросил он, старательно выговаривая каждое русское слово.

Никто и рта не раскрыл в ответ — перепуганные женщины молчали.

— Я спрашиваю: есть в селе русский солдат? — повторил

офицер нетерпеливо.

Тут произошло нечто странное: растолкав толпу, пробилась вперед миловидная и неплохо одетая бабенка. В руках она держала квохчущую курицу. Подойдя к офицеру вплотную, поклонилась ему в пояс, протянула на прямых руках хохлатку, ломая голос, объяснила:

— Красный боец бежал. Совсем бежал. Будь добр, господин офицер, не погнушайся русским обычаем — прими курочку в подарок.

Офицер с недоумением посмотрел на нахальную бабенку, повернулся к ней спиной, что-то сказал солдатам. Несколько человек остались у пулеметов, остальные повыпрыгнули из колясок, бросились к дверям сельсовета, школы, церкви, расталкивая женщин, устремились к магазину. Посыпались под ударами прикладов стекла.

— Ступайте по домам,— разрешил офицер женщинам. Повторять команду ему не пришлось — в мгновение ока площадь опустела. На дороге осталась только одна бабенка: стояла в нелепой позе, держа в вытянутых руках сникшую от бесплодных усилий вырваться хохлатку; стояла и не знала, видимо, как ей поступить — бежать ли вслед за другими, ждать ли...

Офицер подошел к ней, показал на курицу:

— Брось!

Выпущенная на свободу хохлатка радостно закудахтала, опрометью кинулась в канаву, под защиту мокрых лопухов. Выстрел с мотоцикла пересек ей дорогу — несчастная птица перекувыркнулась через голову, забила крылом.

Офицер улыбнулся женщине, двумя пальцами коснулся ее подбородка.

— Как тебя зовут?

Весть о том, что немцы наверху, у сельсовета, молнией добежала до нашего конца улицы. Мать и отец встревожились: где там Зоя с Юрой?

— Сходил бы, Валентин, посмотрел осторожненько. Да на глаза немцам не очень-то лезь,— сказал отец.

Мама было набросила платок на голову: сама, мол, разузнаю что к чему, но отец не разрешил:

— Сиди дома. Вальке что — он парень верткий.

Сестру и брата я встретил на полпути от дома.

— Уехали назад немцы,— с ходу сообщил Юра.— Кур постреляли и уехали.

— И магазин ограбили,— добавила Зоя.— Что могли — взяли, в колясках увезли. Теперь там наши добирают.

— Какие наши?

— Какие-какие! Свои, деревенские. Кто что успел, то и схватил...

Это показалось мне невероятным: чтобы наши колхозники да подняли руку на свой магазин?!

— Ты, Зойка, беги домой, а то там волнуются,— сказал я сестре,— а мы с Юрой пойдем посмотрим.

Сельмаг озирал улицу пустыми глазницами окон, двери его были распахнуты настежь. Робея, перешагнул я через порог. Пискнуло под ногами раздавленное стекло, а дальше ступить я не решился— пол был засыпан мукой и солью, истоптан множеством сапог.

У дверного косяка, прямо над моей головой, висел на гвозде новехонький хомут. Не знаю, зачем, но я снял его, надвинул на согнутую в локте руку, позвал брата:

— Пойдем, домой.

— Брось, Валь, хомут, все равно у нас лошади нет.

Я покачал головой:

— Пригодится. Шагай быстрей.

Юрка, упрямец, рядом не пошел — отстал на несколько шагов: стыдился идти рядом. Да и мне, признаться, было не по себе: на виду у всего села несу хомут, не то чтобы ворованный, а все же... деньги-то за него я не платил. Но какая-то недобрая сила — другие брали, а я что, хуже? — толкала меня вперед, заставляла ускорить шаги.

— Отоварился? — услыхал я вдруг знакомый голос и, обернувшись на него, увидел Андрея Калугина, сторожа со свинофермы.

— Небогатый куш,— посочувствовал он, приближаясь. От него здорово попахивало вином.— Раньше надо было поспевать. Тут самые шустрые мешками тащили...

Жаркая кровь прихлынула к моим щекам: я затоптался на месте, готовый провалиться сквозь землю вместе с этим проклятым хомутом. Юра бочком, не глядя на меня, проскочил мимо и бегом припустился по дороге.

— Немцы пришли и ушли, может — даст бог! — вообще стороной пройдут, оставят нас в покое,— рассуждал Калугин, привычно свертывая огромную самокрутку.— А уж кое-кто подумал, мол, все, полный капут Советской власти вышел. Подолом, что собачьим хвостом, закрутил, задницу германцу лизать готов, как, к примеру, Саня...— Он назвал фамилию.

— А что Саня? — не понял я.

— С подарком к его вшивому благородию — чтоб его черт забодал! — высунулась, куру неощипанную поднесла. Да он,

вишь, забрезговал... А потом она поллавки домой и стащила...

Снова ощутил я на своей руке непомерную тяжесть хомута.

— Ладно, дядь Андрей, хватит тебе. Лучше я его опять в магазин отнесу.

Калугин ухмыльнулся, скривил губы:

— Чего уж там, волоки домой. Возвернется наша власть — тогда и принесешь обратно. Волоки и помни: люди — они ведь все видят, за всем примечают. А немцы, так я кумекаю, стороной прокатятся. Чего им у нас, в самом деле... Ступай, парень.

Он погрозил мне кривым, изъеденным махоркой пальцем и, чуть покачиваясь, побрел вдоль по улице.

«Когда придут наши — отнесу хомут в магазин. Я ж его и взял нарочно, чтобы какому-нибудь прощелыге не достался»,— утешал я себя, пытаясь уверовать в подсказанную стариком спасительную мысль. А на душе все равно было препаршиво.

* * *

Надежды Андрея Калугина не оправдались: не обошли нас немцы стороной. Через несколько часов после наезда мотоциклистов Клушино заняла крупная воинская часть.

Памятуя о просьбе Павла Ивановича, жил я в его доме, но теперь уже не один: немцы-квартирмейстеры подселили ко мне какого-то генерала со всей его немалочисленной свитой.

Только «подселили» — не то слово. Не я был хозяином в оставленном на моей совести доме...

Рус Иван!

1

Мне запретили выходить из дому. Даже во двор, даже по нужде мог отлучиться я только с разрешения толсторожего фельдфебеля — он ведал у генерала хозяйством.

До отчаянности унизительное положение, в котором я вдруг оказался, усугублялось тем, что я ровным счетом ничего не знал о своих: о родителях, о братьях, о сестре. Как-то они там перемогаются, живы ли вообще? За калитку меня не выпускали, кормили объедками с солдатской кухни, а в избу, занятую генералом, сельчанам доступ был закрыт: мне и словом перемолвиться не с кем, родным передать, чтобы не волновались.

Как-то ранним утром подошел я к окошку в сенях, попытался

рассмотреть, что делается на улице. А улица, как на грех, обезлюдела: редко-редко баба промелькнет с ведрами на коромысле или стремглав, из одной избы в другую, метнется мальчуган.

Только сизые дымки над крышами — вот и вся картина.

И вдруг я увидел Юру. Это было так внезапно, так неожиданно, что я не поверил поначалу, думал, пригрезилось.

И все же я не ошибся.

Юра был совсем близко, может, в двух десятках шагов от калитки, у которой с автоматом на выпуклой груди топтался рослый часовой. Брат сидел на лужайке, на бровке неширокой канавы, сидел, опустив в нее ноги, и исподлобья поглядывал на наш дом.

«Пришел узнать, как я тут,— понял я.— Может, не в первый раз пришел».

Как бы исхитриться, подать ему знак? Выйти на улицу невозможно — часовой тут же прогонит обратно.

Горница занята генералом. Значит, путь к окнам, что смотрят на лужайку, тоже отрезан.

А, была не была! Вот выйду сейчас в сад, открою калитку. Пусть поорет часовой — не застрелит же. Зато братишка увидит меня, увидит, что я жив-здоров, скажет об этом дома. А может, и мне что-нибудь крикнуть успеет.

Я шагнул к дверям, но тут меня окликнули из кухни:

— Иван! Ком, иван!

Толсторожий зовет. Для него я, как и все русские без разбору, безымянный иван, иван с маленькой буквы.

Фельдфебель стоял посреди кухни, заложив пальцы рук за пояс. У печи возился повар в белом колпаке, тщетно старался разжечь ее.

— Чего тебе?

Фельдфебель мотнул головой в сторону двора:

— Курка давай! Фюнф курка! Жи-ва!

У Павла Ивановича оставались куры — штук тридцать или сорок было их, кажется. Каждый день на стол генералу и его окружению шло не меньше пятка.

Я вышел во двор, огляделся — вокруг никого. Снял курицу с нашеста, держу ее в левой руке, а правой тихохонько выдавливаю стеклянный глазок, вмазанный в стену.

Лишь бы Юрка заметил, угадал мой сигнал. Кусочек стекла выпал беззвучно.

Я просунул в отверстие курицу, с силой вытолкнул ее. Громко кудахтая, хохлатка на крыльях спланировала до калитки, перепорхнула через нее и ударилась о землю у ног часового. Тот

равнодушно посмотрел на нее, сплюнул и, поправив автомат, начал отмерять шаги вдоль ограды. Краем глаза я видел его спину.

Ошалелая, полусонная еще курица бежала по пыльной дороге.

Лишь бы Юра сообразил, что не случайно вырвалась она со двора!

Я снял с нашеста вторую курицу — на всякий случай, для маскировки, зажал ее под мышкой и снова припал к отверстию в стене.

Ай какой молодец Юрка, понял-таки!

Он шел вдоль ограды, навстречу невидимому мне теперь часовому, держась от него на приличном расстоянии.

— Юра,— позвал я, когда он поравнялся с сарайчиком,— слышишь, Юра?

Брат остановился, повернулся в мою сторону — на голос, лицо у него растерянное и радостное.

— Ты где?

— В курятнике. Ты не стой на одном месте, Юрка, ты прохаживайся и рассказывай, как там у вас.

— Иван!

Я вздрогнул, обернулся. Толсторожий фельдфебель стоял за спиной в своей излюбленной позе: пальцы рук заложены за пояс, на бледных припухших губах ухмылка. Тихой сапой подкрался, сволочь фашистская! И я хорош — про всякую осторожность забыл.

Фельдфебель молча отобрал у меня курицу, размахнулся и ударил меня ею по лицу. Раз, другой, третий...

— Валя, где ты? Валя, пойдем домой! — надрывался за стеной брат.

Снова удар по лицу.

— За что? — вырвалось у меня.

— Молчайт!

И опять, опять...

— Давай курку! — отдуваясь, приказал наконец фельдфебель и показал на пальцах: мол, еще четырех.

Пеструшки и хохлатки уже снялись с нашеста, разбрелись по двору. Я пошел ловить их: проклятый курощуп не простит промедления.

И все же, когда он убрался со двора, я подбежал к отверстию в стене. Юра был уже далеко — понурясь, шел по дороге, маленький и очень озабоченный мужичок.

Несколько раз он оглянулся, но теперь хоть криком кричи я, все равно не услышит.

2

Дня, кажется, через два после этой истории толсторожий фельдфебель с утра уехал на склад за продуктами. Генерал накануне не ночевал дома, не появился он и к обеду, и к ужину. Прислуга, оставшись без присмотра, решила, что называется, кутнуть.

— Иван! — позвал меня один из солдат и, безбожно путая русские слова с немецкими, принялся что-то объяснять. Из всех этих немыслимых соединений «тринкен руссиш шнапс» и «давай-давай скоро» я не без труда уловил, что немцам желательно разжиться самогоном и что заплатить за него они готовы марками.

— Идет,— согласился я, соображая, что могу извлечь для себя кое-какую выгоду из этой их затеи: выпустят за калитку, а там дорога широкая...

Увы, немцы оказались хитрее, чем я думал. Тот же самый солдат, что объяснял мне задачу, повесил винтовку на плечо и показал на дверь: пошли.

Делать нечего, вдвоем так вдвоем. Хоть воздуха свежего глотну, а то совсем закис на их псарне...

Я повел немца по селу с таким расчетом, чтобы пройти мимо родительского дома.

Немец шел позади меня, приотстав шага на два. «Конвоир,— невесело усмехался я.— Еще бы винтовку наперевес взял! И ведет-то он меня — не я его...»

Вот и наша изба.

Первым, кого я увидел, был отец. Приволакивая больную ногу, он с лопатой вышел на крыльцо, вслед за ним появились мама и Зоя, тоже с лопатами в руках.

Я забеспокоился, примедлил шаги: что-то такое случилось. Вид у отца насупленный, да и мама с сестренкой не веселей.

Все трое прошли за дом. А тут Юра вывернулся из-за угла, в каждой руке по кирпичу несет. Деловитый такой, и меня вовсе не замечает.

Я пошел совсем тихо.

— Шнеллер! — напомнил о себе немец.— Шнеллер, иван!

Я повернулся к нему, почти закричал:

— Мой дом, понимаешь? Отец, мать, понимаешь?

Немец не хотел понимать, или надраться ему не терпелось!

— Шнеллер! — орал он, не слушая меня.

А мне и нужно лишь, чтобы он орал погромче. Вон Юра снова из-за угла вынырнул, в нашу сторону смотрит.

— Валька!

Руки у него опустились, кирпичи шлепнулись на землю.

— Пап, мам, солдат Валентина куда-то ведет!

И тотчас после его крика мама выбежала к крыльцу, за ней отец и Зоя появились. Четыре пары родных глаз смотрели на меня в напряженном ожидании, с тревогой и отчаянием смотрели.

— Не волнуйтесь, мы самогонку ищем! — крикнул я.— Вы чего копаете-то?

— Землянку, сынок. Выгнали нас... из дому. Сперва на чердаке ночевали, а теперь совсем гонят...

— Шнеллер! — вышел из себя немец и толкнул меня в спину.

Я поневоле ускорил шаги.

Последнее, что я услышал, было громко сказанное отцом:

— Ты там поосторожней, Валентин, зря на рожон не лезь...

И резкий, как удар хлыстом, вопль немца:

— Вег!

Это на Юру немец кричал, Юра хотел нагнать меня.

Назад мы возвращались другой дорогой и у самой калитки напоролись на фельдфебеля. Он отобрал у нас бутылки с самогоном, на глазах у оторопевшего часового разбил их об ограду и съездил по физиономии моему перетрусившему конвоиру.

«Так тебе и надо»,— подумал я со злорадством, вспоминая бесконечные «шнеллер!», которыми этот солдат вконец измучил меня по дороге.

Но фельдфебель и обо мне «позаботился».

Впрочем, за то, что узнал я во время этой вынужденной прогулки,— а узнал я главное: все мои родные живы и здоровы,— я не поскупился бы заплатить и более дорогой ценой.

3

Полмесяца живу, как в тюрьме. Раз и навсегда отведено мне место: печь. Там, на раскаленных докрасна днем и ночью кирпичах должен я находиться все то время, пока не ловлю кур, не рублю дрова, не ношу воду...

Руки, ноги, бока обожжены. Душно, муторно.

Ворочаюсь на рядне — оно не спасает от жара печи, вынашиваю планы мести толсторожему фельдфебелю. Может, двухведерный чугун кипятку опрокинуть на него по нечаянности?.. Его ошпарю, а меня — расстреляют. Нет, не пойдет. Или во дворе улучить момент, когда зазевается, стукнуть поленом по голове? Только куда я мертвое тело запрячу? Все равно найдут... «Не лезь на рожон, Валентин»,— советовал отец.

Но думать о мести — сладко, это единственное мое утешение.

В горнице, за неплотно закрытой дверью, патефон наигрывает какую-то гнусавую мелодию. Шумно от хмельных голосов, от хлопанья пробок. Генерал и свита празднуют очередную победу немецкого оружия. Фельдфебель, повар и два немчика из рядовых избегались, подавая на стол свежую закуску, бутылки с пестрыми наклейками.

В кухню заглянул офицер в черном мундире эсэсовца — здоровенный одноглазый детина: левый глаз прикрыт повязкой.

— Иван! Рус иван!

Я забился за трубу.

Эсэсовец не поленился приставить к печке табуретку, встать на нее. Нащупывая меня в темноте, взял за воротник.

— Ком! — И рывком сдернул на пол.— Пошель!

Он подтолкнул меня к выходу и, заглянув в горницу, что-то крикнул. Тотчас вывалилась оттуда толпа пьяных офицеров. Раскисшего генерала поддерживали под руки двое: переводчик и молоденький обер-лейтенант.

— Иди в сад,— сказал мне переводчик.— Сейчас развлекаться будем.

Ничего хорошего от прогулки в сад я не ожидал. Но того, что случилось дальше, не ожидал вовсе. Меня подвели к забору, заставили раскинуть руки, в каждую вложили по пустой бутылке. Эсэсовец отсчитал десять шагов, носком ботинка провел по земле, черту. У этой черты и столпились офицеры.

Смеркалось. Мурашки бегали по моему телу, и думать мне уже ни о чем не хотелось. Какое-то безволие охватило все мое существо.

Первым стрелял одноглазый эсэсовец. На мое счастье, стрелком он оказался превосходным: бутылки, одна за другой, разлетелись в моих руках, осколки царапнули по лицу, в кровь рассекли щеку.

Подбежал молоденький, с девичьим румянцем через всю щеку обер-лейтенант, вложил в руки мне новые бутылки. Пистолет подали генералу. Покачиваясь, нетвердой рукой начал поднимать он оружие.

Я закрыл глаза, навсегда прощаясь с белым светом.

Выстрел был один, во всяком случае, я услышал только один хлопок, но пуль оказалось две: одна впилась в доску забора чуть выше левого плеча, другая вдребезги расколотила бутылку.

Раздались аплодисменты, шумные восклицания. Я открыл глаза. Офицеры лезли наперебой поздравлять генерала, а он благосклонно одаривал их улыбками и рукопожатиями.

Переводчик стоял чуть в стороне, под яблоней, и с невозмутимым видом играл ремешком расстегнутой кобуры.

Кто-то вновь протянул генералу пистолет, но генерал вдруг пьяно икнул, повернулся, и нетвердые ноги понесли его в избу. Офицеры последовали за ним.

Ой, мама родная, в счастливой родился я рубашке.

С трудом забрался на печь. Крупная непрекращающаяся дрожь сотрясала мое тело, и холодно было на жаркой печи. Лучше бы уж сразу убили, звери, чем так издеваться.

А веселье в горнице продолжалось.

— Парень,— услышал я вдруг,— эй, парень!

На меня смотрел переводчик: в одной руке он держал стакан водки, в другой — ломоть хлеба, толсто намазанный маслом.

— Выпей — все пройдет. Успокоишься.

Зубы клацали о стакан. С усилием проглотив застрявший в горле ком, я выпил водку до дна и не заметил, не ощутил ее вкуса.

— Спускайся вниз, там тебя ждут,— сказал переводчик.

Он вывел меня на крыльцо, поддерживая под локоть, проводил до калитки, распахнул ее, что-то объяснил часовому. Тот, молчаливый, скучающий, с автоматом на груди, выслушал, равнодушно кивнул и показал на дорогу.

— Твой брат? Ждет тебя. Можешь поговорить с ним.

Там, на дороге, действительно стоял Юра и внимательно смотрел на меня.

— Ну, иди, иди, не бойся,— подбодрил переводчик.— Я тут постою, подышу свежим воздухом.

— Валь, чего они тут стреляли? — спросил братишка, когда я подошел к нему.

Не ответив, не отдавая себе отчета в том, что делаю, какие могут быть последствия, я пошел по дороге, вдоль улицы. Меня никто не окликнул. Я слышал за собой торопливые шаги брата и уходил все дальше и дальше от страшного дома, и остановился только у дверей нашей землянки.

— Да на тебе лица нет! — ахнула мама, увидев меня на пороге.

Наверное, вид у меня и в самом деле был ужасный. Мама все причитала, долго не могла успокоиться. Я не выдержал — расплакался. Давясь слезами, рассказал все.

— Больше ты туда не пойдешь ни под каким видом,— сурово предупредил отец.— Ложись-ка вон и отсыпайся.

— Со мной рядом ложись,— тонкой ручонкой обнял меня за шею Юра.

Земляные нары были застланы тощими соломенными

тюфяками. Я лег к. стенке, Юра устроился рядом со мной, снова обнял меня и вскоре заснул. Я слушал его жаркое дыхание, и понемногу приходило спокойствие, и хотелось спать, спать, спать...

Последнее, что я увидел, было: отец, прежде чем пригасить куцее пламя коптилки, ставил в угол, у порожка, свой плотницкий топор.

Утром разбудил меня Юра. Он стоял в дверях землянки, распахнутых настежь, и кричал что было силы:

— Ура! Немцы ушли. Ни одного не осталось.

Немцы — вся часть — ушли в сторону Москвы.

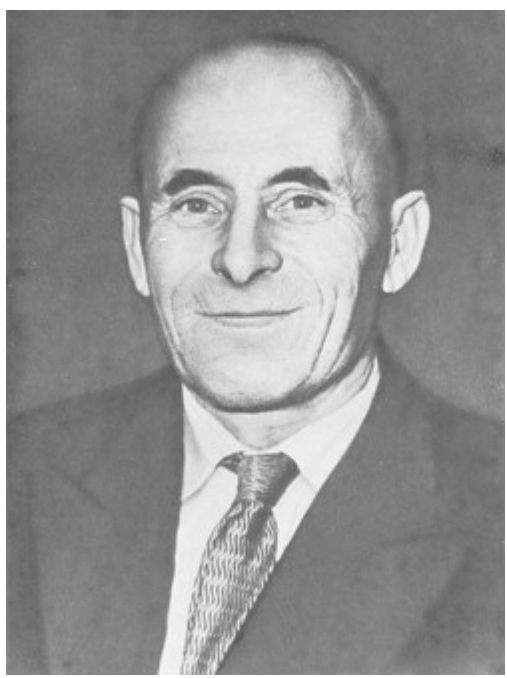
Неверующей была наша семья, но в этот день я горячо молился про себя — богу ли, еще ли кому,— чтобы и генерал, и его толсторожий фельдфебель нашли себе могилу под Москвой.

Тем же утром я узнал, что своим вызволением из генеральской тюрьмы я обязан Юре. Он, как делал это почти каждый день, слонялся по лужайке близ дома Павла Ивановича. Надеялся увидеть меня. Заслышав выстрелы в саду, пьяный смех и голоса офицеров, Юра заволновался, подбежал к немцу-часовому, принялся горячо объяснять, что родители послали его к брату, что он не уйдет, пока не увидит старшего брата. Часовой, не понимающий по-русски, вызвал переводчика.

Кто был этот переводчик, я не знаю. Но душа у него была добрая...

Дом Гагарина на родине космонавта. Ныне музей

Анна Тимофеевна Гагарина



Алексей Иванович Гагарин

Учащиеся Люберецкого ремесленного училища в литейном цехе. Юрий Гагарин — третий слева

Валентин, Юрий, Зоя и Борис Гагарины

Юрий Гагарин — студент Саратовского индустриального техникума. 1953 г.

Юрий Гагарин — капитан баскетбольной команды техникума

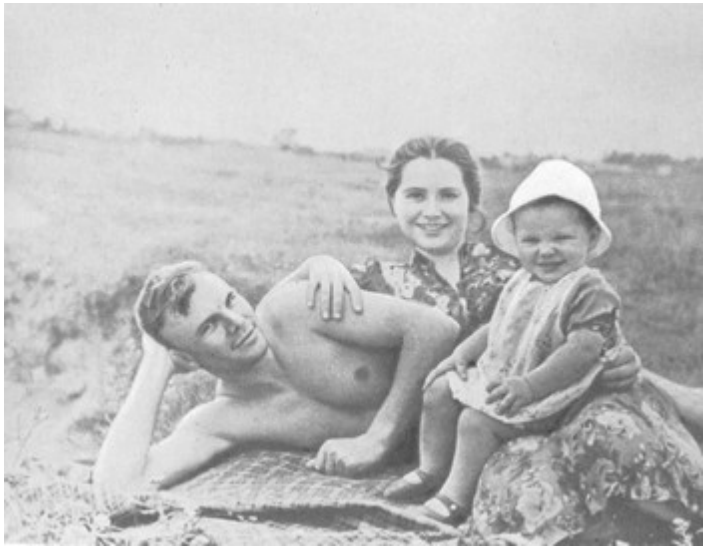
Курсанты Саратовского аэроклуба

Юрий Гагарин — курсант аэроклуба

Юрий Гагарин. 1960 г.

На даче в Клязьме. 1960 г.

На отдыхе



Юрий Гагарин, его жена Валентина и дочь Леночка

Юрий Гагарин с дочкой Леной. 1960 г.

ГЛАВА 9
Безымянные герои

Память

Одна гитлеровская часть ушла, другая сменила ее. Нам легче не стало. Вместо генерала в доме Павла Ивановича определился на постой какой-то важный полковник, но я теперь поднабрался ума — забыл дорогу в этот дом. Да пропади он пропадом!

Нашу избу заняла мастерская по ремонту аппаратов связи и зарядке аккумуляторов. Ведал мастерской солдат по имени Альберт, зверь из зверей: таких, думать надо, и среди фашистов не сразу сыщешь.

Альберта мы прозвали Чертом, но о нем речь впереди.

Шла война, и шла она не только на полях сражений, не только там, где сшибались в смертельных схватках солдат с солдатом, танк с танком, самолет с самолетом. Война постоянно жила и в нашем доме, ни на минуту не покидала его. Впрочем, не в доме теперь — в землянке, выкопанной на скорую руку, или бункере, как именовал наше жилище отец, поселилась вместе с нами война.

Меня могут спросить, почему я так подробно рассказываю о днях войны?

Причин тому много, но главные, пожалуй, вот какие.

Огромная беда, которая внезапно обрушилась на нашу семью, как и на всякую другую семью в стране, оставила в душе каждого из нас — от самых младших до самых старших — неизгладимый след, надолго определила всю нашу дальнейшую жизнь.

Мне кажется, что именно в то время мы жили, спаянные какой-то особой, не поддающейся выражению в обычных словах близостью друг к другу, особой бережностью и заботой друг о друге. Удивительная теплота была в наших отношениях.

Мне кажется, что и Юру, своего родного брата, меньшего притом, лучше узнал и понял я как раз в годы войны. И, несмотря на большую разницу в возрасте, крепко привязались мы с ним друг к другу.

Мне кажется еще, что некоторые черты Юриного характера, вернее, характера будущего летчика, космонавта Юрия Гагарина, — упорство в достижении цели, сострадание к горю других, готовность немедленно прийти на помощь, смелость и способность к отчаянному, но разумному риску,— намечались в то время, в дни войны.

Все мы — я говорю о родителях, о братьях и сестре, о себе,— все мы, тесно соприкоснувшись с войной, возненавидели ее. И не случайно офицер Советской Армии Юрий Алексеевич Гагарин, бывая за границей, не уставал подчеркивать, что его космический полет, что освоение космоса должны служить делу мира, укреплению мира во всем мире.

На пресс-конференции в Афинах Юрий Алексеевич сказал, что он желал бы снова оказаться в космосе и передать оттуда приглашение всем людям Земли подняться на орбиту и вместе полюбоваться красотой нашей планеты. «Тогда, я думаю,— говорил он,— все люди взглянули бы друг другу в глаза, крепко обнялись и стали бы жить в вечном мире и дружбе...»

В беседе с японскими учеными на вопрос: какие бы заповеди высказал Гагарин-сан своим дочерям, когда они подрастут, Юрий Алексеевич ответил:

«...Во-первых, я бы хотел, чтобы дети мои были борцами за мир...»

Он-то, Юра, хорошо помнил войну и потому всем своим большим и добрым сердцем жаждал мира, весны, радости для человечества.

Во время войны мы были нередко свидетелями удивительного мужества советских людей, преданности их своей Родине, свидетелями глубочайшего презрения к смертельной опасности, к самой смерти.

Такие проявления героизма не могли не запомниться, не могли не повлиять на психологию подростка, каким в то время был Юра.

Несколько нарушая хронологию событий, попытаюсь рассказать здесь о таких особо памятных эпизодах. К сожалению, имена героев, о которых пойдет речь, для Юры так и остались неизвестными. Да и для нас пока тоже...

Красный командир

Линия фронта проходила поблизости от Клушина, так что, по сути, мы жили в передовых порядках немецких войск. В соседнем селе Мясоедове размещался крупный штаб фашистского командования. Редкие артиллерийские снаряды «оттуда», наши, советские снаряды, иногда разрывались на улицах Клушина.

Об осени сорок первого года написано много. Враг вплотную приблизился к Москве, командование фашистских частей тоннами завозило из Германии кресты для награждения тех, кто особо отличился при штурме красной столицы, солдаты и офицеры «непобедимого» рейха приводили в порядок парадные

мундиры, были отпечатаны приглашения на праздничный банкет...

В Клушине, как я уже сказал, одна часть сменила другую. Гитлеровцы на первых порах были настолько самоуверенны, что не выставляли вокруг села никакого охранения, никаких Постов. Этим пользовались ребятишки — часто надолго и свободно уходили в поле, в лес.

Однажды на рассвете нас разбудила частая ружейная и автоматная пальба. Мы подскочили к крохотному оконцу землянки — видны только ноги, десятки ног в сапогах с широкими голенищами. Немецкие солдаты бежали в сторону леса.

А оттуда вместе с выстрелами вдруг донеслось к нам протяжное и такое родное «ура» — громче, ближе. Над крышей землянки прошелестел тяжелый снаряд — артиллерия ударила из глубины обороны немцев.

— Господи, неужто наши наступают? — вслух высказала мама то, о чем каждый из нас думал про себя.

«Наши идут, наши!» — повторяли мы с надеждой.

На месте не сиделось — хотелось выскочить на улицу, бежать им навстречу.

Но вот, ломая кустарник, в лес через поле рванулись грохочущие танки.

Вскоре там, в лесу, послышались хлопки гранат, а затем пальба пошла на убыль, стала разрозненной, нечастой и вскоре погасла совсем.

Через какое-то время немецкие танки с облепившими их солдатами в зеленых мундирах вернулись в село. Следом за ними на фургонах, запряженных тяжеловозами, привезли раненых и убитых.

Их было много, искалеченных и мертвых врагов, но это не радовало нас: у нас отняли надежду на скорое избавление от фашистской напасти. Сидели мы подавленные, молчаливые.

Никто не заметил, как и когда исчез из землянки Юра. Хватились — нет парня, и, обеспокоенные, хотели уже отправляться на поиски, когда он появился сам. Поманил меня:

— Я тебе, Валь, что-то сказать хочу.

Вышли из землянки.

— Там наш командир умирает. Израненный весь.

«Там» — надо понимать, в лесу.

Мы быстро собрали кое-какую снедь, прихватили с собой старую рубаху — для перевязки, и подались к лесу.

Изорванное танковыми гусеницами, ложилось под ноги мокрое поле. Лес был мрачным, неприветливым, непривычным:

кроны деревьев порублены снарядами, на ветвях висят куски солдатской одежды — зеленой, немецкой, и нашей, защитного цвета.

— Здесь! — Юра остановился у большого куста, усыпанного огненно-красными ягодами.— Здесь он.

Мы зашли с другой стороны куста и увидели раненого: рослый светловолосый красавец со шпалой в петлице, с орденом Красной Звезды на груди,— у ордена, бросилось в глаза, сколот кусочек эмали на верхнем луче,— он лежал на спине с закрытыми глазами. Рядом валялись трехлинейная винтовка, полевая сумка и противотанковая граната.

Заслышав наши шаги, командир открыл глаза:

— Ты, малыш? Брата привел?

Я понял, что они уже успели познакомиться и поговорить успели.

— Мы тебе, дядя поесть принесли.

Командир промолчал. Гимнастерка его и брюки были в крови — наверно, не одна пуля ужалила этого богатыря, и было ему, видать, совсем не до еды. Неумелыми руками, торопясь и мешая друг другу, разорвали мы рубаху на бинты, кое-как перетянули раны.

Пока делали перевязку, он едва слышным шепотом рассказал, что их было несколько десятков человек из различных частей: кадровые бойцы, командиры, политработники Красной Армии. Все коммунисты. Пробивались они из окружения. Немцы, обнаружив их, пошли за ними по пятам. Близ Клушина завязался бой. Когда кончились патроны — группа пошла в прорыв, со штыками наперевес.

— Вот и все,— закончил он.

Вот и все! А мы-то думали — от Москвы немцев погнали...

— Как вас зовут? — спросил я.

Он качнул головой, и мы поняли: об этом не надо.

Губы у него бескровные, белые почти, волосы светлые и мягкие, как лен, и глаза голубые.

— Дядя,— тормошнул его Юра.— Слышишь, дядя? Немцы у нас в селе, днем тебе туда нельзя. Мы с папой посоветуемся, как тебе помочь, и ночью спрячем где-нибудь. Мы поможем тебе, слышишь, дядя?

— Вот это было бы хорошо, ребятки. Очень хорошо было бы.

Он хотел улыбнуться, но улыбки не получилось — гримаса исказила лицо.

— Ты жди нас, дядя.

Мы опрометью бросились в село. Мы знали, знали наверняка, что отец и мать что-нибудь придумают непременно, не оставят,

не бросят беспомощного человека.

— На мельнице можно спрятать, туда немцы не заходят,— сказал я.

— Или в лесу землянку выкопать и есть ему туда носить,— высказал догадку Юра.

Мы задыхались от быстрого бега, но внезапно остановились, точно на стену налетели. Рассыпавшись цепью с автоматами в руках шли по лесу немецкие солдаты. Они громко перекликались на ходу, иногда вскидывали оружие — сухая и короткая звучала очередь.

Мы спрятались за стволом необхватно толстого дерева, затаили дыхание. Немцы прошли в нескольких шагах от нас.

Найдут? Не найдут?

В той стороне, где остался лежать раненый командир, раздались громкие выкрики, потом ахнуло так, что волна жаркого воздуха прокатилась даже над нами, и высоко над землей взметнулся раскидистый куст, усыпанный огненно-красными ягодами... Взметнулся и медленно осел. Крики, на мгновение заглушённые взрывом, перешли в жуткий, исступленный, нечеловеческий вопль.

— Что это, Валь? Что это рвануло так?

— Не знаю. Наверно, он гранатой себя...

Мне не верилось, что человек может решиться на такое, но другого объяснения случившемуся я не нашел.

Догадка оказалась верной. На селе долго говорили о том, что красный командир взорвал себя гранатой вместе с подбежавшими к нему гитлеровцами.

* * *

Приезжая в родительский дом, всякий раз встречаюсь я в Гжатске или Клушине с братьями Беловыми — Евгением и Виктором. Однажды в разговоре выяснилось, что и они видели в лесу этого командира и тоже думали о том, как помочь ему. И тоже не успели.

Как жаль, что он не назвал нам тогда своего имени. Быть может до сих пор вспоминают о нем где-то — жена ли, дети ли...

Как Гастелло!..

Над селом прошла шестерка советских «илов», а вскоре где-то неподалеку послышались глухие раскаты грома. «Наши немчуру бомбят»,— догадались мы.

Когда «илы», возвращаясь назад, вновь пролетали над Клушином, мы стояли у землянки: Юра, Володя Орловский и я.

Штурмовики, все шесть, вынырнули из-за холма, и тут внезапно ударили немецкие зенитки. Никто в селе не знал, не догадывался, где они стоят, да и огонь вели они впервые: прежде тоже летали над Клушином краснозвездные самолеты, но зенитки всегда молчали.

Штурмовики благополучно ушли из зоны обстрела, но не все: один вдруг задымил, резко пошел на снижение.

Попали-таки, сволочи!

Задрав головы вверх, мы не то что гадали, долетит или не долетит до своих, нет, не гадали — всей душой, каждым нервом желали ему долететь.

Улицы Клушина были забиты техникой: танки, бронетранспортеры, машины, в кузовах которых сидели солдаты... Все это бесконечным потоком вот уже не первые сутки двигалось в сторону фронта. Фашистское командование накапливало силы для решающего удара по столице.

Когда над селом появились штурмовики, движение прекратилось. Солдаты, задрав головы, следили за самолетами.

Штурмовик задымил — и вся колонна заорала, засвистела, заулюлюкала, раздались крики «хайль!», в воздух полетели пилотки.

Уже не хвост белесого дыма тянулся за «илом» — громадное пламя, как полотнище красного флага, охватило фюзеляж и крылья. Самолет снизился еще, прошелся над улицами и вдруг ударил по колонне из пулеметов. Кузова машин опустели в мгновение ока —солдатня горохом сыпанула на землю, бросилась в канавы.

— Не нравится!

— Дали вам перцу!

Это Юра и Володя кричали, но крик их, наверно, кроме меня, никому не был слышен.

Снова развернул свою пылающую машину бесстрашный летчик и устремил ее на колонну. Все свершилось в какие-то доли секунды: невиданный взрыв осыпал стекла в домах, нас — а мы ведь очень далеко находились — накрыло землей, песком, а на дороге, там, где стояли танки и машины, вспыхнул длинный угарный костер.

— Как Гастелло,— тихо сказал Юра.

О подвиге Гастелло мы услышали раньше, еще до прихода фашистов в Клушино, и часто спорили между собой: найдется ли другой человек, способный на такое.

По щекам у Володи Орловского катились слезы.

— Лучше бы он с парашютом прыгнул.

Юра быстро повернулся к нему.

— Чтобы к немцам попасть, да? Они бы его убили, и без никакой пользы.

На дороге, в костре, загрохотали взрывы — рвались бензобаки машин, боеприпасы. А мы стояли в стороне и в бессильной ярости сжимали кулаки. Мы должны, должны отомстить фашистам за гибель безымянного храбреца, но как это сделать, мы не знали.

Однако расплата наступила, и гораздо быстрее, нежели могли мы ожидать.

На рассвете следующего дня над селом снова появилась пятерка штурмовиков, может быть, тех же самых, что потеряли вчера товарища.

Не видимые в лучах солнца, не обнаруженные сразу немцами, они с бреющего полета обрушили на зенитные установки бомбы, снаряды, пулеметные очереди.

Зенитки не успели сделать ни единого выстрела. В считанные минуты все было смешано с землей.

Взбешенное командование фашистов (надо сказать, что позицию для зенитной артиллерии они выбрали очень удачно: разместили орудия на холме, в глубоких капонирах, тщательно замаскировали их, любая воздушная цель, появившаяся близ села, могла быть расстреляна ими почти наверняка) принялось чинить суд и расправу. Незамедлительно были арестованы три немецких солдата-связиста, а четвертым арестантом оказался Михаил Сютев — староста села. Их обвинили в том, что они якобы передали красным координаты зенитных установок.

На площади, близ бывшего сельсовета, застучали топоры: сооружали виселицу для казни обреченных. Казнь была назначена на утро.

Не знаю как — собственная ли сноровка выручила их, помощь ли пришла со стороны,— но поздней ночью Сютев и два немца бежали из застенка. Почему не бежал третий немецкий солдат, так и осталось неизвестным. Пристыженные каратели — виселица-то возводилась в расчете на четверых! — отменили публичную казнь и расстреляли его.

Несколько дней подряд специальные команды извлекали трупы убитых из полузасыпанных капониров, в которых размещалась прежде зенитная батарея, из-под обгоревших танков и машин на дороге. Немцы были злы как черти — наверно, не

очень-то веселила их эта работа.

Трупы свезли на площадь, туда, где был захоронен когда-то комиссар Сушкин. И вскоре площадь — участок земли между церковью и школой, сельсоветом и магазином — забелела березовыми крестами с надетыми на них касками. Их было очень много, этих аккуратных, один к одному, крестов над могилами, в каждой из которых тоже было немало покойников.

Юра и Володя Орловский бегали смотреть, как хоронят гитлеровских солдат.

— Во дали наши! — восторженно рассказывал Юра за ужином.— Во всыпали фрицам!

Прочно бытовало в Клушине, применительно к оккупантам, это словечко — «фрицы»; Юра подхватил его на улице и конечно же накрепко усвоил.

— Вот дали так дали! — повторял он то и дело, и возбуждение его было таким естественным, что заражало всех.

Отец, пряча улыбку, задумчиво сказал:

— Все правильно, Юрок, все своим чередом идет. В тысяча восемьсот двенадцатом году, когда французы из Москвы отступали, они тоже многих своих похоронили в Клущине. А мы на том месте школу построили. Теперь немцы рядышком своих вояк положили. А мы, придет час, и на этом месте что-то выстроим, для жизни и существования полезное...

Я тоже не выдержал — сходил полюбоваться на березовую рощу из крестов. И легко и грустно было мне, когда возвращался я с нового немецкого кладбища. Легко потому, что убедился, как могут громить гитлеровцев наши войска. Убедился в этом и понял, что пробьет такой час — и не останется на нашей земле ни одного живого фашиста... Грустно же потому, что вспомнил вдруг и светловолосого красавца командира, взорвавшего себя гранатой вместе с гитлеровцами, и сгоревшего летчика-штурмовика, и ополченцев из разгромленной дивизии, тех самых, что однажды в поле наткнулись на нас с Володей Беловым. Нелегкой ценой давались победы. Да и победы ли пока?

Грустно и потому еще было, что какой-то фашистский подлюга бросил гранату в памятник комиссару Сушкину — на месте могилы теперь лежали искореженные решетка и обелиск.

Юра ничего не говорил об этом — быть может, над могилой комиссара надругались после того, как он был на кладбище. Промолчал и я, не сказал ему — не хотел расстраивать.

А может, он видел все и, в свою очередь, не хотел расстраивать меня?

* * *

Сбылось давнее пророчество отца.

Ныне на центральной площади села и следа не осталось от березовых крестов. На месте бывшей церкви стоит совхозный клуб — просторное, очень четких форм здание.

Восстановлен и памятник на могиле комиссара Сушкина. По-прежнему смотрит он с фотографии в мир, бесстрашный большевик времен революции и гражданской войны. Я подхожу к обелиску, долго стою в задумчивости. Тонкая щеточка усов, мягкие глаза мечтателя и высокий лоб мудреца...

Кажется, ничего не изменилось, ничто не тронуто временем.

Нет, изменилось, как много изменилось! Он тут же, на широкой сельской площади, рядом с памятником комиссару, в каких-нибудь пятнадцати — двадцати шагах, Юрин бюст.

Ленинградские рабочие изготовили его и передали в дар землякам первопроходца Вселенной.

Они — мраморное изваяние космонавта и скромный обелиск над могилой комиссара — открыты всем ветрам всех четырех сторон света и стоят на скрещении дорог.

ГЛАВА 10
Юра воюет с чёртом

Про сахар и аккумуляторы

Так вот, одна часть ушла, другая сменила ее. В нашем доме разместили мастерскую по ремонту аппаратов связи и зарядке аккумуляторов. Ведал всем этим хозяйством баварский немец, некий Альберт. Изверг из извергов был, но с особо изощренной жестокостью относился он к детям. Мы его сразу же нарекли Чертом. А Юра немедля начал против Черта тайную «партизанскую» войну.

Они играли в саду — Ваня Зернов, Володя Орловский, Юра и Бориска. Был один из тех последних дней осени, когда солнце светит неожиданно ярко и тепло, хотя в преддверии скорой зимы дождевые лужицы уже затянуты тонкой корочкой льда, а последние, багряные, случайно уцелевшие листки без труда снимает с ветвей и самый легкий порыв ветра.

Они играли в мячик, сшитый мамой из тряпок: бросали его друг в друга, и тот, кого осалили, немедля выбывал из игры до следующего кона. Тяжелый тряпичный мяч не чета резиновому: когда попадает в кого-то из мальчишек — не отскакивает упруго, а сразу падает на землю. Но ребята и этой игрушке рады: где же взять настоящий?

Чаще других водить приходилось Борису: он моложе ребят, меньше их ростом, не так верток и умел.

Черт — шинель небрежно наброшена на плечи, пилотка сбита на белесый затылок — стоял на крыльце и лениво щурил водянистые глаза на яркое солнце. Он, здоровый, плотный детина с большими, приобожженными кислотой руками, явно скучал...

— Борьке водить!— закричал Ваня Зернов.

Незадачливый Борис кинулся к мячу, швырнул его в Володю. Мимо! В Зернова. Опять промазал! Ага, Юрка рядом. Есть!

— Так не по правилам, нечестно так. Ты нарочно ему поддался,— упрекнул Юру Володя Орловский.

— Он же маленький, его жалеть надо.

Черт тем временем сходил в избу, а вернувшись оттуда, что-то положил на нижнюю ступеньку крыльца.

— Идить... сюда!—крикнул он мальчишкам.

Ребята прекратили игру, подошли медленно, недоверчиво, жмутся друг к другу.

— Брать!— разрешил немец.

На ступеньках лежит сахар — ноздреватые, аккуратно напиленные кубики. Давным-давно не видели мальчишки сахара. Даже под ложечкой сосет — так манят они, эти кубики.

— Брать, брать!— смеется немец.

Ребята не тронулись с места, и только Бориска, самый доверчивый из всех, переваливаясь, подошел к крыльцу, наклонился, протянул руку.

— Не смей!— Юра окликнул очень тихо и очень строго.

Но слишком велик соблазн. А тут еще немец весело скалит зубы, приговаривает поощрительно...

— Брать, брать, битте...

В тот момент, когда Бориска уже прикоснулся было к желанному кубику сахара, Черт неожиданно наступил на него, тяжелым сапогом прихватил Борькину руку. Что-то хрустнуло под каблуком, Борис истошно завопил.

— Отпусти,— выкрикнул Юра,— отпусти!

Черт скалит зубы, вертит, вертит каблуком. Ребята стоят растерянные, а Борис уже заходится криком.

Тут случилось что-то невероятное, неожиданное. Юра отступил назад, разбежался и головой что было мочи ударил немца в живот, ниже блестящей ременной пряжки. Тот ахнул, с маху шлепнулся на ступеньки, сел, оторопело, по-рыбьи разевая рот... Грязные крупинки сахара лежали на крыльце.

Ваня и Володя воробьями порскнули за угол, а Юра взял Бориску за руку и повел в землянку.

— Я тебе еще не то сделаю,— обернулся и пригрозил он Черту.

Немец опомнился, бросился за ним, но тут засигналила машина на улице: звали его — Черта.

Из кузова машины сгрузили аккумуляторы — диковинные какие-то, преогромнейших размеров. Целых восемь штук.

Солдаты в форме танковых войск снесли эти штуковины в мастерскую.

Несколько дней подряд Черт почти не выходил из дому — колдовал над аккумуляторами, добросовестно заряжал их. А как-то в полдень уселся на велосипед и куда-то укатил.

Мы и внимания на то не обратили, когда, в какой момент Юра выскользнул из землянки. А Черт через некоторое время вернулся в сопровождении грузовой машины, и немцы-танкисты погрузили аккумуляторы в кузов. Один из них, с погонами офицера, пожал Черту руку — и тот расцвел, заулыбался радостно. Видимо, благодарность схлопотал.

Машина укатила восвояси, а Черт вынес на крыльцо патефон,

бутылку вина и затеял пиршество. Заигранная пластинка напевала «Катюшу», нашу русскую «Катюшу». Черт крохотными рюмками вливал в себя вино и блаженно жмурился после каждой.

Увы, недолго длилась его радость. Требовательно заорала сирена машины. Черт смахнул пластинку с патефона, выскочил на улицу.

Те же самые танкисты снова внесли во двор те же самые аккумуляторы. Были они мрачны, переругивались друг с другом. Черт стоял навытяжку перед разгневанным офицером, что-то жалко лепетал: оправдывался, думать надо.

Мы никак не могли взять в толк, что же случилось, пока Юра с нескрываемой гордостью не объявил:

— Это я ему устроил, когда он на велосипеде катался.

— Как ты устроил?

Он сунул руку в карман штанишек, достал щепоть каустической соды.

— Я ему насыпал в эти штуки.

Мама схватилась за голову.

— Снимай штаны, негодный малый. Сейчас же снимай!

Юра смотрел на нее с недоумением. Он, кажется, ожидал, что его должны похвалить, а тут наоборот — наказать собираются. Только за что? Ведь и мама терпеть не может Черта, и не раз — он сам слышал!— кликала на его голову самые черные беды.

— Еще где есть у тебя эта гадость?— поинтересовалась мама, наливая в корыто горячую воду.

Врать Юрка не умел.

— В пиджаке чуточка.

— Давай и пиджак. Стирать все буду.

Вечером отец, выслушав мамину жалобу, против ожидания, не очень рассердился.

— Поди-ка сюда, сын,— позвал он Юру.— Кто тебя научил это сделать?

— Сам.

— Сам ты не мог додуматься.

— Все равно сам.

— Такие вещи, Юрок,— наставительно сказал отец,— с умом надо делать. Ты знаешь, что всех нас под расстрел мог подвести? Не знаешь? То-то вот.

К счастью, баварский фриц не догадался, чьих это рук проделка, иначе и впрямь всем нам не миновать бы беды.

Не уберeглись!..

Январь сорок второго принес надежду на освобождение.

Остатки немецких войск, разгромленных под Москвой, драпали на запад.

Юра и Борис целые дни проводили на улице: стояли у ограды, смотрели на колонны проходивших мимо войск, на танки, грузовики, пушки. Иного развлечения, иного занятия у мальчишек не было: школа при немцах не работала.

Лютая стужа в те зимние дни стояла, и отступающие фашисты врывались в землянки, отбирали последнюю одежонку у жителей, тащили все: шубы, одеяла, валяные сапоги, подушки, не брезговали и половиками, какой-нибудь завалящей дерюгой.

Как-то за ужином (ели мы вареную картошку «в мундирах», прежде времени и тайком от немцев вскрыли яму с семенным запасом) Юра объявил:

— А сегодня я французов видел.

Мы удивились:

— Что еще за французы? Откуда они взялись?

— А я почем знаю откуда.

— Да хоть какие они?

— Головы платками обмотаны, а на самих бабьи шубы. И все верхами, на конях.

В этот день через село проходила какая-то кавалерийская часть. Мы рассмеялись:

— Это немцы были, Юра.

— Нет, французы. У Зои в книжке такие нарисованы.

— Немцы, сынок. Боятся они наших морозов, дай бог им подольше постоять,— вмешалась в разговор мама.

Ей Юра поверил.

Неудача фашистских войск под Москвой некоторым образом ударила и по нас. Альберта, и без того бешеного, точно злая муха укусила. Когда он появлялся на крыльце дома — ребята опрометью бежали в землянку, иначе быть страстям: или затрещиной походя, забавы и собственного удовольствия ради, наградит, или, еще хуже, кислотой плеснет, и все норовит, чтобы в лицо попало.

Бегали ребята от Черта, а все же не убереглись. Как-то Юра и Борис стояли у ограды и смотрели на улицу. Не знаю уж зачем, может, видеть она ему мешала, но Борька вдруг принялся отдирать тесинку от ограды. Силенок ему не хватало, Юра, как всегда, поспешил на помощь брату.

Тут-то и подкрался к ним совсем неслышно немец. Приподнял Бориса за воротник пальтишка, обвил вокруг его шеи концы шарфа, завязал петлей, и на этом шарфе подвесил Борьку на яблоневый сук.

Засмеялся и, довольный, побежал в избу.

Бориска закричал, но туго стянутый шарф все сильнее и сильнее сдавливал ему горло. Он забарахтал руками и ногами, а потом вдруг обвис, обмяк, глаза из орбит выскочили.

Юра подпрыгнул несколько раз, пытаясь снять Бориску, но — высоко, не достать. А тут немец выскочил из избы с фотоаппаратом в руках, оттолкнул Юру.

Когда Юра прибежал в землянку, слезы горохом катились по его щекам.

— Мама, Черт Бориса повесил!

Простоволосая, неодетая выскочила на улицу мать. Черт стоял близ яблони и щелкал фотоаппаратом.

— Уйди, уйди!— закричала мама и бросилась к Борису.

Фашист загородил ей дорогу.

— Ах ты, поганец!

Не знаю, откуда взялась у матери сила — оттолкнула она немца, рывком раздернула узел на шарфе, и Бориска упал в снег.

В землянку его принесла она почти безжизненного. После этого с месяц, наверно, Борис не мог ходить — отлеживался и ночами страшно кричал во сне.

Вскоре после этой истории у Черта вышел из строя движок. Фриц все же был мастеровым человеком, причину неисправности обнаружил быстро: выхлопная труба была основательно забита тряпками, рваной бумагой, мусором.

С этим хламом в руках он и нагрянул в нашу землянку. Обшарил все углы, перекопал все барахло — искал что-нибудь похожее на то тряпье, с которым наведался к нам. Ничего похожего, к счастью, не обнаружилось.

Уходя, Черт демонстративно швырнул весь хлам на наш стол и хлопнул дверью с такой силой, что сверху ручейками заструились земля и песок.

— Слава богу, пронесло,— вздохнула мама.

Юра во время обыска сидел в углу со смиренным видом человека, непричастного к каким-либо темным делам. Только лукавинки в зрачках выдавали его торжество.

После ухода немца из землянки никто из взрослых на сей раз ни в чем не укорил его.

«Марьванны» прилетели!..

Нет, не суждено было сбыться нашим надеждам на скорое освобождение. Разбитые под Москвой фашистские части прошли через Клушино в тыл, на переформирование, а навстречу им, из тыла, все двигались и двигались свежие соединения.

Линия фронта установилась в шести-семи километрах от села. С этого момента жизнь наша стала сущим адом.

В Клушине скопилось огромное количество боевой техники немцев, много живой силы. Там, за линией фронта, наши, разумеется, прознали об этом, и теперь по селу ежедневно лупит тяжелая артиллерия. Конечно, приятно видеть, как немцы, точно тараканы по щелям, разбегаются под прицельными залпами советских батарей. Но и дрожь берет, когда подумаешь, что этот же залп мог накрыть тебя. Ты-то ведь не меченый, и глаз у снаряда нет. А все дороги — пройти нелегко — изрыты воронками.

Кошмарней же всего стало по ночам. Бомбить немцев в Клушине повадились По-2. В селе говорили — откуда взялся слух, не знаю, но утверждали это настойчиво,— что водят эти маленькие ночные бомбардировщики девушки-летчицы, и прозвали самолеты Мариями Ивановнами.

— Хоть бы Черту нашему какая-нибудь Марьванна гостинчик подбросила,— вслух мечтал Юра.— Чего они жадничают?

...Вечер, по-зимнему ранний. Коротаем его, как водится, в землянке. Вроде и на покой укладываться рано, и сидеть особо незачем: только тоску разводить. Разговоры все приелись, все на одну тему: когда же наши придут?.. В каганце плавает нитяной фитиль, и тусклый свет его бледными окружьями ползает на неровных земляных стенах, на лицах. В полумраке лица у всех какие-то заостренные, чуть-чуть чужие лица.

Мама что-то шьет на руках, отец тоже ковыряет шилом Борькин валенок — ставит на него тысяча первую заплату.

Вдруг дрожащий, мертвенно-бледный свет пробился сквозь крохотное оконце, затопил землянку, и в этом негаснущем свете растворился, пропал незначительный огонек каганца. На низкой гнусавой ноте взревела сирена воздушной тревоги: спасайся кто как может!

Нам бежать некуда: тонкая крыша над головой — единственное наше призрачное спасение.

По-2 навешали в темном небе фонарей, высветили село — и пошло. Одна за другой шарахают бомбы.

Страшный удар приподнял, кажется, нашу землянку и нас вместе с ней. Песок сыпанул на головы. Уши точно ватой заложило. Каганец совсем погас... А в землянке по-прежнему светло. Когда я начинаю помаленьку различать звуки — слышу Юрин голос. Где-то очень-очень далеко:

— Ура, мамочка! Прямо в Черта влепила Марьванна.

Мама шевелит губами — что-то говорит, а что — не пойму.

— Громче!— кричу.

И опять ничего не слышу. Совсем оглох, что ли?

Нет, слух понемногу возвращается.

Юра сидит на нарах и строгает ножом осиновые колышки.

— Что ты делаешь?

— Крест на могилу Черту.

Гаснут в ночном небе фонари, снова темень в землянке — скудный свет каганца не в силах разогнать ее.

Мама вздыхает:

— Чему ты радуешься, Юра? Глупенький ты... Ведь дом же наш погиб. Своим горбом подымали его. Где мы после войны жить будем?

— Брось, Анюта, нашла о чем жалеть,— ворчит отец.— Лишь бы война закончилась, а дом будет.

— Построим, построим,— подхватывает Юра.— Знаешь, мам, после войны какая жизнь будет? Я опять в школу пойду...

— Ишь, разбежался!

Юра связывает два колышка бечевкой.

— Хороший крест?

— Гвоздем сбей — надежней,— советует отец.

Он уважает вещи добротные, прочные.

Утро разочаровало нас: крест не понадобился. Бомба упала перед окнами дома, в нескольких шагах от стены взрыла глубокую воронку. Осколок выбил стекло, порвал оконный переплет и застрял в подушке, на которой в это время спал Черт: с вечера он был пьян и то ли поленился выйти по сигналу воздушной тревоги, то ли совсем не слыхал сирены. Смерть легла в сантиметре от его виска.

— Повезло мерзавцу,— сокрушалась мама.— Хорошо бы людям, солдатикам нашим, так везло.

И все же, что там ни говори, а это была последняя ночь, которую Черт провел в нашем доме. Наутро ему выкопали землянку, отдельную, в огородах — подальше от изб, от дороги,— и он переселился туда.

И хотя мастерская по-прежнему оставалась в нашем доме, Черт уже не так настойчиво преследовал ребят. Да и видел их реже: в мастерскую потоком везли искалеченную аппаратуру — все меньше оставалось у Черта свободного времени. И все лучше, надо было полагать, шли дела у Красной Армии.

ГЛАВА 11
Год сорок второй…

Пашем!

Война да нужда всему научат. По весне такое вошло в привычку:

— Валюшка, Зоя, пойдемте-ка на огород, — говаривала мама.

Обрядясь в резиновые сапоги, прихватив корзинки, мы шли на огород — вязли в топкой грязи, искали перемерзшие клубни картофеля, те, что остались невыбранными по осени. Потом эти клубни сушили на огне, перетирали на крахмал. Оладьи из крахмала, перемешанного с отрубями, получались какого-то нездорового синего цвета и тягучие, как резина. Ели мы с жадностью, особенно горячие, со сковородки, но чувство острого голода все равно преследовало нас везде и всюду.

У Юры с Бориской тоже была постоянная работа: по утрам они надевали рукавички и шли обрывать по канавам молодую крапиву. Из крапивы мама варила щи. Чуть-чуть подбеленные молоком, они не задерживались подолгу на столе — нам, по правде сказать, маловато было ведерного чугуна этих щей. Ребята чем могли — тонкими лепестками щавеля, былинками хвоща, сладковатыми корнями незрелого лопуха — подкармливали себя на лугу, за околицей.

А солнце припекало все сильнее, и скворцы озорно кричали над крышами, и тончайший аромат готовых распуститься в цвете яблонь щекотал ноздри.

— Сегодня будем огород сажать,— с утра напомнила мама.

После завтрака мы сидели на соломе и резали картошку: она лежала перед нами маленькой жалкой горкой. Клубни помельче на половинки разрезали, покрупнее, поувесистей — на три, четыре части. Резать надо было так, чтобы в каждой половинке или четвертушке оставались «глазки» — иначе не прорастут наши семена.

Работали молча, сосредоточенно, и дело-то, в общем, спорилось не только у взрослых — Юре и Бориске доставляло удовольствие пилить ножом клубни. Они и игру придумали: кто быстрее. Пальцы рук у всех почернели от крахмала, лица разгорелись, посвежели на чистом воздухе. Как не хватало нам его в нашей опостылевшей за зимние дни землянке!

Не знаю, кто о чем думал в эти минуты, а я вспоминал прежние весны, довоенные. Легко и просто жилось тогда. Бывало,

приведешь с колхозного двора лошадь, ранехонько утром вспашешь участок. Мама кликнет соседок — соберутся они веселой гурьбой, и к полудню, смотришь, огород уже засажен...

Подошел отец, постоял над нами, обронил мимоходом:

— Озимь колхозную посмотрел...

— И что?— встрепенулась мама.

— Дружные всходы, напористые.

— Дай-то бог для себя да для всех своих скосить и обмолотить!

—- Хорошо бы,— угрюмо отозвался отец.

Батька в последнее время разучился смеяться, и всегдашняя его мрачная озабоченность даже пугала нас. Еще осенью немцы взорвали сельскую церковь и нашу ветряную мельницу, посчитав, не без оснований, что они служат хорошими ориентирами для советской авиации и артиллерии. Жернова с ветряка свезли в старый амбар, что стоял неподалеку от кладбища, туда же доставили движок. После этого в нашей землянке появился Миша Сютев, староста.

— Придется тебе, Алексей Иванович, за мельника поработать, — сказал он отцу.— Других специалистов нет, знатоков, так сказать, а коменданту известно, что ты на все руки мастер.

— Да чтоб я! На немцев! На этих сукиных сынов!..— взвился отец и, подойдя вплотную к

Сютеву, белея щеками, спросил:— Ты обо мне коменданту рассказал? Ну!

Староста выдержал его взгляд.

— Возьми себя в руки, Алексей Иванович, чай, не маленький. Умный ты человек, а разоряешься понапрасну... Зерно молоть не только немцам придется — оно и нашим нужно. Сколько солдаток с детьми осталось по селу! Подумай об этом. А откажешься — под ружьем тебя на мельницу отведут.

— Уйди с глаз моих,— тихо попросил отец, опускаясь на скамью. Он еще не совсем тогда оправился от тифа, и вспышка гнева обессилила его вконец.

Сютев молча притворил за собой дверь, а на другой день пришли к нам два солдата с автоматами и повели отца на мельницу. В помощники ему, мотористом на движок, привели, тоже под конвоем, Виктора Каневского, того красноармейца из нашего села, что выходил из окружения с группой сибиряков. Товарищи его подались-таки из Клушина пробиваться к своим, а Виктору, слышно было, не то внезапная болезнь помешала, не то еще что. Застрял.

За их работой на мельнице немцы следили самым тщательным образом. Отец жаловался:

— Целый день фриц над душой висит. Туда не ходи, этого не делай, чтоб ему огнем сгореть...

Иногда он все же умудрялся принести в карманах горсть-другую муки. Для нас это был праздник — что-нибудь вкусное из этой муки мама наверняка изобретет! Но отца его обязанности мельника угнетали. В сердцах клял он свой тиф, который помешал нам уйти из села, свою больную ногу, которая не дала ему возможности служить в армии в гражданскую войну, в финскую кампанию, освободила по чистой от призыва и летом сорок первого...

— Как же огород-то поднимать будем?— спросила мама.

— Придется...

Отец взглянул на Юру, на Бориса и осекся. Я понял, что он не договорил: придется запрягать в соху Зорьку, нашу кормилицу и поилицу. Чудом пережила она эту зиму, почти все сено с осени выгребли немецкие солдаты для своих тяжеловозов, едва-едва стала набирать силу на молодой травке, а вот теперь — в соху ее!

Попробуйте сказать об этом при Юре...

Вот и запрягли в соху нашу добрую Зорьку.

Мелко и часто дрожали ее худые рыжие бока, и, удивленная, не привычная к такого рода труду, она все крутила головой, мычала жалостливо — укоряла хозяйку.

Мама ухватилась за оброть, я налег на чапыги.

— Пошли, милая!

Корова сделала шаг, другой — соха чуть подалась вперед, неглубоко копнула землю. Да и не копнула даже — так, ковырнула.

— Ну, Зоренька, ну, милушка,— уговаривала мама со слезой в голосе и, с силой дергая оброть, показывала из руки кусок черствого хлеба...— Ну, иди же, голубушка.

«Голубушка» стала, потупила голову и — ни с места. Не шла Зорька.

— Н-но, зараза фашистская!— замахнулся я кнутом, и жалея корову, и мучаясь этой жалостью.

Кто-то камнем повис на моей руке.

— Не бей ее, Валь! Не бей...

Юрка?! Откуда он взялся тут? Ведь мама, все предвидя, сразу же, едва порезали картошку, прогнала его и Бориску в луга, за щавелем.

Борис стоял тут же, за спиной у Юры, держа в руках котелок с водой. Это они принесли нам попить.

Я прикрикнул на брата:

— Уйди, Юрка, от греха подальше. Огрею кнутом.

Он не ушел. Обнял Зорьку за голову, прижался щекой к ее влажным губам.

— Зачем вы ее запрягли? Зачем вы ее мучаете? Она же молоко давать не будет.

— Много ты его видишь, молока? Все немцы забирают,— вскипела мама.

— Мне Зорьку жаль.

— А мне не жаль?

Мама вдруг опустилась на землю и заплакала громко.

— Юра,— сказала она, всхлипывая,— сынок, ведь нам кормиться надо. Не засеем огород — зимой с голоду помрем. Да где же тебе это понять?.. Мать хоть пополам разорвись, а накорми вас... Каждый день небось есть просите!

Юра вспыхнул, губы у него задрожали:

— Ладно, пашите, я лучше не буду смотреть.

Они с Борисом ушли, но дело от этого не продвинулось ни на шаг. Как ни понукали, как ни подгоняли мы Зорьку — не шла она в упряжке.

Отчаявшись, измученные вконец, выпрягли мы бедную корову из сохи и впряглись в нее сами: мама, Зоя и я. Тут немцы проходили мимо — остановились, пальцами в нас тычут, хохочут. Один фотоаппарат вскинул — снимает.

— Как хотите,— сказал я матери и сестре,— как хотите, а я так не могу. Чтобы они смеялись, эти гады...

Пришлось взять в руки лопаты. Хотелось вспахать побольше, да уж ладно: коли такое дело, сколько всковыряем, столько и хватит. Но понемножку, помаленьку, через пятое на десятое, а подняли мы наш огород, посадили картошку, небольшую делянку рожью засеяли.

Если б знать заведомо, сколько горя принесет нам эта рожь...

«Мины» на дороге

Отец что-то долго искал во дворе, потом заявился в землянку, держа в руках ящик из-под гвоздей. Ящик был пуст.

— Что за чудеса? Куда это они запропастились?

Гвозди отцу были нужны, что называется, позарез: от взрыва бомбы, той самой, которая так некстати пощадила Черта, осела, грозила обрушиться на головы крыша землянки. Сейчас мы ставили подпорки, подшивали к потолку тесинки.

Куда запропастились гвозди — никто не знал, поэтому все промолчали. Только мама высказала предположение:

— Наверно, Черт перетаскал все.

— Зачем они ему?— резонно возразил отец.— Юрка,

сознавайся, твоя работа?

Юра сидел на нарах в углу, рассказывал Борису сказку о злом сером волке и трех доверчивых поросятах.

Брал я немного,— недовольный тем, что его перебивают, отозвался Юра.

— Так тут ни одного не осталось, это как объяснить?— рассердился отец.

Юра молча пожал плечами: при чем, мол, тут я?..

В это время, как на грех, в землянку влетел Володя Орловский. Закричал от дверей:

— Скорей, Юрка, там целая колонна машин идет. Бе...

Юра сделал страшные глаза, и Володя поперхнулся, замолчал, неловко затоптался на пороге. Карманы штанишек у него подозрительно оттопыривались, что-то держал он и за пазухой в рубахе.

— Поди-ка сюда, голубчик,— позвал его отец.— Покажи-ка мне, что ты в карманах носишь?

Володя отступил было к дверям, но отец успел перехватить его, крепко взял за плечо:

— Давай-давай, не стесняйся.

— Показывай уж, чего там,— угрюмо посоветовал Юра: он сидел, не глядя на отца, и закручивал угол тюфяка.

Володя засопел, достал из кармана грязную тряпочку — что-то было завернуто в ней. Отец встряхнул тряпку — скрученный из трех вершковых гвоздей, лег на его ладонь «ерш».

— Вот они, гвоздочки!— почти обрадовано сказал отец.— А я-то, старый дурак, весь двор перерыл. Глянь-ка, Валентин, до чего додумались, стервецы: шляпки поотбивали, а концы заточили. Умно. Сколько ж у тебя таких штук?

Володя приободрился:

— Двенадцать.

— За пазухой тоже они?

— Ага.

— «Ага»! Тридцать шесть гвоздей загубили. А у тебя, сынок?— повернулся он к Юре.

— У меня нет — все у Володьки.

Отец, прихрамывая, прошел в угол, подвинул Юру в сторону, поднял тюфяк.

— Глупый ты, парень. Уколешь — на чем сидеть будешь?

Он достал из-под тюфяка десятка полтора «ершей» — точь-в-точь таких же, как у Володи.

— Это мины. Оружие,— нехотя объяснил Юра.— Военная тайна.

— Я понимаю, понимаю. Сколько ж машин «взорвали» вы на

своих «минах»?

— Одну пока,— деловито сообщил Володя.— Генерал в ней ехал, а заднее колесо напоролось и выстрелило, как из пушки. А генерал потом шофера ругал.

— Значит, генерал, никак не меньше?— задумчиво переспросил отец.— И давно вы этим занимаетесь, пиротехникой этой?

— С самой весны, еще грязь когда была.

— Тимофеевна,— ласково сказал отец,— дайка мне ремень, я их, мерзавцев, обоих выпорю, чтобы никому не обидно. Кому я толковал, что такие вещи с умом надо делать?

— А мы с умом!— вызывающе сказал Юра.— Мы идем по дороге и бросаем в пыль незаметно, а потом смотрим издали, как машины едут.

— «С умом, с умом»!.. А карманы оттопыриваются у кого? А добра перевели сколько! Где его ныне достанешь, такой гвоздь?

У отца в голосе и злость, и слеза.

Мне стало жаль незадачливых конспираторов.

— Гвозди выпрямить можно. Дел-то — пустяки.

Но на отца «накатило» — он перешел на крик.

— В яму, сейчас же все в отхожую яму выбросить. Слышишь, Валентин? А этого соловья-разбойника,— показал он на Юру,— на улицу больше не выпускать. Пусть Зоя грамотой с ним займется, а то он, поди, все буквы перезабыл, дурака валяя.

Возражать отцу в такие минуты бесполезно. Я собрал все ребячьи поделки, вынес во двор.

Когда отец ушел на мельницу, Юра подбежал ко мне:

— Где наши «мины»?

— В уборной, Юрок.

Братишка глубоко вздохнул.

* * *

Ближе к вечеру заглянул в землянку Качевский.

— Валентин, поди-ка на минутку, потолковать нам надо.

— А отец где?— спросила мама.

— Ковыляет помаленьку. Обогнал я его.

Мы ушли в огород.

— Слушай,— таинственным шепотом сказал Качевский.— Ты про партизан слыхал что-нибудь?

— Слыхал немного. В Белоруссии они...

— Говорят, у нас объявились. Слушай, я ночью пойду искать их. Хочешь со мной?

— Спрашиваешь!

Мы пожали друг другу руки, условились встретиться через час.

За околицу села выходили крадучись, чтобы не попасть на глаза немецким сторожевым. Маме я шепнул перед уходом, что ночевать, вероятно, не приду.

Всю ночь проблуждали мы с Качевским в лесу, полные надежды на нечаянную встречу с партизанами. Слева и справа от нас горела деревня — прилетал к нам ветер, и тонкие запахи леса были смешаны в нем с запахами сладковатого дыма, и отчаянный женский вскрик на высокой ноте иногда вплетался в него.

— Казнят народ, ироды!— сокрушался Качевский.

Не повезло нам — не встретили партизан. Вернулись в Клушино, обескураженные неудачей, невыспавшиеся.

А в полдень по селу прошел слух, что у деревни Фомищино партизаны совершили налет на мост, перебили немецкую охрану, а мост сожгли.

С этой новостью я заявился на мельницу.

— Не там искали!

Качевский мрачно и тяжело выругался.

— Идиоты мы с тобой, а я особенно. Надо же было соображать, в какую сторону идти!

Фомищино стояло на дороге в Гжатск, а мы пробродили ночь совсем в другой стороне — в окрестностях Шахматова и Воробьева, почти у линии фронта.

Когда я вернулся домой, Юра не выдержал — похвастался:

— Вчера еще одна машина на нашей «мине» накололась.

— На какой мине?— не понял я.

— А мы теперь бутылочное стекло на дорогу бросаем. Битое.

Наверно, надо было похвалить, а может, и поругать его, но не нашел я в эту минуту никаких таких нужных слов. Обидно было: вон и малыши что-то делают, как-то по-своему борются с врагом, а я, взрослый человек, днями отсиживаюсь в землянке, и забота лишь о том, чтобы не попасть на глаза немецким солдатам.

— Юрка,— сказал я,— знаешь что, Юрка. Возьми свои «ерши», они во дворе, на полке, где у отца рубанки лежат.

— Ух, Валька, молодец ты! Я так и знал, что не выбросишь.— Он повис на моей шее.

— Только папе ничего не говори, ладно?

Кто фашист?

Немчик был маленький, плюгавый, остроносенький и совсем безобидный с виду. В своем заношенном мундирчике он походил

на кузнечика, который по нечаянности заблудился и выскочил с луговины на широкую проселочную дорогу.

Он, этот немчик, подъехал к нашему огороду со стороны Гжатска. То ли жаркое солнце разнежило его, то ли дела службы не торопили, но немчик решил отдохнуть. Бочком соскочил он с высоких козел крытой повозки, неловко засуетился вокруг битюга-тяжеловоза, потом, кое-как справясь с упряжью, вывел его из оглобель, крохотной рукой пошлепал по вороному крупу.

— Гуляй себе,— разрешил, должно быть, немчик своему битюгу, а сам прилег в канаве, и цвет его мундира слился с цветом травы.

Возможно, он даже задремал.

Мама была шагах в пятнадцати — двадцати от немчика — окашивала края канавы. Так, надеялась она, можно будет хоть сколько-то корма заготовить на зиму для Зорьки.

Юра возился на картофельных грядах: выпалывал сорную траву. Ею не брезговали — куда там! Высушенные на знойном солнце пырей, осот, молочай, хрупкий и ломкий, конечно же нельзя было сравнивать с луговым сеном, но в корм скотине они годились. Тем более что тогда, по военному времени, мы и простой соломкой были бы рады питать Зорьку, но негде было ее, солому, взять...

Битюг побродил по канаве и, тяжело переставляя толстенные ноги, по грядам затопал к нашему сочно и вкусно зеленеющему островку ржи.

Юра загородил ему дорогу, замахнулся:

— Пошел прочь!

Битюг и ухом не повел, пер напролом, зато над краем канавы выросла вдруг голова в пилотке, натянутой на оттопыренные уши: немец с интересом наблюдал, что же будет дальше.

Юра уступил дорогу битюгу, закричал:

— Мама, он нашу рожь топчет!

Мама обернулась, быстро сообразила что к чему и, не выпуская косы из рук, бросилась наперерез битюгу.

— Но, скотина! Заворачивай же, черт упрямый...

Нагнулась, подняла комок земли, швырнула в настырного битюга. Комок пролетел мимо, но битюг вдруг повернулся и так же лениво, тупо побрел с огорода, вышел на дорогу, стал в оглобли и заржал. Немчик вырос из канавы целиком, но пошел не к повозке, а медленно, словно нехотя, приблизился к маме. Он был на голову ниже ее.

Молоденький, тщедушный, с конопатинами на лице, он смотрел на нее снизу вверх и добродушно улыбался.

Мама тоже растерянно улыбнулась в ответ.

— Ich bin Bauer auch!.

Тощим кулачком немчик ткнул себя в грудь, подтверждая и жестом свою принадлежность к крестьянскому сословию. Потом пальцами тронул лезвие косы, незадолго перед тем отбитой отцом, одобрительно кивнул, знаками показал, что хочет взять ее в руки.

— Да бери, бери. Соскучился небось по работе-то!— Мама протянула косу немчику.

Тот повертел ее в руках, прилаживая поудобнее,— инструмент был явно не по росту,— и вдруг размахнулся, широко и сильно.

— Ах!

— Руссиш швайн!— выкрикнул немчик со злобой и выматерился по-русски.

Мама упала буквально подкошенная: лезвие полоснуло ее по обеим ногам. В какие-то доли секунды земля окрасилась кровью.

Юра подскочил к немчику, не помня себя, вцепился в полы его мундира, рванул. Отлетела вырванная с мясом пуговица.

— Ух, фашист, гад!

Немчик ударил Юру ногой в живот — и тот упал на землю. Снова сверкнуло на солнце лезвие косы.

— Беги, зарубит! — истошно закричала мама.

Тут немчика окликнули. Он обернулся, торопливо бросил косу на землю: на дороге стоял мотоцикл с коляской, и к нему, высоко, по-гусиному переставляя ноги, шел офицер в очках. Немчик вытянулся во фронт, отдал ему честь, залопотал что-то, показывая на Юру и на маму, которая сидя рвала на себе нижнюю юбку и обвязывала порезы на ногах. Кровь не унималась.

Холодно выслушав немчика, офицер наклонился, приподнял Юру, поставил его на ноги и, строго глядя на него, произнес небольшую речь, смысл которой сводился к тому, что фашист — это «итальяно зольдат», а германский «зольдат» совсем не фашист, он — национал-социалист.

— Поняль?— бесстрастным тоном поинтересовался он у Юры и, показав на потерявшую силы маму, которая пыталась и не могла подняться на ноги — так много ушло крови,— добавил:— Матка лечить надо. Звать люди надо. Поняль? Бежать к люди. Шнеллер!

Он что-то сказал немчику, похожему на безобидного кузнечика, и тот резвой прытью бросился на дорогу, принялся торопливо запрягать своего битюга.

— Aufwiedersehen!— попрощался офицер с Юрой и ушел к мотоциклу. Коричневое поплыло из-под колес облачко пыли.

Юра с криком бежал к землянке.

...Когда приспело время жатвы, староста в сопровождении немца из комендатуры обошел все землянки.

— С утра на работу, хлеб косить,— повторял он везде одно и то же.

Мама долго не могла оправиться от ранения — ее оставили в покое. А мне и Зое пришлось выходить в поле.

Вся колхозная озимь, весь урожай, на который так надеялись жители Клушина,— эти надежды тесно переплетались и с надеждами на скорый приход Красной Армии,— весь урожай подобрали немцы. Даже солому и ту развезли они по своим конюшням.

Не пощадили немцы и личные огороды: с нашего участка ржи нам не досталось ни зернышка. Ничего, кроме страданий и крови, не принесла нам эта рожь...

ГЛАВА 12
Прощай Родина!

Листовка

Ее принес в землянку Юра.

...Смеркалось, когда пролетел над селом самолет. Уже по звуку моторов мы безошибочно определили: наш! Смеркалось, и все же достаточно светло было, чтобы разглядеть, как отделились от самолета какие-то свертки, веером рассыпались в воздухе и пошли, пошли кружить над селом.

— Листовки!— догадались мы.

Очень хотелось выскочить на улицу, схватить одну — хотя бы одну!— и принести в землянку. Но по селу уже звучала грубая немецкая брань, кое-где раздавались короткие автоматные очереди. За чтение советских листовок гитлеровцы карали смертью.

А Юрке просто-напросто повезло: он катался на лыжах за околицей, и листовку на заснеженные луг принес порыв ветра. Братишка подобрал ее, сложил в несколько раз, сунул в варежку и помчался домой.

— Папа,— срывающимся голосом, трудно переводя дыхание, сказал он с порога.— Смотри, что я нашел.

Листовка!

Из многих тягот, которые принесла с собой оккупация, самая невыносимая — безвестность. Отрезанные от всего света, мы не могли слушать радио, читать советские газеты. О том, что творится на нашей земле, где проходят линии других фронтов, как помогают — и помогают ли?— нам союзники, только гадать приходилось. Правда, выходила в Смоленске газетенка на русском языке, и подписи под корреспонденциями, опубликованными в ней, были отнюдь не немецкими. Фашисты насильно распространяли ее среди населения. Но так беззастенчиво брехлива была она, так. примитивно и тупо врала, расписывая с подобострастием пресловутый «новый порядок» на захваченной гитлеровцами советской территории, что даже местные полицаи откровенно смеялись над ней. Мало кто читал эту газетенку, еще меньше верили ей, в лучшем случае шла она на самокрутки — с бумагой было скверно...

Уже второй год топтали смоленскую землю гитлеровские оккупанты. Миновало знойное лето, колючая и неприветливая, сгорела в пожаре багряной листвы, в потоках дождя осень. И вот

уже наступил февраль сорок третьего — голодного и трудного года. Фронт, как и месяцы назад, проходил по старой линии.

Не приближался фронт — на месте стоял.

«До каких же пор?— думали мы.— Когда наконец придет управа на фашистскую нечисть?»

Безвестность терзала больше всего...

— Папа, смотри, что я принес!

Юра стащил варежку с иззябшей руки, извлек из нее многократно сложенную бумажку.

Я навесил одеяло на оконце, засветил каганец, набросил крючок на дверь.

— Читай,— приказал отец Зое.

Мы сгрудились у стола. Каждому не терпелось подержать листовку в своих руках, увидеть, что там в ней, в этой нежданной и такой дорогой весточке «оттуда», с Большой земли.

Сверху, по срезу продолговатого листка, набранная черным шрифтом, отчетливо выделялась строка: «Смерть фашистским оккупантам!» Под этим лозунгом — рисунок: гора из человеческих черепов, а на ней сидит хищная птица с мордой Гитлера.

А дальше в листовке сообщалось о сокрушительном поражении фашистских войск под Сталинградом.

Зоя читала шепотом, слушали мы ее затаив дыхание, вбирали в себя каждое слово и все же не сразу поверили в содержание листовки.

— Перечти-ка еще разок, дочка,— попросил отец,— и помедленней, поторжественней. А то шпаришь, как пономарь в церкви... Тут дело серьезное.

И во второй раз перечитали мы листовку.

— Ну, теперь погонят фрица с нашей земли, теперь ему не удержаться, раз от Волги поворот дали,— подвел итог отец. И, не в силах сдержать охвативших его чувств, пустился в длинные рассуждения о том, что во время гражданской войны именно у стен Царицына начался закат белых армий.

Конечно же в то время мы не могли понять всей важности, всего исторического значения Сталинградской битвы, но и мы почувствовали, что победа наших войск на Волге ускорит разгром гитлеровских банд.

Зима в том году выдалась снежной, как никакая другая. В полях крутили бураны, беспрестанные метели заносили дороги, под тяжестью снега обрывались телеграфные провода.

Жителей села, и молодежь и стариков, ежедневно под

конвоем выгоняли на расчистку дорог. Командовал конвоем фельдфебель,— говорили, что он из разжалованных офицеров, и еще говорили, что он неплохо владеет русским языком, но никогда не пользуется им в общении с местными жителями,— завзятый нацист, дико ненавидевший все русское и всех русских.

— Слыхал о Сталинграде?— спросил меня Володя Белов, когда с лопатами в руках пристроились мы в хвосте колонны, чтобы идти на отведенный нам участок. Лицо у Володи так и светилось.

— Слыхал,— ответил я.

Он пожал мне руку.

— Сейчас я разыграю этого фрица. Погоди-ка...

Я не успел остановить Володьку: он выбежал из колонны, приблизился к начальнику конвоя:

— Герр фельдфебель, могу я обратиться к вам?

— Ja?— удивился тот и замедлил шаги.

— Разрешите огоньку, герр фельдфебель?

Против ожидания, немец сунул руку в карман, достал зажигалку, щелкнул ею. Володя прикурил.

— Спасибо. А что, герр фельдфебель, дали вам огоньку под Сталинградом?

Фельдфебель вызверился на Володю, раздумывая, видимо, что сделать с этим нахальным русским, как наказать его за дерзость. Потом устало махнул рукой:

— Ступай в колонну. И советую больше помалкивать.

Так мы убедились, что разжалованный в низшие чины нацист и в самом деле неплохо владеет русским языком.

Пожар на мельнице

— Горит! Школа горит!

Я выскочил из землянки на Юркин голос. Что-то в самом деле горело на взгорье: день безветренный, чистый, с крепким морозом и ясным солнцем, и издали виден столб голубого дыма.

— Бежим!

Побежали напрямик, через огороды. Горела не школа — мельница горела.

— Там папа!—крикнул Юра.

— Не видно его что-то.

Отца действительно не было видно. Спиной к нам у амбара стоял Качевский, равнодушно наблюдал, как розовое пламя торопливо мечется по стенам, как прыгают, пытаясь зацепиться за кровлю, багряные «петухи».

Но вот взвыла сирена пожарной машины. Заслышав ее,

Качевский прошел в амбар, вынес оттуда лопату и принялся швырять снег в огонь. Прихрамывая, выбежал из амбара отец с пустым ведром, направился к колодцу.

Когда мы подбежали к мельнице, немцы пожарники уже разобрали шланги, тугие струи воды схлестнулись на языках пламени.

Минут двадцать боролись они с огнем, и пожар отступил.

Мельница стояла черная, с провалившейся крышей. Движок — хозяйство Качевского — тоже изрядно пострадал: сгорела металлическая обшивка, обуглились, превратились в пепел приводные ремни.

Тут как раз подъехал на легковушке комендант гарнизона — грузноватый, туго обтянутый ремнями офицер. Вслед за ним из машины вышли переводчик — молодой, невысокий и белобрысый очкарик, и финн Бруно.

О Бруно стоит сказать особо. Двухметрового роста детина, неулыбчивый, точнее, мрачный даже, он везде и всюду тенью следовал за комендантом: врозь их никогда не видели. Кроме обязанностей телохранителя финн выполнял и другие, столь же щекотливые: числился палачом при комендатуре. Те из местных жителей, кого «кропил» он розгами, издали завидя Бруно, старались дать крюка: лишь бы не встретиться с ним.

Два или три раза в финна, по ночному времени, стреляли, но, к сожалению, промазали. И свирепости в нем прибавлялось после каждого покушения.

Несдобровать теперь отцу и Качевскому!

Мы стояли в стороне, в реденькой толпе мужиков и баб, и сердца наши замирали в предчувствии того страшного, что неизбежно последует сейчас. Юра крепко вцепился в мою руку: я чувствовал, что его бьет крупная дрожь.

Комендант ждал, опершись локтем на радиатор машины. Немец-брандмейстер подтолкнул к нему отца и Качевского: они стояли, понуря головы, молчали. Неслышно ступая, подошел к ним Бруно, остановился за их спинами.

Комендант с маху ударил кулаком по надкрылку, брызгая слюной, закричал что-то яростное.

— Герр комендант утверждает, что пожар на мельнице — это политическая акция, сознательное вредительство, диверсия,— зачастил очкастый переводчик.— Герр комендант уверен, что вы, — ткнул он пальцем в отца,— и вы,— палец уперся в грудь Качевскому,— являетесь пособником партизан, и оба будете наказаны. Вас обоих следует расстрелять.

Я искоса посмотрел на Юру: лицо у него было белее мела.

— Вы служили в Красной Армии?— спросил переводчик

Качевского.

— Хворый я, желудком маюсь, освобожден по чистой,— разжал зубы моторист.

— Это мы проверим.

Отец вскинул голову, пристально глядя на коменданта, глуховато сказал:

— Какие же мы партизаны? Вот я, к примеру. У меня детей четверо, неужто я враг себе — оставлять их сиротами.

Белобрысый перевел эти слова, что-то, видимо, добавил от себя, потому что говорил он длинно и очень убежденно. Комендант понемногу остывал.

— Так почему же возник пожар?

Качевский сделал шаг вперед:

— Извольте посмотреть, господа начальство. Скирд соломы стоял поблизости от выхлопной трубы. Искра попала в солому, ну и запалила...

— Какой идиот сложил здесь солому?

Качевский молчал.

— Я спрашиваю! Ну!

— Простите, господин комендант, но привезли ее сюда ваши же солдаты. Я им еще тогда говорил, осенью, что непорядок это, пожар может быть. Вот оно...

Комендант кивнул Бруно — тот отошел к машине, открыл дверцу. Поставив ногу на крыло, комендант отрывисто давал какие-то указания.

— Мельницу восстановить в течение недели,— переводил белобрысый очкарик.— И вот что, Гагарин, вы тут старший — вам и отвечать за все. За малейшую провинность расплатитесь жизнью. Учтите, армии не хватает бензина, поэтому вместо двадцати литров будете получать на нужды мельницы десять. Обслуживать вы должны только немецкую армию. Понятно?

— Понятно,— хмуро отозвался отец.

— Считайте, что вам повезло,— добавил переводчик от себя, усаживаясь в машину.

Комендант уехал. Смотали шланги и укатили пожарные.

Качевский вдруг сел на грязный, испятнанный копотными следами снег, растерянно, как-то по-детски улыбнулся.

— Ты чего, Виктор?— нагнулся к нему отец.

— Во рту пересохло.— Виктор схватил пригоршню снега, отправил в рот и принялся медленно пережевывать его.

Отец свернул самокрутку, задымил. Юра подбежал к нему, потянул за рукав.

— Ты, сынок?— совсем не удивился отец.

— Пап, пойдем домой скорей, я боюсь.

— Теперь чего ж бояться,— невесело усмехнулся Качевский. — Горячка с фрица сошла. Теперь к стенке до новой провинности не поставят. Что ж, ремонтировать, значит, начнем, Алексей Иванович?

— А куда спешить?

— Неужто от искры вспыхнуло?— спросил я Качевского.

— А что, здорово полыхало?—уклонился он от ответа.— Дайка махорочки щепотку, Алексей Иванович.

Минула неделя, началась вторая, а движок на мельнице все молчал. Отец и Качевский неспешно перекрывали кровлю, тянули и волынили как могли, надеясь, что теперь-то, после Сталинграда, немцы не задержатся и в Клушине. Все чаще проходили на запад через село измотанные в боях, потерявшие свой бравый вид гитлеровские соединения, почти каждый день тащились в тыл обозы с искореженной на полях боев техникой.

Комендант прислал на мельницу белобрысого переводчика.

— Это саботаж, Гагарин, вас расстреляют,— бесстрастно сказал очкарик.— И вас, и вашего помощника. Кстати, он скрыл от командования свою службу в Красной Армии.

Дознались-таки. Кто-то продал, видать...

После этого — делать нечего!— пришлось подналечь. Дня через два или три движок застучал.

Субботним полднем на пороге амбара появилась Саня. Та самая смазливая бабенка, что в день прихода немцев в Клушино вышла встречать их с курицей в руках.

— Алексей Иванович, там у дверей мой мешочек с зерном. Так ты учти: ждать мне недосуг.

Отец хмуро посмотрел на нее.

— Не могу. Приказано молоть только для армии.

— Странный ты человек, Алексей Иванович. У меня небось сам господин комендант на квартире стоит.

— Все равно ты баба в юбке и...— отец вставил хлесткое словцо,— а не германский солдат. Я ж исполняю приказ коменданта.

— Ах, так! Знаем, кому ты потрафляешь... Большевиков ждешь не дождешься...— Саня хлопнула дверью.

Не учел отец в запале, что эту самую Саню комендант не выселил, как прочих жителей села, из дома в землянку — вместе с ней квартиру делил, и что перед ней даже местные полицаи заискивали.

Короче, кончилось все плохо. Пришли на мельницу финн Бруно и солдат, отвели батю в комендатуру, и там Бруно — по личному распоряжению коменданта — всыпал ему два десятка палок.

О том, что отца повели на экзекуцию, нам сказал Качевский.

— Забьет его этот гад насмерть, одним ударом хребтину переломит,— неуклюже посочувствовал Качевский.

Мы с Юрой побежали к комендатуре. Стояли на морозе, ждали.

Батя вышел из ворот, плюнул и, хромая пуще прежнего, не видя нас, заковылял к дому.

Юра догнал его.

— Больно тебе?

Отец положил ему руку на плечо, сказал глухо:

— Ничего, сынок, отольются им наши слезы.

Я шел сзади и видел, что рука у него дрожит и идти ему трудно. И, наверно, скрывая горечь обиды и унижения, стыдясь того, что проделали над ним, он вдруг примедлил шаг, повернулся ко мне:

— Болтали о Бруно всякое... А он — тьфу!— и вдарить-то как следует не может. Так, погладил маленько...

Ночью, когда все улеглись на нарах, отец, думая, что мы спим, говорил маме:

— Теперь-то я ее умнее спалю. Дай только момент подходящий выбрать...

В неволю

— Валя, они убьют тебя, ты лучше убеги по дороге. Убеги от них, Валя!

Юрка припал ко мне и не шепчет — нет, кричит во весь голос: «Убеги! Убеги!» — но никто, кроме меня, не слышит его крика в этой гомонящей, стонущей, плачущей толпе. Здесь у каждого свое горе, свое несчастье, и никому нет дела до других.

Я чувствую на своих губах соленый привкус его слез, слышу, как часто и неровно бьется его сердце, наверное, и сам плачу, потому что все окружающее видится мне неотчетливо, туманно.

Мама сует мне в руки узелок:

— Тут пышки, Валя, и яички.

А у меня руки заняты, я Юрку держу на руках, и узелок падает на землю, и кто-то, не заметив, наступает на него — раз и два. Громко хрустит яичная скорлупа.

У отца посеревшее, осунувшееся лицо. Он молчит — не идут с языка слова.

Бориска тянет ко мне ручонки: он не все еще понимает, но чувствует — какая-то беда стряслась, и тоже плачет.

Нет только Зои — сестра отсиживается дома, боится ловушки.

Мама не совсем оправилась от ран, от тех самых, что нанес ей гитлеровец косою. Она и сюда добрела с трудом. Ей стало дурно, но никто не в состоянии помочь, и воды нет, чтобы освежиться.

Мы закрыты, заперты во дворе комендатуры — в четырех высоких, обтянутых колючей проволокой стенах забора.

Мы в клетке, из которой нет выхода. Немецкие солдаты с оружием в руках сторожат каждое наше движение.

«Герр комендант» проявил, по собственному его признанию, «мягкосердечие»: разрешил родным проститься с теми, кто обречен на угон в фашистскую неволю.

Обидно оттого, что нас, в общем-то, обманули, как слепых котят. Вечером в землянку нагрянул участковый полицай.

— К девяти утра приходи в комендатуру,— сказал он мне.

— Зачем?

— В Гжатск поедешь, собирают парней твоего возраста. Заносы там сильны — денька три-четыре придется повкалывать.

Накануне и в самом деле сильная гуляла метель, и снега навалило вровень с крышами. Полицай говорил серьезно — может, и сам он не знал всей правды?— и я поверил ему.

Тревога закралась в душу, когда с крыльца комендатуры меня проводили во двор, где уже маялись в тоскливом ничегонеделании десятка три ребят.

А потом к нам вышли комендант и белобрысый переводчик. Нет, они не обещали золотых гор в Германии, как это было в первые дни фашистской оккупации: тогда и зазывные плакаты, и заголовки газет, и немцы пропагандисты сулили всевозможные блага тем из молодых людей, кто согласится добровольно поехать в их «фатерланд». Комендант был краток и четко объяснил через переводчика, что все мы мобилизованы в специальную часть, что этой части — он даже многозначный номер ее назвал — надлежит сопровождать в Германию какой-то обоз и что, если кто-то из нас задумает дезертировать по дороге, здесь, в Клушине, будет расстреляна вся его семья.

На ночь по домам нас не отпустили. А утром, перед тем как выходить нам в Гжатск, родственникам разрешили свидание с нами. На это время в комендатуру вызвали дополнительную охрану.

— Они убьют тебя, Валя, ты лучше убеги от них по дороге...

Только это и твердит Юра, забыв обо всем на свете, прижимается ко мне, а мне и самому страшно оторваться от него.

Я держу его на руках как маленького, а ведь он давно уже не маленький, он здорово вырос за два военных года — ему коротко старое пальтишко, и кисти рук нелепо торчат из рукавов.

Он не только вырос, но и повзрослел и, в отличие от Бориски, все уже хорошо понимает: скоро ему исполнялось девять лет...

Девять лет назад, в серенький мартовский день тридцать четвертого, мы с отцом поехали в Гжатск, в больницу. Мама вышла на крыльцо роддома, закутанная в шубу, держа в руках пухлый сверток из голубого и белого.

— Вот это твой братишка,— сказал мне отец.

— Покажи,— попросил я маму.

Она, похудевшая и радостная, засмеялась в ответ:

— Ишь какой шустрый! Нельзя, застудим парня — ветер-то вон какой. Дома насмотришься.

Дома развернули голубое и белое. «Парнем» которого боялись застудить, оказалось краснокожее и узкоглазое существо, к тому же довольно горластое. Оно, это существо, сучило ножками и требовательно кричало.

— Хорошенький?— ревниво спросила мама.

Зойка — что взять с девчонки, которая с утра до вечера возилась с куклами, играла в дочки-матери,— захлопала в ладоши, запричитала:

— Ой какой чуднюсенький!

И полезла нянчить, но мама не доверила сразу.

А я отмолчался тогда. Не очень-то пришелся он мне по душе, этот горластый краснокожий крикун. К тому же я, тогда уже девятилетний мальчишка, понимал, что много хлопот, возни, беспокойства предстоит мне с ним. Отец и мать днями на работе, за няньку-то мне оставаться!

Не знаю, какой был я нянькой, но из этих хлопот, из этого беспокойства, несмотря на разницу в возрасте, и выросла наша привязанность друг к другу...

— Валя, ты убеги от них!

— Убегу, Юрка, конечно же убегу,— кричу, и в этом гомоне, плаче, стоне только он один слышит меня.

Колонна получилась длинной: впереди гнали людей, за ними, то есть за нами, скотину. Коровы, овцы, свиньи — все то из личной животины, что еще каким-то чудом сохранилось у жителей Клушина и было теперь отобрано немцами. Где-то там, в пестром стаде, затерялась и наша Зорька. Напрасно мама сберегала сено для нее, напрасно морили мы себя голодом. Лучше б забили корову...

Нас гнали в Гжатск. В сущности, чем отличались мы теперь от животных, которые брели за нами, покорные и бессловесные?..

Чья-то мать пробилась сквозь цепочку охранников — на нее натравили овчарку.

— Мальчишку — он пытался что-то кому-то передать —

ударили прикладом.

Вот и наш дом.

Я не хочу смотреть на него. Знаю, все стоят у калитки. Знаю, долго будет бежать за нами, заламывая руки, мама, долго, пока не скроемся из виду, будет смотреть вслед отец и смолить одну самокрутку за другой.

«Ты убеги от них, Валя»,— слышу я Юркин голос.

— Убегу!— сжимаю я кулаки.

...В Гжатске каждого из нас посадили на повозки, запряженные подтощавшими за две военные зимы тяжеловозами, к каждому приставили немца охранника. Мне достался старик Иоганн — толстый, беззастенчивый обжора: положенную мне крохотную пайку эрзац-хлеба он аккуратно съедал сам.

И начался наш путь в Германию.

Еще в Гжатске я узнал, что днем позже в колонне девчат немцы угнали и Зою.

А через три недели, ночью,— Клушино к тому времени было свободно, ничто не грозило моим,— выкрав у Иоганна оружие, из белорусской деревни, где задержались мы на постое, я бежал в лес. После нескольких суток голодного и холодного блуждания по незнакомым местам наткнулся на нашу танковую часть.

Письмо из дому

Тень у танка призрачная, куцая, от лучей солнца — оно в зените, раскаленное, не по-вешнему пышущее жаром,— не спасает. Надо бы передвинуться под березки, в рощицу, туда, где прячутся от жары мои товарищи-танкисты, но усталость сильнее: заставляет оставаться на месте. Такая усталость, когда руки и ноги налиты свинцом и думать ни о чем не хочется, бывает после тяжелого боя. А мы проделали изнурительный марш, двое суток не спали, с ходу рванулись в атаку, выбили немцев из большого белорусского села и вот сейчас, отведя танки к рощице, ждем следующей команды. Машины не маскировали, не прятали — значит, долго не засидимся.

Отоспаться, что ли?

Я надвигаю пилотку на глаза, вытягиваюсь на зеленой, пахнущей хмелем и мятой траве и, кажется, задремываю. Сновидения мои беспорядочны и кошмарны, и я боюсь их больше, нежели боялся бы действительности, и не могу очнуться, размежить веки не могу... Обжора Иоганн бежит за мной с гранатой в руке и требует, чтобы я отдал ему плохонький пистолетик, украденный у него, и грозит расправиться со мной, а я не могу удрать: ноги отяжелели, не подчиняются мне...

Сердитый майор с глазами, тронутыми долгим недосыпанием,— майор из особого отдела — пытается понять, каким образом удалось мне бежать от немцев... И снова Иоганн — отнимает у меня кусок хлеба из пшеничной муки пополам с опилками, а я сам, сам хочу его съесть. И снова тот же майор, но теперь он провожает меня к танку, знакомит с экипажем: «Служи так, чтобы на совесть... У тебя свой счет к гитлеровцам...» А ребята в черных шлемах смотрят на меня строго и недоверчиво.

— Гагарин, Гагарин!

Меня трясут за плечо. Я Открываю глаза и очумело вскакиваю под хохот ребят.

— Ох и вопил же ты во сне, ох и дергался,— говорит водитель.— Словно тебя черти на костерке поджаривали.

— Дурное приснилось.

Рукой вытираю лоб — ладонь мокрая.

— Пляши, Гагарин, письмо тебе.

Я раскрываю треугольник без марки, и жадное нетерпение охватывает все мое существо. Первое письмо из дому с тех пор, как я под охраной эсэсовцев покинул Клушино. Валкие, неровные буквы, недописанные, со множеством ошибок слова. Рука отца: грамоту не пером — топором постигал. Но какое мне дело до ошибок!

«Добрый день или вечер, дорогой и многоуважаемый наш сынок и боец Красной Армии Валентин Алексеевич!..»

После этого обязательного в любом отцовском письме обращения — новым было только применительное ко мне: «...и боец Красной Армии» — шли сельские новости, скорбные и горькие: те-то получили извещение — сына убили на фронте, та-то умерла на второй день после освобождения Клушина («Хорошо, хоть до своих дожила, увидела перед кончиной»), тот-то вернулся домой без ноги. Возвратился из эвакуации Павел Иванович, мой дядя. Колхоз кое-как, с грехом пополам, справился с весенним севом, и «всходы, как говорит мать, очень даже показательные».

Но вот и то главное, ради чего я так нетерпеливо скольжу глазами по строкам:

«Еще сообщаем тебе, что сестре твоей Зое, как и тебе, выпало счастье убежать от проклятого немца, и сестра тоже пошла в красные бойцы и служит в кавалерийской части по ветеринарному делу».

Даже дыхание перехватило от радости. Ух, Зойка, сбежала-таки! Молодчина же ты...

«Я тоже служу в Красной Армии,— не без гордости сообщал отец,— но по причине моей хворой ноги и ввиду возраста

оставили меня в Гжатске при госпитале, в хозяйственной команде. А сегодня воскресенье, и ко мне пришла мать с твоими братьями, принесла твое долгожданное письмо, что ты жив и здоров и бьешь проклятую немчуру, и мы вместе пишем тебе ответ...»

После многочисленных поклонов от родных и знакомых, после наставлений, как уберечься от пули и простуды, как ладить с товарищами и слушаться начальство,— ясное дело, под мамину диктовку писано,— после пожеланий вернуться домой живым и невредимым шла подпись: «...твои любящие родители Алексей Иванович и Анна Тимофеевна и братья Юрий и Борис».

Я посмотрел на дату — две недели шло письмо.

А на обороте третьего листка — новые строки. Мне ли не узнать Юркиных букв — точно пошатнувшийся забор, косят слова в разные стороны:

«Дорогой брат Валя! Напиши мне, пожалуйста, когда кончится война? Я хожу в школу, учит нас Ксения Герасимовна. Мы собираем железо на танки и самолеты. Железа везде очень много. Бей сильнее фашистов. Я соскучился по тебе, и не забудь напиши, когда кончится война.

Твой младший брат Юра».

Я перечитал письмо и раз, и два.

— Что, хорошие вести, Гагарин?— полюбопытствовал водитель.

— Очень. Вот братишка интересуется, когда война кончится.

— Напиши, что скоро им, гадам, полный капут грянет. И добавь еще, что живого Гитлера в подарок привезешь.

— Оно бы и неплохо. Заместо собаки на цепь — сад сторожить.

Все это шуточки, конечно, а про себя думаю: чудак ты, Юрка. Откуда мне знать, когда она кончится, эта война? Но, по всему видать, скоро: мы гоним фрица, гоним. Так гоним, что сами отдыхать не успеваем. Вон комбат бежит к машинам, планшет колотит его по бедру. Жди команду в дорогу.

Ребята торопятся из рощи, от белоствольных берез, на ходу застегивают гимнастерки и комбинезоны, подпоясывают ремни.

Я — башенный стрелок на «тридцатьчетверке». Это грозная, могучая машина. И много боев у меня впереди, и радостью мщения фашистам горит моя душа.

— По танкам!— надрывая легкие, кричит комбат.

* * *

Больше чем на четыре года разлучила меня война с родными, с Юрой разлучила. Тому, что будет поведано в следующих двух главах, я не был свидетелем. И если я знаю что-то и хочу об этом рассказать — я знаю из услышанного от родителей: в их воспоминаниях война обычно занимала не последнее место; из писем — не всегда внятных, исчерканных строгой цензурой треугольников, полученных на фронте; из признаний самого Юрия Алексеевича знаю. Он здорово умел рассказывать — тут ему мамин талант передался, так здорово, что слушаешь — и вроде бы присутствуешь при том, о чем речь затеяна.

ГЛАВА 13
День рождения

Разведчики

Тра-та-тра...

Дробью рассыпался стук по оконцу. Проснулся отец, прислушался. Снова стучат.

— Мать, слышишь, что ли? Кто бы это?

— Кому же еще быть... Они. Детей угнали — теперь за нами явились.

Тра-та-тра...

— Да вроде бы стук не нахальный.

Не запаляя каганца, прошлепал отец босыми ногами по земляному полу, взял топор из угла, тихонько приотворил дверь.

— Кто тут?

— Свои, товарищ, советские.

Отец охнул, уронил топор.

Две нечеткие фигуры проскользнули в землянку, тонкий луч фонарика шаркнул по стенам, упал на нары, кольнул в глаза Юру, и тот приподнялся на тюфяке, ничего не понимая спросонок, протер глаза.

Засветилось крошечное пламя на тряпичном фитиле, и в колеблющемся свете все увидели вдруг незнакомых людей в белых маскировочных халатах.

— Небогато живете,— басом сказал один из вошедших.— Однако гостей принимайте. Разведчики мы.

Оба откинули капюшоны — и на шапках-ушанках блеснули пятиконечные звездочки. Мама засуетилась, захлопотала.

— Ой, ребятушки, дорогие, долгожданные! Сейчас я вам картошки отварю.

— Картошка с пылу да с жару кстати будет,— одобрительно откликнулся хозяин баса: пожилой, усатый красноармеец.— Давай, мать, затапливай свою кочегарку. За столом и потолкуем.

Его спутник, молодой, невысокий и скуластый паренек, бережно положил на нары заиндевевший автомат с круглым диском, стащил с себя меховые рукавицы — на каждой, для удобства, два пальца, подморгнул Юре:

— Просыпайся, браток, окончательно, двигай ближе. Чего стесняешься? Давно не видывал таких, как мы?

— Ага,— засмущался Юра.

— Ничего, браток, скоро привыкнешь к нам. Еще надоесть

успеем. Да ты не бойся, иди, иди — мы не кусаемся.

Пока закипала на печурке картошка, пока настаивался чай, заваренный душистой сухой травой, на лугу по летнему времени сорванной, отец и красноармейцы-разведчики вели за столом оживленный разговор. Неуклюже зажав в пальцах карандаш, отец вычерчивал на листке бумаги схему Клушина и ближайших к нему сел, вырисовывал какие-то кружки и квадратики.

— Тут у них танки,— приговаривал он и ставил над квадратиком печатную Т.— Тут комендатура размещается,— помечал он ненавистное ему учреждение заглавной К.— А вот здесь,— над кружочком возникла П,— здесь пушки замаскированные с длинными стволами.

— Добро.

Пожилой красноармеец свернул листок, спрятал его куда-то за пазуху. Пошутил:

— Тебе бы, хозяин, топографом к нам определиться. Складно ситуацию на бумаге изображаешь...

Мама принесла чугунок с дымящейся картошкой.

— Только уж извините, ребята, соли нет у нас. Год без соли сидим.

— Э, съедим за милую душу. Не великий пирог дорог, а прием душевный.

Отец уважительно, с одобрением смотрел на пожилого бойца, проникаясь к нему все большей симпатией: видать, потерла жизнь человека, а душу сохранила.

Юра наконец-то решился сойти с тюфяка, приблизиться к пожилому красноармейцу.

— Дяденька,— сказал он, — а я вас знаю.

Пожилой не удивился.

— Может, и знаешь. Только думается мне, приятель, что мы с тобой раньше не встречались.

— А вот и встречались. Вы у нас на ферме свинью закололи. И звездочку мне на память подарили.

Разведчик задумался надолго, глубокие складки прорезали лоб.

— Это когда же подарил?

— А когда через наше село от немцев бежали.

— В сорок первом, значит... Свинью, говоришь, заколол? Звездочку подарил тебе? Н-да... Нет, не припомню что-то.

— Вы тот самый,— настаивал Юра.— Я хорошо помню. У вас еще медаль была.

— Медалей, малыш, у меня много. И орденок есть. Только не при мне они сейчас.

— Потому как разведка — дело серьезное и секретное: ордена

и документы оставляем в части,— знающе пояснил молодой разведчик и тут же покраснел под пристальным взглядом пожилого.

— Да ты не огорчайся, хлопчик. Как зовут тебя? Юра? Иди ко мне, Юра, ближе иди.

Юрка залез на колени к разведчику, потерся щекой о его щеку. Растроганный боец достал из кармана кисет, свернул козью ножку, протянул кисет отцу:

— Закуривай, хозяин. Наш горлодер, моршанский. А что, Юра, не запомнил я нашу встречу — так это не беда. Отступали мы тогда, горе души жгло, в глаза людям не смотрели. Вот и вышла неувязка. Зато теперь славно встретились.

— Я тоже вроде бы вас припоминаю,— сказала мама.

Почти до рассвета просидели в землянке разведчики. И чай в зеленом чайнике заваривали не единожды пахучей травой, и о положении на фронтах переговорили, и союзников, которые не спешили открывать второй фронт, побранили, и всплакнуть успела мама, пожаловаться, что ее старших — сына и дочку — угнали в неволю фашисты. А потом Юра разохотился — принялся рассказывать, какие танки в селе, тяжелые и легкие, что за значки на них нарисованы, под крышами каких изб стоят немецкие пулеметы.

— Да ты мужик хоть куда! — восхищался молодой разведчик. — Вот придем в село — зачислим тебя в разведку. На полное довольствие, как положено.

Сказал — и снова покраснел, смутился. Должно быть, и сам он совсем с недавних пор привыкал к пайку разведчика.

А потом поднялись оба, попрощались:

— До скорой встречи!

— Когда же вас окончательно ждать?

— Ставь опару, хозяйка, к блинам как раз успеем,— отшутился пожилой. Погладив Юру по голове, сказал грустно: — Вот и у меня такой же пострел растет. Три года не видел. Доброе у тебя сердце, хлопчик, доверчивое к людям. Хорошо тебе на белом свете жить будет.

Они ушли.

Утром Юра, против обыкновения, проснулся поздно. Открыл глаза, долго и с явным недоумением оглядывал землянку. В скудной ее тесноте все было как всегда, как каждый день из двух почти лет немецкой оккупации. Земляные стены, земляной пол, печурка, сложенная из обломков кирпичей, стол из неструганых досок.

— Папа, они взаправду были или приснилось? — спросил он отца.

— Кто ж их знает, сынок,— усмехнулся лукаво отец.— Может, приснилось, а может, и заглянули к нам...

— Были, были, взаправду были...

Юра соскочил на пол и принялся тормошить Бориску.

Узелок с солью

Весь день прошел в нетерпеливом ожидании.

И наступила вторая ночь.

Снова припожаловали в землянку гости, но незваные: в хрупкую дверь с грохотом ударил кованый приклад, и проволочный крючок со звоном слетел. Отец не успел подняться с нар — в землянку ворвались немецкие автоматчики. Лучи фонариков, скользнув по стенам, по нарам, скрестились на отце.

— Партизанен?

Мама метнулась навстречу автоматам, раскинула руки, прикрывая собой отца, Юру с Борькой.

— Какой он партизан? Больной, хворый. Кранк, кранк...

Немцы возбужденно залопотали между собой о чем-то. К счастью, оказался среди них один из тех, кто в свое время нес дежурство на мельнице. Он узнал отца, и это спасло отцу жизнь.

Уходя, один из автоматчиков потянул со стола скатерку. Загремел, падая на пол, зеленый чайник, а скатерка исчезла за бортом солдатской шинели.

Пронесло!..

— Бегут они, что ли?

Отец торопливо оделся, выскочил на улицу.

Небо над Гжатском было окрашено в розовые тона. Где-то поблизости ухали взрывы — не то бомбы, не то снаряды падали в заснеженную землю. По улицам Клушина с горящими факелами в руках носились черные фигуры, похоже на призраки. Снопы искр вперемешку со смоляными брызгами взметывались из-под соломенных крыш. На взгорье, в центре села, уже горело несколько изб. Потрескивали автоматные очереди.

— Бегут, точно...

Отец прижался к углу избы, которую Альберт, по прозвищу Черт, вместе со всей мастерской покинул еще несколько дней назад, и в это время как раз на него вывернулся факельщик. Жаркое пламя ударило в лицо, опалило веки.

— Стой, ирод! Сгинь...— вне себя заорал отец.

Немец отшвырнул факел в снег, схватился было за автомат, но тут поблизости бухнул взрыв — снаряд, что ли, упал кстати,— и немец исчез так же молниеносно, как и появился.

Со стороны Гжатска, трудно переваливаясь на гусеницах,

прокатила огромная машина. Неподалеку от дома она остановилась на мгновение, выпустила из кузова с десяток солдат, и снова двинула вперед. Солдаты, будто ниткой привязанные к ней картонные куклы, зашагали следом, поминутно наклоняясь к дороге, что-то тщательно и надежно укрывали в снегу.

Легкая поземка пласталась за ними, заволакивала следы.

«Мины ставят, подлецы»,— догадался отец.

А снаряды падали все ближе и ближе, все точнее накрывали они беспорядочно бегущие группы немцев, мешали с землей и снегом автомобили, танки, повозки.

Отец долго наблюдал за машиной на гусеницах, приметил то место, где, закончив свою черную работу, снова погрузились минеры в вездеход, и вернулся в землянку.

— Вставай, сынок, работа есть,— расталкивая Юру, отец держал баночку с дегтем, кисть, два листа фанеры.— Пиши, диктовать буду.

...На рассвете в село входила Красная Армия. Бойцы издали замечали укрепленный на длинном, воткнутом в снег шесте табличку с надписью: «АСТАРОЖНО — МИНЫ!» — и шли не по дороге — по целине: так безопасней.

Второй шест с такой же табличкой стоял в полукилометре от первого, там, где немцы минеры снова сели в машину.

У крайней избы мальчуган в коротком, не по росту, пальтишке махал солдатам обеими ручонками. В белом полушубке, обтянутом скрипящими ремнями, подбежал к нему юный лейтенант.

— Кто это сделал, не знаешь, малыш? — показал он на шесты с табличками.

— Мой папа,— с гордостью ответил мальчуган.

— Родненькие!

— Желанные...

— Два года, почитай, под фашистом жили...

— Милый мой, дай-ка я тебя расцелую!

— Колюшку моего не встречал где, часом? Востроносенький такой и чернявенький, на тебя страсть как похож...

— Ну, хватит, хватит тебе, мать, а то и я заплачу.

— Бородищу-то отпустил, батя! Партизанил, что ли, али на клиросе пел?

— Да не здешний я — рязанский...

— Самого Гитлера, чай, и не пымаешь.

— Вишь чего захотел! Так он и дался тебе в руки.

...Клушино встречает освободителей.

Солдаты — свои, расейские: кареглазые и синеглазые,

чернявые и белявые, молоденькие совсем, нетерпеливые, и пожилые, степенные; солдаты, чуть-чуть незнакомые — отвыкли от них за два года, да и не носили прежде погоны на плечах,— переходят из объятий в объятия, подставляют губы и щеки для поцелуев, делятся с ребятишками сахаром и концентратами из вещевых мешков. И кто-то из них уже наяривает на гармонике, а кто-то утешает плачущую старуху — слезы радости и слезы скорби пролились сегодня в Клушине.

На площади, там, где раньше праздновали Первомай и Октябрь, там, где ершатся в этот день березовые кресты с надвинутыми на них касками, собрался митинг. Высокий статный полковник в папахе произнес зажигательную речь; и его слушали — внимательно и с наслаждением — и долго аплодировали ему. А потом полковник сказал неожиданно:

— Попрошу подойти ко мне Алексея Ивановича Гагарина.

Он принародно обнял засмущавшегося отца, троекратно расцеловал его:

— Солдатское тебе спасибо, товарищ дорогой, за то, что беду остановил, что мины показал на дороге. Многие бойцы тебе жизнью обязаны...

Мама, отец и Юра с Бориской возвращались с митинга домой.

— И солнышко-то по-новому засветило,— сказала мама.— Словно настоящая весна пришла. Праздник...— И вдруг ахнула: — Да ведь и то праздник, да какой еще! У тебя же, Юрушка, день рождения сегодня, именинник ты...

Навстречу им по обочине дороги по двое в ряд шли разоруженные полицаи. Конвоир с автоматом за плечом посасывал коротенькую трубочку, озабоченно смотрел прямо перед собой.

— Праздник, а Валюшки с Зоей нету с нами... Мама ожесточенно скребла полы в избе. Мужики — отец, Юра и Бориска — перетаскивали из землянки нехитрый наш скарб.

В дверь постучали, и на пороге появился молодой скуластый паренек в ватнике, в шапке-ушанке, с автоматом на плече.

— Здравствуйте, хозяюшка.

— Проходи, родненький. Присаживайся. Вот я тебе сейчас табуреточку от пыли обмахну...

Это был один из тех знакомых разведчиков. Печальным взглядом обвел он обшарпанные стены дома, забитое фанерой окно — то самое, куда влетел когда-то осколок бомбы, невесело усмехнулся:

— Теперь заживете. Посидел бы я, мать, да недосуг...

— А где же товарищ твой? — встревожилась мама. Паренек наклонил голову, пряча глаза.

— Убило его. На рассвете... Шальной осколок прилетел.

Он достал из кармана тугой узелок, не то из носового платка, не то из косынки связанный.

— Это вам. Соль тут.

Повернулся и пошел, и в дверях наскочил на него Юра.

— Дяденька,— закричал он и бросился на шею бойцу — с грохотом покатилась по ступенькам сковородка.— Здравствуйте, дяденька!

— Здравствуй, хлопчик.

Боец провел рукой по ершистым Юркиным волосам и ушел, не оглядываясь, не отвечая на его оклики.

— Мама, а где другой дядя?

— Некогда ему, сынок, в другой раз придет.

Мама беспомощно вертела в руках облепленный махоркой узелок с солью.

...В этот день Юре исполнялось девять лет.

Главное — живы!..

Поздним июньским вечером, когда Юра и Бориска уже крепко спали, порог дома переступили две немолодые измученные женщины. В то время нищета и голод поднимали с мест, гнали по дорогам сотни людей. Крайнюю в селе, одну из немногих уцелевших от огня, избу стороной не обходили: все, кто искал подаяния, непременно заглядывали сюда. И мама, привычная к таким визитам, не поднимая головы от шитья, сказала сущую правду:

— Нечего подать, родимые. Все уж, не взыщите — самим впору с сумой...

— Нюша! — тихо воскликнула одна из вошедших.— Иль не узнаешь?

Иголка выпала из маминых рук.

— Маня, сестрица! Тетя Надя!

...Тускл, неярок был свет коптилки на столе, за которым сидели женщины. Мария Тимофеевна, старшая сестра мамы, и тетя Надя вспоминали о том, как пережили они эти два года в Клязьме — подмосковном городке. Как с самого начала войны ничего не ведали о семье Гагариных, не надеялись, что и живы уже, но едва услышали в сводке Совинформбюро об освобождении Гжатска — надумали добраться до Клушина. До станции Бородино ехали в товарном поезде, а дальше — пешком, по лесным дорогам плутали. И волков они встретили, и сколько неубранных трупов в окопах лежит, и оружия понабросано всякого — ужас!..

Мама, в свою очередь, о своем рассказывала. О том, что осталась одна с Юрой и Бориской на руках: Валентин с Зоей скитаются бог весть где, Алексея Ивановича в армию призвали. Хорошо, хоть служить выпало поблизости — в Гжатске...

В ту ночь, казалось, слезам и сбивчивым рассказам конца-краю не будет. Первой тетя Надя опомнилась.

— Да что это мы, бабы, разнылись? — прикрикнула сердито. — Вот какие страсти перенесли, а в живых остались. Главное — живы! Чего ж плакаться теперь? Были бы кости, а мясо нарастет...

Когда, через малое время, женщины собрались восвояси, Мария Тимофеевна пригласила племянников:

— Приезжайте, ребятки, погостить в Клязьму. Там у вас сестрица и братец двоюродные, Надя и Володя. Подружитесь с ними.

Борис не ответил тетке — укрылся за спиной брата, промолчал, а Юра пообещал:

— Приедем. Выберем время и приедем. Я еще ни разу ни у кого не гостил.

Он будет частым гостем в доме Марии Тимофеевны, но много позже, когда станет учащимся Люберецкого ремесленного. И об этом речь впереди.

ГЛАВА 14
В преддверии победы

Три восклицательных

« Кукареку-у-у!»

Юра замедлил шаг, прислушался.

— В школу опоздаем,— поторопил Володя Орловский.

— Погоди! Слышишь, опять кричит.

— Да это балуется кто-то. Фрицы всех петухов слопали.

Но, громко захлопав крыльями, он вдруг взлетел на плетень поблизости от ребят, самый настоящий, взаправдашний петух в ярко-оранжевых перьях, со шпорами на ногах, с прозрачным обмороженным гребнем. Цепко покачиваясь на плетне, поднял голову к яркому весеннему солнцу и, ошалев от обилия света и тепла, снова провозгласил торжествующе:

« Ку-ка-ре-кууу!»

«С добрым утром!» — значит.

— Пойдем, Юрка. А то влетит.

— Здравствуйте, ребята,— окликнули их сзади. Обернулись на знакомый голос. Ксения Герасимовна, учительница.

— Здрассте...

— Не насмотритесь? — Ксения Герасимовна тоже приостановилась.— И как же ты выжил, Петенька, чудачек рыжий? Один на все Клушино. Чудо какое-то... А знаете, что он сказал вам, ребята? Не знаете? А он вот что сказал:

Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно...

Очень весело была настроена сегодня Ксения Герасимовна, и ребятам почему-то вдруг захотелось быстрее сесть за парту, открыть учебники, взять в руки карандаши. Сбив шапки на затылок, торопливо пошли в гору. А голосистый петух, радуясь тому, что уцелел, что идет весна, все кричал и кричал им вслед свое озорное: «Кукареку! Кукареку!..»

С октября сорок первого, толком не успев привыкнуть к школе, отвыкали они от нее. И сейчас в одном помещении собрались сразу все классы: с первого по четвертый. Мальчишки и девчонки, притихшие, расселись за партами.

— Пока вот так и будем заниматься, все вместе,— сказала Ксения Герасимовна.— Вас много, а я одна, и к тому же война еще не кончилась, и школу топить нам нечем. Так вот и будем заниматься — теплее так, и никому не обидно.

Ребята смотрели на учительницу и видели, как заметно постарела она за эти два года: горькие складки обозначились у рта, пряди волос поседели.

— Поднимите руки, у кого есть учебники, тетради...

Несколько рук взметнулись над партами.

— Две... четыре... шесть... Негусто,— вздохнула учительница.

За партой нерешительно поднялся Володя Орловский:

— Ксения Герасимовна, мне один боец книжку оставил. Можно, я по ней буду учиться?

— Ну-ка, покажи. «Боевой устав пехоты»... Но это же не учебник, Володя.

— У меня тоже такая есть,— похвалился Юра.

— И у меня... И я принес...— зашумели ребята.

— Вот как! — улыбнулась Ксения Герасимовна.— Тогда возьмем их, как говорится, на вооружение. Буквы и слова в уставе наши, советские, а для нас сейчас главное — научиться читать и писать. Буду задавать вам из устава.

Потом Ксения Герасимовна допытывалась, откуда ребята достали столько уставов. Объяснилось все очень просто: целую стопку этих пухлых книжечек ребята обнаружили в избе, где временно размещался штаб нашей части. Часть ушла на запад, кто-то из офицеров, по всей вероятности, забыл или посчитал ненужным тащить в трудную дорогу эти наставления. Ребята разобрали их по домам. А Володе Орловскому, точно, солдат-постоялец подарил устав.

...Вечером Юра сидел за столом и что-то сосредоточенно мастерил. Мама заглянула из-за спины, перепугалась: на столе поблескивали разряженные винтовочные обоймы, а Юра клещами вытаскивал из патронов пули. Ловко и быстро у него это получалось: р-раз — и готово, и порох аккуратно ссыпал на тряпочку.

— Ты убьешь себя. Перестань сейчас же!

— Не, мам, не бойся, это не разрывные — обыкновенные. Разрывные — те нельзя.

— Брось, Юрка, тебе сказано.

Юра смахнул капли пота со лба, деловито объяснил:

— Понимаешь, мам, это вместо палочек для счету. Мы все так делаем. Я девяносто штук пустых гильз набрал, а еще десяти не хватило. Спасибо Володьке — выручил.

Позже при свете коптилки он выполнял домашнее задание по

письму: высунув кончик языка от усердия, на листе газетной бумаги по тусклым печатным строкам чернилами, настоянными на саже, выводил крупно: «Красная Армия — самая сильная армия. Мы победим».

— Хорошо я написал, мам?

Мама долго вглядывалась в каракули, вздохнула, погладила Юру по голове:

— Хорошо, сынок.

— Нет, не так надо.— Он схватился за ручку...

— Юра Гагарин,— спросила на следующий день учительница, — почему ты в последнем предложении поставил три восклицательных знака?

Юра поднялся за партой:

— Чтобы наши скорее фашистов разбили.

Ксения Герасимовна улыбнулась:

— Ну, хорошо. Тогда помоги мне карту повесить. Сейчас я вам покажу и расскажу, где бьет врага Красная Армия.

И так уж повелось: с этого дня, вплоть до конца войны, Ксения Герасимовна начинала свои уроки с политинформации. Прочерченная красным карандашом линия фронта на карте каждый день надламывалась в сторону запада.

Апрельские ветры с хрустом доели последний снег, высушили дорогу. Подмытая вешней водой, обнажилась коричневая глина на склонах холмов, открылась во всем безобразии, учиненном войной, искалеченная земля: воронки от бомб и снарядов, ставшие болотами, искореженные остовы бывших когда-то грозными боевых машин, изломанные гусеницами и огнем окраины леса. Бои гремели далеко на западе, но война еще не ушла с смоленской земли.

По этой дороге, мимо деревень Затворово и Фомищино, мимо Трубина и Тетерь, Манькина и Свиноры Юра с матерью почти каждое воскресенье ходили в Гжатск, к отцу. Сразу после освобождения Клушина отца призвали в армию и тут же положили в госпиталь — дали знать себя болезнь ноги и застарелая язва желудка. Подлечив малость, определили служить в хозвзводе.

А сегодня суббота, в школе отпустили ребят пораньше, и Юра надумал проведать отца в одиночку. «Переночую и вернусь»,— уговаривал он маму. И уговорил.

— Ступай. Не заблудись только.

Пошел. Палка брошена на плечо, на палке — узелок с пышками из отрубей и вареной картошкой: отцу подарок. Четырнадцать верст — немалый для пешего человека путь, но,

когда идешь и думаешь не о верстах, а о чем-нибудь другом, интересном,— дорогу не замечаешь.

А думать мало ли о чем можно.

Вон жаворонок взметнулся из-под гусеницы мертвого бронетранспортера, повис над самой головой. Интересно, а может она, эта птаха, продержаться в воздухе с утра до вечера, чтобы не отдохнуть ни разу, не садиться на землю?

Вот голубенький подснежник прилип к обочине канавы. Сорвать его, что ли? Нагнулся — видит: не просто так растет подснежник — кольцом гранатным опоясан его стебелек.

Кольцо лучше зашвырнуть подальше, а подснежник срывать и вовсе не стоит. Жаль.

Сколько странных, нелепых и не совсем понятных вещей открылось по весне!

Перебирали в амбаре школьники семена, а рядом женщины-колхозницы той же работой занимались, и одна из них рассказывала: не то у Долгинева, не то у Шахматова наткнулись ребятишки на миномет в лесу, а рядом мины в ящиках лежали. Ребята одну мину в ствол бросили, а она обратно вылетела и на улице села разорвалась. То-то переполоху было! Хорошо, в дом какой не попала или в прохожего человека.

Мины всякие бывают. В поле их тоже немало понатыкано — только успевай под ноги глядеть! На такой мине у красноармейца-ездового за Клушином лошадь взлетела, самого красноармейца в госпиталь отправили.

Далеко на западе гремят бои, но не ушла еще война со смоленской земли...

За спиной автомобиль гуднул. Юра поднял руку.

— Далеко, мужичок? — притормаживая машину, высунулся из кабины водитель.

— В Гжатск, к отцу. Солдат он.

— Лезь в кабину.

Хорошо в машине, тепло, уютно. Жаль, что нагнала поздно: Гжатск-то не за горами уже, крайними избами, почитай, виднеется.

— ДП транспортируешь? — интересуется водитель, кивая на узелок: он теперь лежит на коленях.

Юра давно усвоил: на военном языке ДП значит дополнительный паек.

— Пышки и картошка. Хотите кусочек?

— Да нет, спасибо. А вообще-то солдату лишний кусок не помеха. В наступлении, бывает, кормят на убой, а все неохота. Но уж коли застрянешь где надолго — затягивай ремень потуже.

Водитель — человек веселый, словоохотливый, и Юра

слушает его, и согласно поддакивает, и думает о том, как сядут они с отцом за стол сейчас, будут пить кипяток с таблетками сахарина и с домашними пышками, рассуждать о делах в колхозе и на фронте будут.

«Мать-то почему не пришла? Аль приболела?» — спросит отец.

«Где же ей прийти,— ответит отцу Юра.— Позабыл ты на службе деревенскую жизнь, поотвык от забот. Небось вчера сев начался».

«А ведь верно! Трудно им, бабам, без нас...»

Юра согласится серьезно:

«Трудно. Тракторов нет, лошадей нет. На себе плуг таскают. Это каково?»

Вздохнет отец. Услышит в словах сына невольный укор себе, мужику, который в силе еще, обут и одет справно, и чистый хлеб каждый день ест. Такая уж доля бабья — кормить мужиков хлебом, одевать и обувать их.

...— Паренек, эй, паренек! Как тебя разморило-то... Вставай, приехали. Ну и сонлив ты.

Шофер растолкал Юру. Вот ведь оказия! В виду Гжатска заснул.

Долог день до вечера

У праздника рост невелик.

Приугасла радость от встречи с освободителями, улеглось возбуждение, и задумались тяжело клушинские женщины. Немцы, война, нужда жадным пожаром по селу прогулялись, все, что в закромах и амбарах было схоронено, в ямах зарыто, выгребли вчистую.

Собрались на совет: как дальше жить, как детей кормить? Одни ведь остались: мужиков и парней из тех, что подросли и фашистского плена избежали, в Красную Армию подобрали. Чтобы с голоду не умереть — надо поле колхозное засеять.

Тут, к случаю, весточка из района пришла: государство колхозу яровые семена выделило. И бабы, приободрясь, постановили единогласно: коли мужикам на фронте тяжело — и нам не должно быть легче. Пока скотиной не обзавелись, пока свое стадо из Мордовии не вернулось — будем сами плуг таскать.

И таскали на себе — с утра до позднего вечера.

И сеяли — по старинушке: из решета да в борозду.

Урожай сорок третьего года, как никакой иной, памятен клушинским колхозницам.

Низко платки на глаза надвинув, чтобы от пыльного ветра

лицо уберечь, медленно бредут женщины по полю. Тощие, неглубокие борозды ложатся им под ноги. У каждой решето с зерном, и там, где проходят женщины, падают в землю из скупых горстей семена будущего урожая.

Долог вешний день до вечера. Велик загон. И ноет рука в кисти, и, обожженные лямками,— в плуг, по четыре, бабы сами запрягались,— горят предплечья.

Плуг на краю загона стоит сиротливо, лемехами на солнце поблескивает. Отдыхает пока.

А женщинам отдыхать некогда.

— Ой, бабоньки, не могу больше.

Тетя Нюша Белова опустилась на землю, схватилась рукой за сердце. Широко раскрытым ртом жадно ловит воздух.

К этому привыкли. Такое от голода, от устали ежедневно случается: то одна в борозде упадет, то другая.

Женщины, не оглядываясь, бредут дальше. И только бригадирша, баба суровая и требовательная, изрекает с наставительной укоризной:

— Не тебе ли я, Нюшка, говорила: насыпай зерна в решето помене. Надорвем пупки все сразу — кто убирать урожай станет?

А когда продвинулись женщины вперед, вернулась бригадирша к Беловой, тронула за плечо:

— Ты, Нюр, пожуй зернышек — и пройдет все. С устатку это у тебя, с голодухи. Возьми горстку, пожуй — дозволяю я.

Тетя Нюша открыла глаза, испуганно и несогласно покачала головой: пожевать возьмешь горстку — ан другую в карман захочется схоронить. А семена, до единого зернышка, на учете все. И строгость по военному времени необыкновенная...

— Подымусь я сейчас. Оклемаюсь на ветерке.

— Ну-ну,— туповато говорит бригадирша и тяжелыми словами, на мужицкий манер, почем зря костерит Гитлера. За каждую бабу у бригадирши душа болит. От них, от баб, зависит ноне, быть урожаю по осени али всему Клушину ноги протянуть.

Поднялась на ноги тетя Нюша, помаленьку и других нагнала.

— Отошло?

— Уж и не знаю, Тимофеевна. На сердце тревожно что-то, дурную весть подает. Неужто с Володей что...

— Брось, не греши. Как раз беду накличешь.

— Так ведь молчи не молчи, а об этом всегда помнишь.

— Я и сама вся извелась. Что там, дома-то? Хорошо, коли Юра из школы вовремя пришел. А если задержали их, или с ребятами заигрался? На Борьку знаешь какая надежда. Вчера пальцы ножом чуть не отхватил. Кровищи выхлестало!.. Спасибо доктору военному — ловко так забинтовал. А в тот день стекла

выкатал. Увидал бы отец — задал бы трепку, где его, стекло-то, достанешь нынче?

— Ох, доля наша бабья...

— В печку не полез бы, жаром побаловаться. Избу спалит и сам сгорит.

...Падают, падают в неглубокие борозды из скупых горстей семена.

Долог вешний день до вечера.

Через много лет...

В знойном мареве тонет голубое небо. Цветет лен...

Жарким летом семидесятого года сидели мы с тетей Нюшей на крылечке ее дома и вспоминали, вспоминали... Говорила больше она, я слушал.

— Когда молодым рассказываешь, как работали тогда, не верят. Нонче, батюшка мой, машинами все делать привыкли. Страсть сколько этих машин в совхозе!

Годы состарили ее, мамину подругу, но по-прежнему подвижная, даже на пенсии не могла усидеть она без дела.

— Вот созреет лен — теребить пойду... А знаешь, Валентин, недаром я тогда, на поле-то, беду почуяла. Сердце правду вещало. Вскорости, батюшка мой, и письмецо пришло. Товарищ Володи моего из госпиталя прописал: ранен, мол, тяжело ваш Володя. Так-то ранен, что и написать сам не может...

Володя Белов, друг моего детства, моей юности, вернулся с фронта без руки, с тяжелыми ранениями и вскоре умер. Такая уж выпала тете Нюше грустная доля: первую похоронку получила в селе она — на мужа, на Ивана Даниловича, похоронку, и последним, кого из сельских парней убила война, был ее средний сын Володя.

— Вот и Юрушка ваш...

А лен цветет, и, нещадное, жарко палит солнце.

И Володя Белов, и наш Юра очень любили солнце и цветущий лен. Наверно, мы оба подумали об этом, потому что тетя Нюша вспомнила вдруг старое поверье:

— Кто во льне растет, льняную одежду носит, льняным полотенцем по утрам вытирается — тот хвори не ведает.

Хвори они не ведали. Я не помню, чтобы Володя Белов жаловался когда-либо на болезни, я знаю наверняка, что нашего Юру и легкая простуда не трогала.

...Прощаясь с тетей Нюшей, я пообещал наведаться еще.

Все дальше от ее дома уводила меня полевая тропинка.

Мне еще предстояло встретить друзей моего и Юриного

детства. В совхозе работают Нина Белова, Зоя Загрядская. Знатным трактористом, кавалером многих наград стал Иван Александрович Зернов — тот самый Ваня Зернов, вместе с которым Юра запускал воздушных змеев и делил одну парту в школе. А Клушино наше уже не колхоз, а центральное отделение совхоза «Гагаринский». Тут и о том кстати будет сказать, что вскоре после Юриного полета харьковские трактористы прислали в Клушино трактор. Сверхплановый, именной, предназначался он лучшему механизатору совхоза, и вручили его по праву Ивану Александровичу Зернову.

В тот свой наезд в Клушино, летом семидесятого, познакомился я с одним интересным, в какой-то степени новым для себя человеком, уроженцем Чувашии. В его квартире рассматривал альбомы с фотографиями. На одной, среди студентов Ма-риинско-Посадского лесотехникума, в двух худеньких пареньках можно было узнать будущего космонавта Андрияна Григорьевича Николаева и будущего директора совхоза « Гагаринский» Владимира Михайловича Верхилеева. Фотография была сделана в сорок шестом, в первом послевоенном году. Полтора десятилетия отделяли нас тогда от первого космического полета, и конечно же в те дни скромные студенты-лесоводы не задумывались над тем, как круто повернется их судьба. Не задумывались, что одному из них придется не единожды поднимать с Земли звездный корабль, а другому — руководить совхозом на родине первого космонавта.

Он, Верхилеев, тоже знал Юрия Алексеевича, не раз встречался с ним, разговаривал.

И встречи с друзьями детства, и встречи с ним, думается, должны оставить какой-то след на страницах этой книги.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
МЫ ЖИВЕМ В ГЖАТСКЕ

ГЛАВА 1
Возвращение

Полевая сумка и пилотка

Они хорошо помнились мне, улицы районного города Гжатска. Помнились аккуратными деревянными домиками за зелеными палисадниками: по весне расцветали в палисадниках сирень и черемуха, белыми лепестками распускалась акация; поздним летом пышные георгины и мальвы вспыхивали под окнами. Помнились шумным, в вечерние часы, оживлением: после рабочего дня люди выходили погулять, подышать чистым воздухом, настоянным на запахах липы и тополя. Помнились дразнящими вывесками и витринами сравнительно богатых довоенных магазинов.

Но улицы, по которым шел я сейчас, ничем не напоминали мне те, прежние. Вдоль исковерканной дороги, изрезанной безобразными колеями, полными грязи и воды, торчали слева и справа остовы обгоревших печей. В глубине садов виднелись покатые крыши землянок, над редкими из них растекались бледные, немощные дымки. И хотя уже занялись деревья и кустарники первой зеленью — был поздний апрель, солнце не скупилось на тепло,— но лежала на облике города печать какого-то неприкаянно-унылого сиротства, страшной неустроенности, бесприютности.

За спиной, на вокзале, гукнул паровоз, дробно застучали по рельсам колеса. Ушел мой поезд, повез в глубину России таких же, как и я, уволенных в запас солдат.

Поправив лямки вещевого мешка, я прибавил шагу.

А все же не остановилась, не замерла — идет, дает о себе знать жизнь. Тут и там потюкивают топоры. Мужички в выгоревших гимнастерках, в солдатских штанах, по трое, по четверо тащат на плечах неохватные звонкие бревна, кряхтят от натуги. Вот наткнулся я взглядом на один сруб, на другой. Лес ты мой смоленский, снова — в который уже раз! — после стольких невзгод и лишений даешь ты человеку кров и тепло, протягиваешь ему дружескую руку, помогая вырваться из нищеты и разорения. Издревле — в который раз! — повторяется одно и то же...

...У Гжатска — любопытная биография, не рядовая судьба. Основанный Петром Первым одновременно со столицей на Неве, задумывался он как город корабельных верфей и торговых

пристаней. Именно отсюда по Вышневолоцкой судоходной системе должен был идти в Санкт-Петербург хлеб из центральных губерний России. Правда, со строительством Брестской дороги Гжатск захирел, утратил свое торговое значение, превратился в захолустный уездный городок, но по серебряному полю его старинного герба, напоминая о былом, по-прежнему плыла груженная зерном барка.

Во время Отечественной войны 1812 года окрест Гжатска изрядно досаждали чужеземцам-завоевателям лихие партизанские отряды. Неподалеку от этих мест водила однодеревенцев на супостата легендарная Василиса Кожина, старостиха... Громил тылы отступающих наполеоновских армий драгун Ермолай Четвертаков... Предание гласит, что после изгнания вооруженных полчищ захватчиков и грабителей благодарные жители Гжатска на руках внесли в город фельдмаршала Кутузова. Кстати, и в командование русской армией тогда, в 1812 году, Михаил Илларионович Кутузов вступил неподалеку от Гжатска — в Царевом Займище.

Позднее Гжатский уезд стал известен как центр массовых волнений крестьян, выступавших против засилия помещиков, царских чиновников и жандармов. Волнения эти, нужно заметить, особой силой отличались в Клушинской волости. Ленинская «Искра», с чуткостью барометра откликавшаяся на всякие проявления революционности в России, разумеется, не могла пройти мимо этих событий, дала им диалектическое объяснение.

Впрочем, вспышки крестьянских волнений только преумножали революционную славу Гжатска. А начало ей, думается, было положено деятельностью таких борцов с самодержавием, как знаменитые Вера Засулич и Петр Алексеев — уроженцы города. И Федор Солнцев, один из двадцати шести бакинских комиссаров, расстрелянных белогвардейцами и английскими интервентами, тоже был родом из Гжатска.

Город непокорных рабочих людей, Гжатск не склонил своей головы и перед гитлеровцами. На протяжении долгих месяцев рядом проходила линия фронта. В городе, забитом штабами многих фашистских частей, рвущихся к Москве, в соседних селениях с изощренной жестокостью действовали каратели — гестаповцы и эсэсовцы. Позднее мне назовут красноречивые цифры — выразительный итог временного хозяйничанья фашистских оккупантов на гжатской земле. Если до июня сорок первого года в районе проживало тридцать две тысячи человек, то ко времени освобождения их осталось немногим более семи тысяч. Будто страшный ураган рощу выкосил.

Вот в этом городе, на этой вот улице, на Ленинградской,

должен был я найти своих.

Два года минуло со дня победы. Из писем, которые приходили довольно часто, я знал о всех изменениях в жизни нашей семьи... Знал, что отца после демобилизации из армии оставили в Гжатске: старому плотнику предстояло восстанавливать, заново отстраивать разрушенный фашистами город. Знал, что отец разобрал и перевез из Клушина в город наш дом. «Валентин, приезжай скорее,— торопил он меня в письмах.— Помощники мои, твои меньшие братья, слабоваты пока для плотницкой работы, а дом ставить надо. С баб же, сам понимаешь, спрос невелик...»

Знал я, что Зоя вернулась из армии раньше меня. Что Юра учится в базовой школе при Гжатском педагогическом училище, заканчивает четвертый класс. В каждом письме,— а письма его со временем становились подробнее, увереннее и уже мало чем напоминали ту давнюю, полученную первой весточку, где он спрашивал, когда закончится война,— в каждом письме Юра рассказывал о своих товарищах по классу, об оценках по школьным дисциплинам. Особенно много восторженных слов было в этих письмах о Нине Васильевне Лебедевой, учительнице. Молодая, душевная, она умела найти подход к ребятам, увлечь их предметом. Даже то, как начала она учебный год в классе, знал я из Юриных писем. Принесла ребятам книгу, где была опубликована фотокопия с табеля гимназиста Володи Ульянова, сказала просто:

«Видите, одни пятерки. Мне бы очень хотелось, чтобы вы старались во всем походить на Володю Ульянова».

И ребята старались: класс хорошо успевал по всем предметам.

Знал я, что и Борька ходит в школу и что, увы, учеба дается ему куда тяжелее, нежели Юре.

Бог ты мой! Сколько времени прошло с того дня, когда я расстался со своими, отцом, с матерью, с братьями!.. Тогда был март сорок третьего. Сейчас — апрель сорок седьмого. Четыре года. Сорок девять месяцев.

Стучат, постукивают слева и справа топоры. Отстраивается заново старый Гжатск, город, начало которому положено еще во времена Петра Первого.

Я на него смотрю, а он на меня глаза лупит, этот широколобый, лопоухий мальчонка в коротких штанишках и разбитых сандалиях, надетых на длинные, выше колен, коричневые чулки.

С минуту, что ли,— может, меньше того, а может, и больше,—

изучаем мы этак вот друг друга, потом он набирается храбрости: подходит, тычет пальцем в пряжку ремня:

— Дядя солдат, а где твоя винтовка?

— Борька,— говорю я,— Борька, неужто ты не узнаешь меня?

Глаза его становятся широкими — две большие оловянные пуговицы. Он отступает — шаг, другой и вдруг поворачивается ко мне спиной и стремглав бежит куда-то.

И вот я стою один на один с домом, который, в общем-то, собран, но еще не подведен под крышу, с домом, где каждое бревнышко в каждом венце знакомо мне до последнего сучка, до последней задоринки. Стою и слушаю, как гулко и часто бьется жилка у виска: то ли сердце гонит кровь «налишних оборотах», то ли перестук топоров застрял в голове, отзывается эхом. И вдруг...

— Валька!

Юра бросается мне на шею.

— Хоть ты меня узнал,— говорю ему и обнимаю крепко. Ох, совсем взрослым стал парень, и сила в руках есть. Только вот ростом что-то...— Что же ты маленький такой, Юрок?

Он не обиделся:

— Щи-то небось из крапивы едим. С них не больно вырастешь.

— Где наши все?

Но всех наших уже Борька переполошил. Вот и мама бежит из-за угла дома, протягивает руки, и Зоя за ней.

— Валя, сынок!

— А телеграмму почему не дал?

Отец колотит меня по плечу, чмокает в щеку. И еще какой-то мужчина подходит следом за ним, молодой, в штатском, но по осанке видно: недавний солдат.

Догадываюсь:

— Дмитрий?

— Он самый.

Рукопожатие у него крепкое, парень, думать надо, не из слабых. Муж Зои, новый член нашей семьи.

А Борька переминается с ноги на ногу за спинами других, все боится подойти ко мне.

— Хватит дичиться,— говорю ему.— Хватит. Иди ближе. Я тебе подарок привез.

— А мне? — тянет за руку Юра.

— Брысь! — кричит на ребят мама.— Подите прочь. Человек устал с дороги. Не евши, чай. Давайте хоть за стол присядем.

Прямо на улице, за домом, собирает мать нехитрый стол, и все у нее получается как-то не так: и вилки запропастились невесть где, и посуда валится из рук.

— Ты отдохни,— говорит ей Зоя. Ты отдохни, я сама все сделаю.

Зоя ходит медленно, вперевалку. Я приглядываюсь к ней и понимаю, что все мы, братья, скоро станем дядями, что быть в доме и бабке.

Развязываю вещевой мешок, зову Юру с Бориской.

— Кому что — решайте сами.

У ребят разгорелись глаза. Выбор, с их точки зрения, сказочно богатый: новенькая пилотка с красноармейской звездочкой и всамделишная, правда изрядно потрепанная, полевая сумка. Боря смотрит на Юру: ты старший, ты и выбирай. Но Юра хитровато щурит глаза, равнодушно отворачивается. И тогда Борька не выдерживает, тянется за пилоткой.

— Ура! — кричит Юра.— Так я и знал. А мне сумка позарез нужна. Книги в школу таскать.

Борька вдруг понимает, что продешевил, надувает губы, но Юра обнимает его за плечи, говорит тихо:

— Я тебе буду давать сумку поносить. А ты мне пилотку. Идет?

— Идет,— соглашается Бориска.

— Ну-ка, танкист, не разучился топор в руках держать? — хитро смотрит на меня отец.

— А вот сейчас попробуем.— Я сбрасываю гимнастерку.— Где он, твой инструмент?

Удобно, по ладони, приходится обкатанная работой и временем рукоять топора. Эх и помашу я им теперь, остро отточенным, в свое удовольствие.

— Дел хватит,— успокаивает отец.— Кровлю поставить — раз, двор сладить — тоже забота немалая.

— Давай, вали больше, пока в охотку.

— Ноне отдохни — положено солдату, а завтра как раз возьмемся.

Потом мы сидим, трое мужиков: отец, Митя и я, курим, толкуем о прошедшей войне, о хлебе насущном — трудно будет прокормиться, семья у нас вон какая стала, прикидываем, куда бы мне определиться на работу. А Юрка с Бориской ползают в канавах — протирают штаны в пыли, перебегают от дома к дому, завидев друг друга, открывают бешеный «огонь»:

— Бах-бах!..

— Тра-та-та!..

У одного через плечо полевая сумка надета, у другого — пилотка на голове. И самодельным пулеметом каждый вооружен.
— Тра-та-та!

— Бах! Бах!

— Я тебя первый убил!

— А я давно гранатой тебя «подорвал»! — перекликаются братья, и восторг, упоение жизнью слышны в их голосах.

Падает солнце к закату. Тишина вокруг, только стук топоров нарушает ее да затеянная ребятами невзаправдашняя война...

«Я ведь не маленький...»

Месяц май принес много радостей. Во-первых, наконец-то мы обрели крышу над головой — окончательно переселились в избу. И хоть тесновато было: семья-то эвон какая, и Зоя ждет прибавления, но... в тесноте — не в обиде. Никто не жаловался, не скулил. Во-вторых, закончился учебный год у ребят: Боря перешел в следующий класс, Юра сдал первые в своей жизни экзамены и с гордостью объявил, что теперь он пятиклассник. В-третьих, я устроился на работу в районную контору связи, получил, по выражению отца, «твердое жалованье». А это, по тем нелегким временам, значило немало. Все взрослые в нашей семье, за исключением мамы — она вела домашнее хозяйство, были заняты на какой-нибудь работе. Отец, Зоя с Митей, я...

Для мальчишек, для Юры с Бориской, оставалось у меня теперь гораздо меньше времени. Вечерами, возвращаясь с работы, я редко заставал их дома. Весна избавила ребят от школьных забот, от уроков, и все свободное время пропадали они на реке. Приходили домой поздним вечером, ужинали с аппетитом и — засыпали как убитые.

Вместе проводили мы выходные дни.

1

Однако вскоре речка братьям приелась, прискучила, и, заметив это, я позвал их с собой на линию. Они с восторгом приняли мое предложение: как же, давно уже и одному и другому не терпелось испытать свою сноровку — вскарабкаться на телеграфный столб, нацепив «кошки» на ноги.

Так вот и идем: Юра тащит на плече монтажный пояс, Борьке достались «кошки». Дорога нам предстоит неблизкая: на шестом километре от Гжатска случился обрыв телефонной линии. Надо бы, конечно, до места аварии добираться на каком-нибудь транспорте, но с транспортом в районе небогато: все мы, связисты, передвигаемся пешком.

Длинноногие телеграфные столбы бегут нам навстречу по обочине дороги. С утра побрызгал дождь, и поля открываются

нашему взгляду влажноватой и оттого особенно яркой зеленью всходов, и неумолчная песня жаворонка преследует нас от самого города.

Бориска вскоре отстает, плетется сзади.

— Давай-ка сюда «кошки»,— оборачиваюсь к нему.

Он смотрит на Юру, не соглашаясь, качает головой:

— Сам понесу. А далеко еще?

— Уже близко.

А Юра — тот спокойно идти не может. То вырвется вперед — догоняет пеструю бабочку, ловчится поймать ее, то ныряет в канаву и вскоре нагоняет меня, держа в руке букетик пестрых цветов. Вот остановился, нагнулся, сорвал что-то — прячет за спиной.

Борис поравнялся с ним.

— Закрой глаза, Борька, фокус покажу.

Младший недоверчиво смотрит на старшего, но на лице у Юры серьезность написана. Борька послушно закрыл глаза. Юра скомандовал:

— Раз-два-три! Скажи: а-а-а...

— А...

— Ф-фу!

Облачко пушинок летит в открытый Борискин рот с белоголового одуванчика. Борис, не в силах стерпеть обиду, замахнулся на брата «кошками», но тот ловко увернулся и убежал вперед.

Навстречу нам, тяжело попыхивая на взгорках, ползет обшарпанный грузовик. В кабине кроме шо-фера сидит солдат с карабином. Борта кузова расстегнуты, а на площадке, задрав вверх искореженный хвост, раскинув обрубленные крылья, стоит самолет.

— Смотрите, хлопцы, фрица на переплавку везут.

— «Мессершмитт»,— определил Юра.

Я усмехнулся:

— Знаток... А еще какие самолеты тебе известны?

— Все наши и все немецкие,— не сдается он.— У немцев такие были: «фокке-вульф», «хейнкель», «юнкерс». А у нас — «як», «лагг», «миг», «ил», еще «тб» — это бомбардировщики, а «илы» — штурмовики. Я и конструкторов знаю: Лавочкин, Микоян, Ильюшин, Туполев...

— Еще «харрикейны» были, а ты забыл,— поддразниваю я.

Он задумался:

— Это, наверно, американский или английский. У нас таких нет, и у немцев тоже. Я узнаю.

— Как же нет, когда на них воевали?!

Он долго смотрит вслед проехавшей машине, потом грустно говорит:

— Ты все со мной, как с маленьким. А я ведь уже не маленький.

— Конечно. Тебе уж теперь и папины брюки, наверно, коротки,— грубовато шучу я.

Он снова молчит, долго молчит, а когда начинает говорить, и боль и обиду слышу я в его словах:

— Можешь смеяться, твое дело. Только, если б не война, я теперь не в пятый, а в седьмой перешел бы.

Мне становится стыдно.

— Ладно, Юрка, не один ты такой. Я знаю ребят, которые отвоевали и с орденами опять за парты сели. Да и с тобой учатся почти все твои ровесники, им бы тоже в седьмой ходить надо, а они, как и ты, в пятом... А «харрикейн», ты прав, английский истребитель.

Я хочу успокоить его, но Юру точно подменили: уже не рвется вперед, не бежит в канаву за цветами, не задирает Борьку — молча, нога в ногу, вышагивает рядом со мной. Молчит. А я в душе кляну себя за то, что как-то невзначай задел его самолюбие, дал нечаянный повод выплеснуть наружу то, что, по всей вероятности, носил он глубоко в себе, пряча от постороннего взгляда.

И что я мог сказать в свое оправдание? Разве то, что не по моей вине были украдены у него эти два года? Но только ли у него и только ли два?

А вот к тому, что Юрка уже далеко не маленький — к этому, видимо, надо привыкать.

...Я вскарабкался на столб, наращиваю провод. Горизонт убежал, отодвинулся от меня, и отсюда, с высоты, хорошо видны окрестные деревушки, синей каемкой проступает с одной стороны лес, с другой — ленточкой фольги вытянула свое тело в лугах река Гжать. Просторно, вольготно, и дышится легко.

Ребята внизу стащили с себя рубашки, загорают. Каждый по-своему. Боря вытянулся на траве, подставил солнцу спину. Руки у него тонкие, остро выпирают лопатки. Хлеб сорок седьмого года — с него не нагуляешь жиру.

Юра не может усидеть на месте, носится как заводной: всегда и везде умеет он найти себе занятие.

— Пойдем щавель рвать,— тормошит он брата.— Знаешь, какую поляну я нашел? Сила!

Бориска отмахивается.

— Уйди. Не видишь? Человек делом занят. Загораю.

— Эх ты, чучело! Загорать в движении надо, тогда хорошо

будет. Вот нарву щавелю, мама щей наварит, а ты ни ложки не получишь. Облизывайся тогда.

Он убегает на поляну рвать щавель.

— Валь,— кричит мне Борис,— а правда, если со столба в небо смотреть, то звезды увидишь?

— Ночью?

— Нет, сейчас.

Я задираю голову, смотрю в небо. Легкие пушистые облака чуть приметно скользят надо мной, а выше — голубая-голубая бездна, и нет никаких звезд.

Юра присаживается рядом с Борисом.

— Это не со столба — это если днем в глубокий колодец смотреть, тогда звезды на дне увидишь. Я читал об этом. Вот когда в Клушино поедем — посмотрим в нашем колодце.

Он грустит по Клушину и часто вспоминает село.

Потом мы сидим на траве, закусываем. Обед у нас нехитрый: по три вареные, с голубиное яйцо, картофелины на брата, по тонкому ломтю хлеба, присыпанного солью. Обед нехитрый, а аппетит — на свежем воздухе, после дороги разыгрался волчий. И Юра вытряхивает щавель из рубашки, у нее завязаны рукава и ворот, получилось что-то вроде мешка,— и щедро потчует нас:

— Ешьте. А домой я еще наберу.

— Я так и знал,— жмурится от удовольствия Борис.

...После этого первого их «выхода на линию» ребята еще не раз и не два увязывались за мной.

2

Ранней весной в саду,— сад был молоденький, яблони-первогодки нехотя покрывались листвой, и это очень беспокоило отца,— Юра поставил на шестах три скворечника. Все три он сам и сколотил — очень красивые и удобные для птиц получились домики.

Скворцы, прилетев с юга, по достоинству оценили Юркино гостеприимство: их жилища не пустовали. Прошло какое-то время — в скворечниках запищали птенцы.

По утрам Юра спозаранку бежал на крыльцо слушать скворушек. Неодетый, не успев умыться и позавтракать, он мог стоять и час и два, пока неугомонные скворцы распевали на все голоса.

Однажды меня разбудили громкие крики брата, которые вскоре сменил невообразимый грохот. Я вскочил с постели, опрометью вылетел на двор...

Было отчего заорать. Разбойная наша кошка вскарабкалась по шесту к самому скворечнику и запустила в отверстие когтистую лапу. Юра бесновался на крыльце: кричал на кошку, размахивал руками, потом схватил в сенцах пустое ведро и заколотил по нему палкой. К этому шуму и грохоту присоединил свой голос Тобик — дворовый пес, которого Юра выходил со щенячьего возраста. А серой разбойнице хоть бы что — хладнокровно выковырнула птенца лапкой и сбросила его на землю.

Юра бросился к скворчику, но выронил ведро из рук, споткнулся о него, упал. А нахальная кошка с дьявольским проворством соскользнула с шеста, схватила птенца в зубы и была такова.

Братишка едва не расплакался.

— Подумаешь, съела кошка скворчика. Ей тоже небось жрать надо,— желая подразнить брата, философски заметил во время завтрака Борис.

— По шее хочешь? Так дам,— угрюмо пообещал Юра, и Борька притих, уткнулся в миску. А я, грешным делом, в ту минуту подумал, что, видимо, применяет иногда старший по отношению к младшему эту воспитательную методу: воздействие силой. Или потому притих Борис, что знал: слово держать Юра умеет, а момент для шуток не такой уж и подходящий...

Расстроился Юрка на весь день. В кошку, когда она, виновато мурлыкая, прибрела в избу, запустил старым валенком, и та ошарашенно исчезла за дверью. На линию со мной тоже отказался идти.

— Буду птенцов караулить.

Когда я уходил на работу, он нагнал меня на крыльце, попросил принести моток проволоки.

— Принесу,— пообещал я, чтобы хоть как-то утешить его.

Проволоку вечером я принес. Юра тут же, прихватив молоток и клещи, выскочил из избы.

Оказывается, хитрую он придумал штуку. Натянул от шеста к шесту проволоку, пропустил ее в медное колечко, а к этому колечку привязал на цепи Тобика.

— Теперь ни одна кошка и носа не посмеет сунуть.

И точно: и у нашей серой разбойницы, и у соседских кошек Тобик навсегда отбил охоту лазить по скворечникам. Был даже такой случай: сидим в избе, ужинаем, а собака вдруг как зальется лаем. Юра опрометью из-за стола. Вернулся минут через десять, довольный, улыбается. И рассказывает: птенчик вывалился из скворечника, прямо под нос Тобику упал. Он и позвал Юру.

— А где сейчас птенчик? — полюбопытствовал Борис.

— В скворечнике, где ж ему быть,— ответил Юра, усаживаясь

за стол.

Это качество — защищать слабых — было заметно в нем с самых малых лет.

3

Забота об огороде тоже лежала на плечах братьев. Мы, взрослые, по весне только унавоживали и вскапывали грядки, засевали их, а все остальное: уход за овощами, прополку, поливку — делали Юра и Борис.

Случалось такое: заиграются они на улице, а ты возьмешь лейку и пройдешься по грядкам с огурцами и помидорами, с капустой и луком. Батюшки, что тут начнется! «Зачем ты это сделал? — кричат.— Мы и сами помним, что это наша работа, и вовсе не просили тебя».

В конце концов Юра взял за обыкновение припрятывать лейку, да так искусно, что даже отец — а уж он-то знал свой двор до последнего уголка — не мог найти ее. Маме, конечно, Юркины тайники были известны, от мамы он ничего не скрывал, она умела хранить ребячьи секреты.

Были у них, у Юры и Бори, и свои, «персональные», грядки: с горохом и бобами, с фасолью и красным маком. К этим мы, взрослые, уже и прикасаться не смели. Причем если горох и бобы выращивались как лакомства, то фасоль и мак — просто для красоты. Бывало, натыкает Юра палочек в грядку, и стебли фасоли взбираются по ним вверх, обвиваются вокруг них, а то — еще занятнее — и вокруг ствола яблони обовьются. В середине лета — на ветвях уже плоды висят — вспыхнет вдруг яблоня небольшими красными огоньками. Со стороны посмотреть — ни за что не догадаешься, что это фасоль на ветвях в цвете раскрылась.

— Смотри, красота какая,— тянет Юра за руку, на огород ведет,— словно фонарики на новогодней елке.

Маме не приходилось лишний раз напоминать ребятам: прополите огород. Более того, посмотрит, бывало, она — с утра мальчишки ползают на коленях, штаны протирают — и пожалеет:

— Юра, Боря, хватит на сегодня. Идите погуляйте или на речку сбегайте, окунитесь.

— Погоди, мам,— откликается Юра,— как докончим все, тогда и пойдем. Вечером вода в речке теплее.

Надо сказать, что огород был не просто работой — был и увлекательной игрой. В этой игре всякий сорняк — враг, «фашист» или «белогвардеец», которому надо срубить голову. И

вот два «полководца»: Чапаев — непременно Юрка, и Буденный— это уже Борискина роль... Два «полководца» обрушивают на полчища «врага» свои армии. Или два «летчика» — Чкалов и Кожедуб — расстреливают в воображаемом небе фашистские самолеты. Не беда, что Чкалов не дожил до последней войны, не принимал в ней участия. В мальчишеской фантазии, а фантазия из Юры била через край, Чкалов не мог умереть, и из каждой жестокой схватки обязан был выходить непременно победителем... Бесхитростный труд оборачивался красивой, сочиняемой на ходу сказкой, и сказка увлекала ребят.

...Может быть, она, увлекательная игра в сказку, и помогла мальчишкам пережить трудное и очень голодное лето сорок седьмого года.

Не повезло!

Больничная палата богата свободным временем для размышлений о всякого рода материях. Вот и я лежу сейчас, прислушиваюсь к режущей, непроходящей боли в ноге — ни на мгновение не дает она забыть о себе — и размышляю понемногу. О разном...

Койка моя у самого окна стоит, створки его распахнуты широко, легкий ветерок чуть трогает их, и солнечные зайчики бегают взапуски по белым стенам палаты, по простыне, которой я укрыт, щекочут веки. На тумбочке, салфеткой прикрытой, лежат под газетным листком вареные в мешочек яйца и кусок белого хлеба. Только что навестила меня мама — принесла гостинчик.

— Обезножел-то ты, Валюшка, некстати как. Выздоравливай поскорей, не залеживайся.

Рад бы!

— Да ты ешь, ешь яички-то. Питание при любой хвори — самое главное.

Съел бы я их, да кусок в горло не идет.

Под окнами сердитая наседка созывает цыплят. Где-то поблизости ребятишки затеяли игру в войну: стреляют друг в друга щедрыми очередями, не жалея патронов, взрывают — одну за другой — условные гранаты.

Никогда не приестся мальчишкам эта игра.

— Манька,— влетает в палату надтреснутый бабий голос,— Манька, паралик тя расшиби, сходи за козой-то! За козой, говорю, сбегай...

Странное дело, до тех пор, пока человек абсолютно здоров, пока носят его ноги по земле, не задумывается он о болезнях, равнодушно проходит мимо больничных стен, за которыми

надежно укрываются от людского взгляда горе, хворь, страдания.

Теперь вот и мне с избытком хватает этой хвори.

И как же глупо все получилось...

В субботу утром вспомнили мальчишки, что завтра у меня выходной день.

— Пойдем за грибами,— подступились они.

Я отмахнулся.

— Да ну вас! В прошлый раз ничего не набрали и опять пустыми придем. Люди засмеют.

По правде сказать, оно бы и неплохо — сладить прогулку в лес, набрать по корзине грибов или просто побродить по ельнику и березнику, незамутненным воздухом подышать. Оно бы и неплохо, но я еще накануне условился с дружками, что в воскресенье пойдем в соседнюю деревню Горлово. Были у хлопцев там знакомые девчата, и намечалось некое мероприятие: что-то вроде посиделок с небольшой выпивкой, танцы под гармошку.

Но братья мои, коли уж загорелись, на своем настоят: пойдем и пойдем — и все тут! Вот и дождь как раз выпал, так что грибы должны быть.

Мама попробовала вступиться за меня:

— Чего пристали к человеку, оглашенные? Ишь ты, в лес им загорелось. Там вон, люди говорят, до сих пор мины попадаются. Налетите еще...

— Мы что — в первый раз? — резонно возразил Юра. А Борис и еще масла в огонь подлил:

— Нам мины не страшны. С нами солдат пойдет.

Эта грубая лесть и сразила меня окончательно. Поломавшись малость, все же сдался я.

— Ладно, готовьте корзины. Так и быть, сходим.

«К девчатам,— подумал про себя, успею и вечером. В самый раз попаду». С тем и ушел на линию.

Показалось мне, или в самом деле то было? — что, когда забрался я на самую верхушку столба, чуть покачнулся он. Может, ветер шалый, а может, от высоты ощущение такое...

«Подгниваешь, старина, пора на покой»,— по-свойски похлопал я столб по макушке. Мимолетно промчалась в голове мысль, что задерживаться на верху рискованно, что вот обрублю провода и тотчас соскользну вниз.

Проворно достал из кармана щипцы-кусачки, отрезал от чашечек — один за другим — все провода и, не мешкая, пошел на спуск.

Вот тут-то столб и рухнул. Я только слабый треск услыхал — попытался спрыгнуть на четвереньки, спружинить. И не успел.

Земля была высушена солнцем до предела, плотно

утрамбована. Упал я боком, неловко, и столб ударил меня по ногам.

Потом я потерял сознание...

Теперь-то вот, в больнице, ясно мне, что забираться на этот столб не следовало, что основание его сгнило давным-давно и что держался он, как на тросах, на проводах. До тех пор держался, пока их не обрубили.

Теперь-то мне это ясно. Не случайно, видать, всплывает в памяти старая поговорка о том, что каждый из нас задним умом бывает крепок.

В самом деле: разве трудно было, пока «кошки» не были еще на ноги надеты, пока сам на земле стоял, проверить этот столб на крепость?

А солнце в тот день палило нещадно. Уже здесь, в больнице, мне рассказали, что очень долго провалялся я в беспамятстве под жуткими лучами этого солнца, что первую необходимую помощь оказали мне слишком поздно. И вот результат: началась газовая гангрена.

— Будем ампутировать ногу,— сказала мне женщина-хирург тоном, исключающим всякие возражения.

Обидно, черт побери! Два с лишним года войны провел я в башне «тридцатьчетверки». Снаряды и пули миловали меня. Как-то раз наш танк наехал на минное поле. Что скрывать? Душа в пятках была. Но и там обошлось, пронесло.

А здесь на вот тебе!

Испортил я ребятам поход за грибами, а дружкам — веселую прогулку в Горлово, к девчатам.

В окне торчит стриженная наголо белобрысая голова.

— Привет, Валь!

Свидание с больными дозволяется родственникам не каждый день. Юра нашел лазейку.

Убедился, что в палате никого, кроме меня, нет, перебросил через подоконник босые ноги, присел на краешек койки. Сидит осторожно, не дыша почти: случайным движением боится причинить мне боль.

— Как дела? — спрашивает он по-взрослому.

Я усмехаюсь невесело:

— Хуже некуда. Резать ногу будут.

Он вздыхает — печально, глубоко.

— Знаешь, Валька, это ведь не так уж и страшно. С одной ногой сколько хочешь живут. Конечно, по столбам теперь лазить ты не будешь, но что-нибудь другое делать научишься.

Я молчу — боюсь сорваться, вспылить? А что и скажешь? Те

же самые утешительные слова слышу я каждый день от Толстиковой, той самой женщины-хирурга, которая собирается оставить меня без ноги. От этих вот слов, пропитанных сладкой ложью, становится мне так жаль себя, так невыразимо жаль... Что ж вы толкуете, дорогие мои люди, ведь мне еще и двадцати двух нет...

— Я вот книжку одну прочитал. Мировая книжка! Знаешь, про летчика. Он без обеих ног остался, а все равно воевал, летал на истребителе. И Золотую Звезду Героя получил. Вот! Маресьев его фамилия.

— Врут это, Юрка, или ты заливаешь. Не мог летчик на истребителе без обеих ног летать. Я-то повоевал, кое-что видел...

— А вот и не врут, а вот и правда. Я тебе эту книжку принес.

Он достает из-за пазухи затрепанный, перебывавший, думать надо, в десятках рук номер «Роман-газеты».

— Вот, почитай. Сам увидишь, что все будет правда.

— Ты, Юрка, лучше у бати махры попроси. Принеси мне стаканчик. Муторно без махры.

Он уходит так же, как и вошел,— через окно. Книга лежит на тумбочке, и, по правде сказать, читать ее мне вовсе не хочется.

— Так как же, Валентин Алексеевич?

— Ногу резать не дам.

— Но, подумайте, неприятности могут быть и еще больше.

Хирург начинает горячо убеждать меня в чем-то, пересыпает свою речь мудреными, непонятными словами. Голос мягкий, обволакивающий — в голосе можно утонуть. И хотя я понимаю с пятого на десятое, но чувствую, что могу уступить, сдаться, и, чтобы не случилось этого, повторяю как заведенный :

— Все равно не согласен... Не дам.

Хирург, симпатичная и очень настойчивая женщина, грустно качает головой. Мне ясно: дело мое совершенно плевое, и все же твержу, твержу почти в забытьи:

— Не дам, не согласен. Лучше умру...

— Ладно, посмотрим.

Хирург уходит.

Потом меня везут в операционную палату.

...Усыпляли, кололи, пилили что-то. И раз и два. Очнулся я на столе: потолок надо мной белый, и ни на бок, ни на спину повернуться не могу: какой- то груз прицепили к ноге. Но — слава богу! — цела она, то есть не отпилили.

С этим грузом, на вытяжке, пролежал я пять месяцев. Плюс месяц без груза. Полгода, в общем-то.

Шел домой на костылях, а на улице уже зима была. То

выбоина, то льдышка подвернутся под ноги — попробуй-ка перепрыгни через них.

Трудно привыкать к ходьбе на костылях.

«Ничего,— думал про себя,— ничего. Все хорошо, скоро я их выброшу».

Дома встретили меня радостно. За обедом накормили грибным супом — видимо, из тех самых грибов суп, за которыми я так и не смог сходить вместе с братьями.

— Где же теперь работать собираешься? — вроде бы невзначай полюбопытствовал отец.

— Надумал шоферить. Мотор знаю, машину с войны водить могу. Осталось костыли выбросить да права получить. Но за этим дело не станет.

Юра внимательно посмотрел на меня:

— Трудно будет привыкать.

— А Маресьев? — улыбнулся я.— На-ка вот, забери книгу да снеси в библиотеку. Просрочил давно...

— А я там сказал, кому беру.

ГЛАВА 2
Юра — пятиклассник

В новой школе

Пятый класс начался для Юры в новой школе. Как-то раз — дело к вечеру было — он привязался ко мне:

— Пойдем, Валь, я тебе нашу школу покажу.

— Да куда же я на костылях? Не дойду ведь...

— Пойдем, я помогу. Хочешь, на плечо мое опираться будешь?

Уговорил-таки, и кое-как, помаленьку, доковыляли мы с ним до школы на улице Московской. Ничего особенного, простенький двухэтажный домик. Деревянный. В коридорах темновато. На одной из дверей табличка: «5А».

— Наш класс!

Юра отворил дверь, и я, погромыхивая костылями, прошел в не очень просторную и не очень уютную комнату.

Сразу бросилось в глаза: класс мало похож на класс в обычном смысле этого слова. Так, в Клушине, семь лет сидел я за партой, обыкновенной школьной партой, выкрашенной в привычный черный цвет, с откидной крышкой на петельках. Помнится, на внутренней стороне крышки я еще ножом вырезал свое имя... Здесь же стояли сколоченные на скорую руку из грубых досок неуклюжие столы. Стояли они в два ряда, не то по четыре, не то по пять в каждом.

— Садись, Валь,— показал мне братишка на учительский стул и, когда я устроился, поудобнее вытянув больную ногу, объяснил, что за каждым столом сидят они по пять-шесть человек и что, когда вызывают к доске кого-нибудь из тех, чье место в серединочке, он, чтобы не тревожить товарищей, просто-напросто «подныривает» под стол.

— Здорово, Валь, а?

— Здорово-то оно здорово. Только за партой как-то удобней.

— Зато так веселей. И теплей. И списать, когда нужно, очень даже удобно.

Наверно, особенно прав был он вот в этом: так теплей. В классе стоял лютый холод. Разгоряченный трудной ходьбой на костылях, я не сразу почувствовал его. А посидев малость, разглядел иней в углах стен, почуял, как бьет по ногам сквозняковый ветер, как пощипывает пальцы на руках.

Сколько же силенок надо иметь вам, ребятки, чтобы при

такой вот холодине выдерживать в классе пять-шесть уроков.

— А мы и не раздеваемся вовсе, и даже шапки не снимаем, когда очень холодно,— точно угадав ход моих мыслей, сказал Юра.

...Пятый класс по тем временам — приметная ступенька в жизни каждого ученика и не всегда легко преодолимая. Из начальной школы, из рук одного учителя, из мира привычных представлений о четырех действиях арифметики о законах правописания ребята попадают вдруг под опеку нескольких преподавателей, на уроки, где учат их предметам новым, быть может, более занятным, но и более сложным. И, что еще важно, начальная школа с ее четырьмя классами остается чертой, отделяющей, на мой взгляд, детство от отрочества. Именно с пятого класса начинается у школьника то активное повзросление, когда по-новому смотришь на мир, по-иному воспринимаешь его. Недаром подростки в этом возрасте доставляют столько хлопот и родителям и педагогам.

Я знаю, что учеба в пятом и шестом классах гжатской школы очень многое дала Юрию. Они, эти классы, пришлись на конец сорок седьмого — середину сорок девятого года. Последних, проведенных Юрой дома, в семье.

Попытаюсь и рассказать о них как можно подробнее, не упуская и малейших запомнившихся мне деталей.

Сатин на галстук

Пятиклассников принимали в пионерскую организацию.

Юра пришел домой радостно возбужденный.

— Завтра,— объявил он,— линейка у нас в школе. Галстуки нам будут повязывать. Пойдем, Валь, галстук покупать.

— Пойдем,— согласился я.

Все промтоварные магазины обошли мы в тот день, все ларьки. Не везло нам отчаянно. Не то что галстука — даже красного ситчика, из которого можно было бы галстук скроить, не удалось нам найти. Оно и понятно, время было такое — трудное, послевоенное время.

— Все, Юрка, больше идти некуда,— сказал я, когда с унылым скрипом закрылась за нами дверь последнего на нашем пути магазина.

Он стоял передо мной в пальто нараспашку, в шапке-ушанке, одно ухо которой было задрано вверх, а другое прикрывало левую щеку. С тусклого неба падали какие-то хлипкие, беспомощные снежинки, и вся Юркина фигура тоже выражала и беспомощность, и растерянность, и отчаяние.

— Так-то вот, братишка. Невеселые дела. Больше идти некуда,— повторил я.

Юра ковырнул снег носком валенка, уныло спросил:

— А как же быть?

— Может...— попытался я утешить его,— может быть, вам в школе галстуки выдадут? Вы соберете деньги, кто-нибудь съездит в Смоленск. Там-то уж наверняка есть.

— Нам, Валь, сказали, чтобы каждый с собой принес. У всех есть, а у меня нет.

— Раньше надо было думать...

Мама, когда мы рассказали ей о нашем невезении, расстроилась не меньше Юры.

— Вот ведь неувязка! — повторила она грустно.— Что же нам теперь делать-то?

Отец тоже был озадачен, но он смотрел на все житейские явления оптимистичнее.

— Не беда, Юрка. Недельку без галстука походишь, а там я соберусь в Смоленск... Важно, чтобы в душе пионером себя чувствовал.

— Но ведь их повязывать нам завтра должны,— в отчаянии выкрикнул Юра, не убежденный доводами отца.— Как же я один без галстука останусь?

— Не дело говоришь, Лень,— вмешалась и мама.— Яичко к празднику дорого. А ты, Юрушка, ложись-ка спать. Утро вечера мудренее, что-нибудь да придумаем.

Не только в Юриной — ив моей душе после этих слов затеплилась какая-то надежда. Мы привыкли к тому, что зря мама ничего не обещает.

Когда ребята угомонились, заснули, мама поставила на стол швейную машинку. Отец заворчал:

— Ты чего это на ночь глядя? День мал?

— Мал, Лень. И сутки коротки.

Вздохнув, открыла мама свой старенький сундук, переживший революцию и две войны, ее девичество и ее молодость, долго копалась в нем, а потом извлекла с самого дна какой-то сверток. Содрала с него пожелтевшую от времени газету, развернула — огненным кумачом загорелась в ее руках рубаха-косоворотка.

— Ты чего, спятила? — испуганно спросил отец.— Чего-то ты вдруг, Нюш?

— Надо, Алексей Иванович. На дело ведь. Куда ножницы-то запропастились?

Давным-давно, до войны еще, в Юрином возрасте, а может, и

того меньше, видел я эту рубаху. Только раз и видел. И знал о ней, что она — единственная память о нашем деде, мамином отце. Память о путиловском рабочем Тимофее Матвееве.

Я никогда не видел деда, родился через несколько лет после его смерти, но биографию его знал, кажется, назубок. Впрочем, не я один знал — длинными зимними вечерами частенько рассказывала нам мама о своем отце.

Десятилетним парнишкой попал Тимошка Матвеев из смоленской деревни в Петербург. Хлопец был смышленый и бойкий и за несколько лет испробовал самые различные работы: служил «мальчиком» на побегушках, разносчиком товаров, подсобным рабочим в какой-то гвоздильной мастерской. В 1892 году, уже пообтершийся в столице, повзрослевший, Тимофей Матвеев определился на Путиловский завод. Со временем стал металлистом, причем очень высокой квалификации.

Семья у деда Тимофея была не маленькая: сыновья, дочери, все один одного меньше. Мастерство его и рабочее умение приносили, в общем-то, заработки не ахти какие: жили скудно, перебивались с хлеба на квас.

Может, от этой жизни впроголодь, а может, оттого, что, научившись грамоте, стал понимать Тимофей Матвеевич Матвеев, как несправедливо устроен мир,— от этого, может, и стал он близок к «бунтовщикам», к революционерам. Участвовал в событиях пятого года, попал под пули в день 9 января во время шествия к царю.

— Ой как он плакал, когда прибежал домой с той проклятой демонстрации, какими страшными словами попа Гапона бранил! — рассказывала нам мама.— Крови-то рабочей сколько в тот день пролилось — подумать невмоготу. За нашим домом ручей сточный протекал, от бань от общественных, так даже в нем вода красным цветом занялась.

И плакал Тимофей Матвеевич по рабочим, без вины погибшим, по товарищам своим. А еще — от яростной обиды на то, что так легкомысленно поверили они, и он в том числе, продажному попу Гапону, пошли у царя правды и заступничества искать...

Мама об этой истории в подробностях от Марии Тимофеевны слышала, от старшей своей сестры.

Кто-то из хозяйских держиморд по наущению охранки «помог» деду во время работы получить тяжелое увечье: Тимофей Матвеевич проходил по цеху, когда сверху сбросили на него раскаленную болванку.

По стопам отца пошел и старший мамин брат, Сергей Тимофеевич. Тоже питерский рабочий, он уже в семнадцать лет

получает «волчий билет» за участие в забастовках, на квартире Матвеевых часто устраиваются обыски — жандармы ищут запретную литературу. После революции Сергей Тимофеевич, большевик, комиссар одной из частей Красной Армии, сражается на различных фронтах, принимает участие в подавлении кулацкого мятежа в Гжатском уезде.

В двадцать втором году его, полного сил, энергии, сразил сыпной тиф.

...Все это вспоминалось мне в те минуты, когда я увидел косоворотку деда в маминых руках. И еще вспомнилось — тоже мама рассказывала, что дед надевал рубаху эту только по большим праздникам — в дни тайных рабочих маевок.

— Зря ты это,— тихо сказал отец.

— Надо,— повторила мама, берясь за ножницы.

Вскоре на стул поверх аккуратно сложенной Юриной белой рубахи лег кумачовый галстук.

— Ура! Спасибо, мамочка! — бросился Юра утром целовать маму.

Юра не догадывался, какой ценой достался ему этот галстук, не подозревал, что матери пришлось пожертвовать кумачовой рубахой — единственной памятью о деде Тимофее.

Мы и не собирались говорить ему об этом. Зачем?

А сказать все-таки пришлось. И случилось это, наверно, через неделю после того, как его приняли в пионеры. Вот при каких обстоятельствах случилось.

Юра прибежал из школы, швырнул сумку на скамью, закричал с порога:

— Знаешь, Валя, нам новые галстуки выдали, настоящие! Поменяли на старые.

Дома, к счастью, был я один.

— Смотри,— расстегнул он пуговицы пальто.— Шелковый!

— Ты что наделал?

Наверное, он что-то прочитал на моем лице или по голосу понял, потому что притих, спросил негромко:

— А что?

— Твой же галстук мама знаешь из чего сшила? Из красной рубахи деда Тимофея.

Я хотел рассказать ему, как это было, и не успел: Юра повернулся на пороге, выскочил на улицу.

Вернулся он скоро, вернулся в своем — сатиновом галстуке.

Труба дело!

Эту трубу Юра принес из школы.

Была она старенькой, неприглядной: на одном боку вмятина, на другом — заплата, мундштук облез до невозможности.

Пока брат снимал с себя пальто и переодевался — менял черные, аккуратно выглаженные брюки на старенькие, коротковатые уже, и белую парадную рубаху на полосатую домашнюю, я повертел трубу в руках и даже обнаружил на ее медном поле выцарапанную чем-то острым надпись: «Леня любит Симу. 1937».

Вон ведь какая старушка! И Леня, наверно, уже давно разлюбил Симу, и Сима, думать надо, уже не та — на десять лет старше стала. А поколения мальчишек из года в год мусолят эту трубу в губах.

— Буду играть в школьном духовом оркестре,— сообщил Юра, покончив с переодеванием.— А сейчас послушай, соло исполнять буду.

Я опасливо покосился на зыбку, в которой безмятежно посапывал Зоин первенец — наша с Юркой племянница, нареченная Тамарой, Томой.

— Да ты не бойся,— успокоил брат.— Я тихонько.

Взял трубу из моих рук, набрал в легкие воздуху и...

Трудно передать, что за дикие это звуки были.

Маленькая Тамара мгновенно проснулась в зыбке и завопила изо всех силенок. Я закрыл уши. С огорода приковылял отец, остановился на пороге, смотрит. А Юра надул щеки, побагровел от натуги весь и дует, дует... и вроде бы не слышит сам себя.

— Ну, труба дело! — угрюмо сострил отец.— Ай да музыкант, аи да композитор Чайковский!

Юра оторвался от инструмента, переводя дыхание, невинно посмотрел на отца:

— Хорошо получается, а?

— Куда лучше! Вишь вон, девка надрывается. Просит, значит, чтобы еще сыграл, очень ей по нраву пришлось.

— Я могу.

Он снова поднял трубу вверх. Отец подморгнул мне:

— Я глуховат, так мне уж способней с огорода послушать.

И ушел.

Я тут же решил раз и навсегда избавить брата от иллюзий относительно его музыкальных способностей.

— Юрка, зачем ты не за свое дело берешься? Тебе же при рождении медведь на ухо наступил.

Тут был маленький перебор: слух Юра имел, пел неплохо. Но мысль о кошмаре, которым угрожала спокойствию нашей семьи злосчастная труба, и толкнула меня на эту ложь. Как говорится, на ложь во спасение.

— Над тобой вся школа, весь город смеяться будет.

— Ты думаешь, не за свое дело? А если у нас трубача в оркестре нет, тогда как? Должен же кто-то играть.

— Но почему именно ты?

Он положил инструмент на скамью, раскачал зыбку — племянница понемногу утихла.

— Ладно, Валька, я тебе покажу, есть у меня способности или нет их.

Прихватив трубу, он ушел в сарай, туда, где были сложены дрова. Вскоре дикие, лохматые звуки понеслись над садом.

Несколько месяцев подряд — аккуратно, по вечерам, когда всем нам так хотелось отдохнуть после работы! — изводил нас Юра тренировками.

— Опять композитор упражняется, хоть из дому беги,— морщился отец, но теперь в его словах было больше добродушия, нежели насмешки. Упорство сына ему явно нравилось.

И однажды труба запела с необыкновенной чистотой, протяжно, печально и красиво.

— Смотри-ка, что выделывает, щучий сын! И впрямь Чайковский,— изумился отец.— Ну, теперь труба дело!

Столько торжества послышалось в его голосе, что можно было подумать: не сын, а сам он овладел сложным искусством трубача.

В канун октябрьских праздников Юра положил на стол несколько белых картонных квадратиков.

— Вот. На всех принес. Обязательно приходите.

Я взял один квадратик. От руки фиолетовыми чернилами крупным детским почерком было выведено:

«Дорогой товарищ!

Коллектив школьной художественной самодеятельности приглашает Вас на праздничный концерт...»

Дальше были проставлены дата и часы, а вес это венчалось солидной подписью: «Совет пионерской дружины».

— Ты-то будешь выступать? — заинтересованно спросил Юру отец.

— А как же!

— Тогда готовь, мать, выходное платье. Посмотрим, что за артист в нашем доме растет. Как знать, может, со временем лауреатом станет.

Нужно было видеть, как собирался на этот вечер отец: выскоблил щеки самым тщательным образом, вырядился в чистую рубаху и даже, украдкой от нас, обрызгал себя духами — позаимствовал у Зои. И все поторапливал маму: что ж ты, мол,

копаешься, Юра не увидит нас — расстроится, сорвет выступление.

Вот и школа. Зал гудит как взбудораженный улей: пионеры все в белых рубашках и кофточках, с галстуками на груди, ошалело носятся из угла в угол, радостными криками встречают родителей, стараются посадить поудобнее, и чтобы сцена получше видна была. Нам места аж в первом ряду достались.

Наконец угомонились все, вышел на сцену ведущий, тоже школьник, и объявил, что праздничный вечер чтением стихов открывает ученик пятого «А» класса Юра Гагарин.

— Смотри, мать, смотри! — толкнул отец маму.

Я искоса взглянул на него: легкий румянец проступил на его щеках и даже — вот дела какие! — в ладоши хлопает отец. Горд за сына, значит.

Юра очень уверенно прочитал стихотворение, ему аплодировали, и он выходил, раскланивался, и видно было, что общее внимание льстит ему.

Программа у ребят и в самом деле была приличная, выступали они с жаром, от души выступали. И ведущий старался вовсю. Чтобы поощрить товарищей, что ли, или уступая мальчишескому тщеславию, но перед каждым номером, даже групповым, он обязательно поименовывал всех участников.

Тут-то и началось.

— Танец «Лявониха»! Исполняют...— И, в числе прочих, слышим: — Ученик пятого «А» класса Юра Гагарин.

Чуть позже:

— Выступает школьный духовой оркестр!

Снова, среди других, называют нашего Юрку. Трубач! — из песни не выкинешь.

Смотрю, отец заерзал на скамье, и уже не легкий румянец — красные пятна по щекам пошли. Ясное дело, ничего похожего на гордость за сына в душе его не осталось.

— Песня «Это было в Краснодоне, в грозном зареве войны...»

Хор не велик, а он, злодей, опять же там, в хоре.

А когда тот же ведущий, торжественно и громко выговаривая слова, объявил, что пятиклассник Юра Гагарин художественно прочтет из романа «Молодая гвардия» отрывок «Руки моей матери», отец поднялся со скамьи и, сутулясь, больше обычного приволакивая больную ногу, пошел на выход.

Юра в этот момент как раз появился на сцене.

«Эх, батя, поспешил — сорвал номер!» — екнуло у меня сердце.

Проводив отца растерянным взглядом, Юра шагнул к рампе и дрожащим от волнения голосом начал читать отрывок.

Постепенно он справился с волнением, голос его окреп, и, поскольку в зале сидело много матерей, достались Юрке в награду такие аплодисменты, что, будь при сем отец, простил бы он сыну все вольные и невольные прегрешения.

Но отца в зале не было.

Тут как раз объявили перерыв. Мы с мамой вышли в коридор. Батя стоял там, подперев спиной подоконник, и угрюмо ломал в руках самокрутку. Видно было, что мучительно хочется ему закурить, но сделать это в школе он не решался.

Вихрем — лишь концы галстука в разные стороны — налетел Юра.

— Ну как? Понравилось?

Мы не сразу нашлись, что ответить.

— Чего же молчите? — заволновался брат.

— Хорошо, Юрушка. Сам небось видел, как народ-то радовался,— поспешила успокоить его мама.

Отец швырнул изломанную, ни на что не годную самокрутку в ведро, которое стояло под бачком с водой, надвинул фуражку на глаза.

— Плохо. Скверно. Лучше бы, мать, мы с тобой дома остались, чем так-то...

Юра искренне удивился, не поверил:

— Да что плохо-то? Вон сколько хлопали нам. И меня еще на бис вызывали.

— Вот именно, только тебя и вызывали. Ты мне вот что объясни: у вас других способных ребят нет, что ли? Все Гагарин да Гагарин! И швец, и жнец, и на дуде игрец... Зачем выпячивать-то так себя? Провалиться со стыда можно.

Юра смешался, тихо отошел в сторону.

— Вот и обидел парня. Испортил праздник,— посочувствовала Юре мама.

— Как это обидел? Сам он себя обидел. За дешевой славой погнался. А цена ей — выеденное яйцо.

Досматривать концерт отец не остался — ушел домой.

Что ж скрывать, была в тот вечер в его словах правда. Всю жизнь они с матерью учили детей скромности, и легкий успех Юры на концерте конечно же обескуражил отца.

К счастью, и для Юры этот урок не прошел даром. Нет, он не отказался от выступлений в художественной самодеятельности, но на сцене после этого вечера вел себя сдержанней и не рвался участвовать в тех номерах, которые кто-то мог исполнить лучше, чем он.

* * *

До последних дней своих буду помнить я, с каким изумительным великолепием читал со сцены Юра отрывок «Руки моей матери» из романа А. Фадеева «Молодая гвардия». По-моему, это был любимый Юрин номер, и, когда он выступал с ним, в зале не оставалось равнодушных.

Авторы книги «Первый космонавт» журналисты «Правды» С. Борзенко и Н. Денисов приводят строки из письма Юрия Алексеевича матери. Вот они: «Мама, я люблю тебя, люблю твои руки — большие и ласковые, люблю морщинки у твоих глаз и седину в твоих волосах... Никогда не беспокойся обо мне!»

Каждый, кто читал «Молодую гвардию», может убедиться, как близко соприкасаются эти строки из письма космонавта с размышлениями героя-краснодонца Олега Кошевого...

Операция «Баян»

Юра был большой выдумщик и фантазер — и в игре, и в работе. Неугомонный, беспокойный, очень подвижный, он, кажется, никогда не знал усталости. И на любое дело у него всегда находились и время и желание.

Однажды школьников пригласили в правление колхоза.

— Два года засуха и неурожай сводили на нет все наши усилия. Вы, ребята, небось сами без хлеба за это время насиделись. Вот мы и просим: помогите.

Председатель поднялся за столом, и ребята, загремев стульями, тоже повскакивали с мест. В прокуренную комнату правления колхоза набилось их, учеников, десятка полтора.

— Так как же, ребята, договорились?

— Договорились.

— Сделаем,— наперебой заговорили школьники.

— Только вы, товарищ председатель, без обману чтобы...

— Вот и хорошо. Я надеюсь на вас. А что обещал — обещал крепко. У фронтовиков слово — олово.

Председатель вышел из-за стола и, обходя учеников, каждому, как взрослому, пожимал руку. Потом ребята шумной гурьбой высыпали на крыльцо.

Председатель смотрел на них из окна.

— Думаешь, будет толк? Не остынут? — вышагивая по комнате, поскрипывая протезом, с сомнением спросил бухгалтер — пожилой мужчина в выцветшей солдатской гимнастерке с двумя нашивками за ранения.

— Толк, говоришь? Думаю, будет. Симпатичные хлопчики.

А «симпатичные хлопчики» по дороге в школу возбужденно вспоминали недавний разговор в правлении.

— Он так и сказал: операция почти военной важности,— озорно сверкая глазами, говорил Женя Васильев.

— А у дяденьки у того, у бухгалтера,— видели? — два тяжелых ранения.

— Постойте, ребята, а как мы назовем нашу операцию?

Разные посыпались предложения.

— «Самоварное золото».

— Сам ты самоварное золото... Операция «Икс»!

— При чем здесь икс?

— А при том, что так интересней. И никто ничего не поймет.

— Погодите, я придумал.— Валя Петров поднял руку вверх, сжал пальцы в кулак, рубанул воздух.— Назовем так: операция «Баян». А ты, Гагра, что скажешь?

— Здорово! Кому не нужно, тот и так не поймет, что к чему. Принято, ребята?

— Я за!

— Согласен.

— Заметано!

Женя Васильев прикатил огромное железное колесо с толстыми прутьями спиц. Валя Петров, пыхтя и отдуваясь, приволок пару неподъемных слег.

— Помогите, ребята,— попросил Юра.

Втроем они вытащили из сарая длинный и прочный ящик, вынесли несколько досок.

— Годится?

— В самый раз.

Застучали молотки, запела, кромсая доски, ножовка. Полдня ребята усердно сколачивали тачку. Отец с интересом наблюдал за их работой, потом не выдержал, скинул телогрейку:

— Помогу.

Взял в руки топор.

— Тут одним колесом не обойдешься,— весело покрикивал он через минуту.— Тут ножки приладить надо, чтобы ставить ее можно было. Для опоры, значит.

К вечеру тачка была готова. Ребята обошли ее со всех сторон: неуклюжая колымага вызвала у них неподдельное восхищение. Оно и понятно: своими руками сбита-слажена.

— Как царская карета.

— Сказанул: «карета»... Броневик!

— Чего-то еще не хватает.

Юра нырнул в сарай и вернулся с банкой краски.

— Сейчас мы название напишем.

...Утром по Ленинградской улице трое мальчишек — пальто нараспашку, шапки сбиты на затылок — толкали перед собой

внушительных размеров тачку. На бортах ящика,— пожалуй, следовало бы назвать его кузовом — крупно, голубой краской было написано: «БАЯН».

Встречные пешеходы замедляли шаг, озадаченно смотрели вслед ребятам.

Остановили мальчишки свой экипаж у первого по улице дома, с цифрой 1 на табличке, прибитой к углу.

— Отсюда начнем.

Хозяйке, отворившей дверь на их стук, ребята объяснили:

— У вас, наверное, зола есть или помет куриный? Мы для колхоза удобрения собираем.

— Ради бога,— засуетилась обрадованная хозяйка.— Вот умные мальчики, вот правильно надумали. Другие озоруют, а эти делом занялись. Проходите, проходите, ребятки. Главное, колхозу-то какая польза будет!.. Лопаты у меня здесь, а тут я курочек держу.

Валя Петров, снимая рукавицы, озабоченно присвистнул:

— Тут на неделю работы.

— Хорошо. Чем больше — тем лучше,— с оптимизмом откликнулся Юра.— За тем и шли.

— Да я, Юрк, просто так...

В тот же самый час по другим улицам города громыхали другие колымаги, и ребята, по двое, по трое, стучали в двери домов.

— Мы удобрения для колхоза собираем...

Так началась операция «Баян», уже на другой день утратившая для жителей Гжатска всю свою таинственность. Со временем хозяйки привыкли с вечера оставлять полные ведра золы на улице, у крыльца, и даже сердились, если ребята почему-то вовремя не опоражнивали их.

Длилась эта пионерская операция с середины зимы до самой посевной.

* * *

Осенью — ребята учились уже в шестом классе — в школу нагрянула делегация из колхоза. Горнист протрубил сбор пионерской дружины, и вожатая предоставила слово колхозному председателю.

— Дорогие мальчики и девочки,— начал он.— Могу отрапортовать: урожай в этом году мы вырастили неплохой, можно даже сказать, очень хороший вырастили урожай. В каждом колосе, который созрел на наших полях, есть и капля вашего

труда. Вы помните, конечно, что за хорошую работу мы обещали наградить вас музыкальным инструментом— баяном. Но...

Он остановился перевести дыхание. Ребята замерли. Неужто случилось что-то такое непредвиденное, и баян — мечта всей школьной самодеятельности — уплывает из рук? Вот тебе и слово-олово...

Председатель лукаво улыбнулся стоявшему рядом бухгалтеру:

— ...Но вот подсчитали мы предварительные доходы и решили единогласно на заседании правления увеличить премию. Очень уж вы правильные ребята. Кроме баяна доставили мы вам сюда дополнительную гитару и балалайку. Играйте на здоровье! И...

Дружное «ура» заглушило и последние слова в речи председателя, и торжественный туш, исполняемый школьным духовым оркестром.

Бухгалтер подвинул ведомость вожатой:

— Распишитесь в получении. Операция закончилась вашей победой.

Проиграл!..

Сделав уроки, Юра сложил в свою полевую сумку учебники и тетради, натянул старенький, вязанный мамой свитер и полез на печку.

— А где мои валенки? — прозвучало вскоре оттуда.

Вопрос буквально повис в воздухе: никто не знал, где его валенки.

Юра заволновался:

— Куда же они пропали? Я же их сушить на печку поставил.

Мы с мамой включились в поиски, заглянули под стол, под койки, вышли в сени, но валяные Юркины сапоги точно испарились.

— У нас же хоккей сегодня, с шестым классом сражаемся.

— Ну, не сходишь разок,— сказала мама.— Не велика беда.

— Да, не сходишь. Ребята придут, а капитана нет. Скажут, что струсил.

В эту критическую минуту с улицы прибежал Борис. Юра тигром бросился на него, но, увы, на Борькиных ногах были его собственные сапоги.

— А я знаю, где твои,— хитро улыбнулся Борька.— Только не скажу.

— Получишь!

Борька не выдержал:

— Папа их спрятал, только не знаю куда. Говорит, что на тебя обуви не напасешься, все коньками протираешь. Говорит, что тебе железные сапоги изобрести нужно.

Тик-так, тик-так,— выстукивали ходики на стене, неумолимо приближая час вечного и несмываемого позора капитана хоккеистов пятого «А» класса.

— Валя!..

Я с грустью посмотрел на свои новые, два дня назад купленные на рынке чесанки, вспомнил, сколько заплатить пришлось за них, представил, как крест-накрест перережут их белые верха туго затянутые веревки, и дипломатично, но решительно отказал:

— Они тебе велики, Юрка. Утонешь ты в них.

— Валя, голубчик, я тебе свой перочинный нож отдам?

Это была великая жертва с его стороны: новехонький нож со множеством лезвий, предмет зависти всех его товарищей в классе. Нет, принять эту жертву я не мог, но сердце мое дрогнуло:

— Ладно, надевай.

— Вот и не утонул, в самый раз почти.

...Часа через два Юра вернулся домой в самом мрачном настроении. Молча сел ужинать.

— Продули?

— Из-за меня. А все вот они виноваты.

Юра с недовольным видом показал на мои чесанки. Они стояли у печки, надломленные в голенищах, истерзанные веревками.

— Конечно, виноваты. Им и досталось поделом. Так, что ли?

— А то не так! Вылетел я из них, а шайба мимо ворот...

И он уткнулся в тарелку, давая понять, что разговор окончен.

Пришел с работы отец.

Юра — спокойствие понемногу вернулось к нему — сидел за столом, читал книгу. Потом, как бы невзначай оторвавшись от нее, поинтересовался.

— Любопытно, в чем я завтра в школу пойду? Босиком, что ли...

Отца не так-то просто пронять.

— По мне, хоть босиком. Я не миллионер, чтобы за зиму по две пары валенок тебе покупать.

Нагнулся к подпечку — и как это мы не догадались туда заглянуть? — вытащил разбитые Юркины валенки.

— Вот в них, в дырявых, и пойдешь. Хотел подшить сегодня, да не успел. А коньки твои, запомни, я выброшу.

...Свет тревожил меня, мешал спать. Я посмотрел на ходики: второй час ночи. Все спят, и кто-то забыл погасить на кухне

лампу.

Поднялся с койки, прошел на кухню. Сгорбясь, в майке и трусах сидел на табуретке Юра. На его коленях, прикрытых отцовским фартуком, лежал валенок. В одной руке он держал шило, в другой — иглу с продетой в нее дратвой. Раскроенное на куски, лежало на другом табурете голенище старого хромового сапога.

— Ты чего не ложишься?

— Да вот, мастерю. Завтра ведь отыгрываться надо. Ничего получается?

Один валенок был уже обшит. Я поднял его с полу, повертел в руках.

— В самом деле ничего. Как у заправского мастера.

— Хочешь, я и твои обошью?

А утром отец оценил его работу на пятерку с плюсом и, скрывая довольную улыбку, разрешил:

— Раз такое дело — катайся. Чего уж там...

* * *

В спортивных своих увлечениях Юра удержу не знал, играл азартно, самозабвенно. Занимался футболом, волейболом, плаванием. Да чем только не занимался!.. Уцелела и теперь широко известна такая, к примеру, фотография: Юра — тугой мяч под сгибом руки, невысокий в соседстве с рослыми ребятами — стоит во главе команды баскетболистов. Снимок, помеченный 1954 годом, относится к саратовскому периоду в жизни брата, к тому времени, когда учился он в индустриальном техникуме. Позднее, в Звездном, Юра «заразился» бадминтоном, и, думается, с его легкой руки бадминтон в последние годы стал очень популярен у нас. Объяснение этой популярности найти нетрудно: сразу после Юриного полета на «Востоке» многие газеты поместили фотоснимки: Юра на корте, в поднятой руке — ракетка. Тут же приводились его слова о том, что бадминтон дает всестороннюю нагрузку на организм...

Но — об азарте.

Мне рассказывали в Звездном товарищи Юры.

Куда-то он собрался ехать — не то за город, не то просто прокатиться решил, чтобы снять напряжение после работы. Во двор, к машине, выбежал, несмотря на мороз, в спортивном костюме. А во дворе мальчишки шайбу гоняют.

— Слышь, хлопчик, дай ударить разок,— обратился Юра к одному из юных хоккеистов, протягивая руку за клюшкой.

Парнишка не решился отказать, и через мгновение шайба, посланная точным щелчком, угодила в сетку ворот.

— Во дает, классно! — одобрили Юру те мальчишки, в чьей команде стал он нечаянным игроком.

— Гол не по правилам! Подстава! — запротестовали «противники».

Мимо ледяной площадки бабуся проходила, хозяйственную сумку с продуктами в руке держала.

Юра, окрыленный первым успехом, занес клюшку для нового удара, но... поскользнулся, и шайба легла прямехонько в бабкину сумку.

— Ах ты, окаянный! — подпрыгнула от неожиданности бабуся.— Связался черт с младенцами. Куда глаза твои глядят?

Клюшка выпала из рук брата, он густо покраснел:

— Вы извините, мамаша, я нечаянно...

Но бабка из сердитых оказалась — слова не давала вымолвить в оправдание.

— А ежели бы ты мне этой бонбой своей весь кефир переколотил? А ежели бы в глаз попал?

В общем, если бы да кабы...

Юра сообразил, что мировой не получится, пятясь, добрался до машины, сел за руль и, махнув старушке на прощанье, уехал.

Мальчишки об игре забыли — стояли, смущенные не меньше, чем виновник всей этой истории.

— Даешь ты, бабушка! — грубовато попрекнул один из них.— Самого главного космонавта перепугала — дядю Юру Гагарина.

Старушка заахала:

— А ведь никак он?! В самом деле он! Да как же теперь? Нешто я догоню машину, чтобы прощенье выпросить? Он-то, сокол ясный, повинился передо мной, а я его черным словом приласкала...

Можно не сомневаться в том, что хорошая физическая подготовка сыграла не последнюю роль при зачислении Юры в отряд космонавтов, при выборе кандидатов на первый полет на «Востоке»; можно быть уверенным, что закаленный организм, отличная реакция не раз выручали его в самых сложных ситуациях. Об этом следовало бы помнить всем тем нынешним школьникам, в чьих письмах так часто звучат такого рода признания: «Хочу обязательно стать космонавтом. Посоветуйте, с чего мне начать подготовку...»

«Моя любимая книга»

Этот альбом — маленькая потрепанная книжица из грубой

желтоватой бумаги — сохранился до сих пор. Страницы альбома разлинованы карандашом, от руки, на каждой — вырезанные из газет и журналов иллюстрации.

Я частенько перелистываю его.

«Моя любимая книга» — такое название выписано краской на обложке альбома, а чуть ниже чернильные строки поясняют: «Гжатская средняя школа. Преподаватель Раевская О. С».

Ольга Степановна Раевская, классный руководитель Юры, преподаватель литературы и русского языка. Долгие годы хранила она этот альбом — своеобразный сборник сочинений, написанных учениками пятого «А» класса в сорок седьмом — сорок восьмом учебном году, а потом передала его в Гжатск, в Юрин музей.

Любопытно взглянуть, какие книги назвали в числе своих любимых одиннадцати-двенадцатилетние сверстники и сверстницы Юры по классу.

«Моя любимая книга — «Молодая гвардия» писателя Фадеева»,— утверждала Тамара Широких. Ее сочинением и открывается самодельный сборник.

Саша Теплова поведала о боевом подвиге сапера Сергея Шершавина, удостоенного высокого звания Героя Советского Союза. На Тоню Дурасову («Милая, любознательная девчушка с ясным, открытым взглядом»,— говорил о ней в своей книге «Дорога в космос» Юрий Алексеевич) произвела огромное впечатление повесть Евгения Рысса «Девочка ищет отца». Витя Мухин восторженно рассказывал о боевых похождениях команды «Броненосца «Анюта» — героев писателя Лагина. «Приключения юнги» покорили лучшего школьного друга Юры — Валю Петрова. Своими мыслямио книге Елены Ильиной «Четвертая высота» делилась Аня Коноплева...

Подростки, пережившие тяжесть войны и оккупации детьми, они — все без исключения! — и своими любимыми книгами назвали книги о войне. Наверное, потому, что герои этих произведений были беззаветно преданы своей советской Родине, и ребята неподдельно восхищались ими, стремились им подражать.

Сочинение Юры из альбома изъято. Оно в музейной витрине, под стеклом.

В этом сочинении Юра писал о полюбившихся ему героях книги И. Всеволожского «В открытом море», о том, как моряки-черноморцы потопили подводную лодку гитлеровцев, как удалось им бежать из фашистского плена, как храбро они, черноморцы, сражались в партизанском отряде и первыми на катере «Ночной дельфин» ворвались в Севастополь...

Не очень замысловатое сочинение, с пятиклассников, по нынешним временам, требуют, кажется, больше. Но главное, чем привлекает эта книга школьника Юру Гагарина, главное, пожалуй, вот в этой написанной им фразе: герои книги, попав в труднейшие обстоятельства, «не пали духом, а продолжали бороться».

Это так похоже было и на него.

Книги в нашей семье пользовались особым уважением. Если отца больше увлекали исторические сюжеты, жизнеописания Петра Великого, то мама, в общем-то, читала все подряд: романы, повести, стихи. Едва выпадала свободная минута, бралась она за книжку. Ох как мало было у нее этих свободных и счастливых минут! Работа в колхозе, хлопоты по дому — кухня, стирка, шитье, уход за скотиной — отбирали все время.

— Коротки сутки,— вздыхала она нередко.

Глядя на родителей, на Зою, в школьном портфеле которой тоже всегда лежали две три книги из библиотеки, сызмальства пристрастился к чтению и Юра, а вскоре стал, пожалуй, самым заядлым книголюбом в нашей семье.

В начальной школе Юра глотал книжки без разбору. Тут были и старинные русские сказки — любить и уметь слушать их опять же научила его мама: она сама была великолепная сказочница,— и тоненькие книжицы для детей, и толстенные тома «взрослой» литературы, если они подвертывались Юрке под руку.

Находить верную дорогу в бескрайнем книжном море научила Юру и его товарищей Ольга Степановна Раевская. В своей книге Юра пишет о ней так: «...Внимательная, заботливая женщина. Было в ней что-то от наших матерей — требовательность и ласковость, строгость и доброта. Она приучила нас любить русский язык, уважать книги, помогала понимать написанное».

Помню, как переживал брат, услышав на уроке литературного чтения рассказ Ольги Степановны о дуэли, ставшей для Александра Сергеевича Пушкина роковой.

В ту осень и зиму сорок седьмого — сорок восьмого года Пушкин надолго и прочно вошел в наш дом. Увлечение им началось с не единожды перечитанных прелестных сказок — о рыбаке и рыбке, о золотом петушке, о царе Салтане. Сказки захватили нас, повели за собой. От сказок перешли к другим, более серьезным вещам. В долгие зимние вечера, когда пурга за стенами бесится, в нашей избе так уютно от пышущей жаром печи, оттого, что в сборе вся семья, оттого, что звенит пушкинской строкой Юрин голос:

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель...

Он читает громко, с выражением, только, пожалуй, как и все завзятые книгоеды, слишком торопится. Отец приставил руку к уху — после тифа у него обнаружилась глухота, покачивает головой в такт пушкинским стихам, а когда Юра останавливается перевести дыхание, просит:

— Не тараторь ты, ради бога. Ведь о Петре Великом читаешь, понимать надо.

Перебивать сына во время чтения он не решается.

Мама, кажется, рукоделием занялась, а посмотришь — рукоделие забыто, лежит на коленях, а сама вся превратилась в слух. Честно признаюсь, что поэзия Пушкина долго пугала меня, боялся я подступиться к ней. И если сейчас беру я в руки томики стихотворений великого поэта, беру с охотой и наслаждением — это с тех вечеров началось. А у Юры увлечение Пушкиным переросло в любовь к нему — и к творчеству поэта, и к личности его.

Думается мне сейчас, что это увлечение Пушкиным было вовсе не случайным. Юра по натуре своей был очень жизнелюбивым человеком, и весь строй гениальной пушкинской поэзии был созвучен его характеру, его внутреннему «я».

Так же, как и Пушкина, вслух, по вечерам, читывали мы всей семьей басни Крылова, рассказы и повести Горького. С годами убеждаешься: ничто в жизни не проходит бесследно. Думаю. Юра вспоминал эти чтения по вечерам, когда — много позже — писал: «В душе каждого из моих товарищей... в душе каждого из советских людей... живет несокрушимый дух горьковского Сокола, горьковского Буревестника, самого Горького, их «уверенность в победе»...» Эти слова — из речи, с которой Юра должен был выступить на торжественном заседании по случаю столетия со дня рождения писателя. Должен был выступить и — не успел...

Помню, что, начиная с этой осени, вместе с учебниками Юра постоянно носил в своей полевой сумке книги Лермонтова, Толстого, Некрасова, Гайдара. Именно тогда, кажется мне, начали складываться его читательские вкусы. И во всем этом, снова подчеркиваю здесь, сказывалось влияние Ольги Степановны

Раевской. Юра был активным участником затеваемых ею читательских конференций, по ее рекомендации вел дневник прочитанных книг, заучивал наизусть великое множество стихотворений.

А ведь время-то какое было! Вот как вспоминает о нем сама Ольга Степановна Раевская:

«Первого сентября 1947 года Юра пришел учиться в пятый класс. Классы маленькие, в деревянном доме. Заниматься зимой было очень холодно: замерзали чернила в бутылочках, которые дети носили с собой в школу. Иногда и сидеть приходилось в пальто...»

Далее — все это цитируется из письма Ольги Степановны — она пишет:

«...Язык Юры был чистым и выразительным. Он очень хорошо читал басни и стихотворения, например: «Бородино», «Волк на псарне», «Советский простой человек». Писал грамотно, ошибок делал мало... Он любил декламировать стихи о смелых, героических поступках советских людей. Читал произведения о Юрии Смирнове, Александре Матросове, отрывок «Руки моей матери» из «Молодой гвардии» А. Фадеева...

Услышав по радио сообщение о том, что в космос поднялся Ю. Гагарин, я подумала: «Уж не мой ли это Юра?» И перед моими глазами встала стройная фигура пионера с красным галстуком на груди. Я радовалась и восхищалась своим бывшим учеником, в воспитание и оформление характера которого внесла частицу и я, как преподавательница литературы и русского языка».

...Мне думается, что, если я не рассказал бы здесь о пристрастии Юры к чтению, о том, как учился он понимать и любить литературу, портрет пятиклассника Юрия Гагарина получился бы неполным. Значит, неполным было бы и наше представление о Гагарине-космонавте.

ГЛАВА 3
На пороге юности

Сватовство

С улыбкой вспоминаю я теперь, как нежданно-негаданно и нечаянно даже вмешался Юра в мою жизнь, да так вмешался, что круто изменилась она с того момента, по другому руслу потекла.

А дело было так.

В то утро я брился особенно тщательно и с особым старанием, стоял перед зеркалом, приглаживал волосы, и долго, так и этак, примерял галстук.

Юра сидел за столом, читал книгу, искоса — я заметил это — наблюдал за мной.

Кое-как управился я с неподатливым узлом на галстуке — редко приходилось мне его надевать, набросил на плечи пиджак.

— Ты куда, Валентин, вырядился так?

— Свататься иду.

Юра бросил книгу на стол, поднялся со скамьи. Глаза у него округлились.

— Врешь!

— С чего бы это мне врать?

— Возьми меня с собой. Возьми, не пожалеешь.

— Я пошутил, Юрка. Просто девушку одну навестить хочу.

Он и верил и не верил, и разочарование увидел я на его лице.

— Эх ты!.. В жизни не видал, как сватаются.

— Ладно, пойдем,— вроде бы неохотно согласился я.— Так и быть, Юрка, пойдем. Хоть проводишь меня.

По правде сказать, я рад был тому, что он увязывается со мной. Путь в Горлово недальний, но когда идешь на костылях... И потом, собрался-то я к девушке почти совсем незнакомой — неизвестно еще, как она примет, пустит ли на порог. Вдвоем все-таки смелее.

Юрка быстро натянул на себя свою парадную форму — черные брюки и белую рубаху, повязал пионерский галстук.

— Валь, а она... хорошая девушка?

— Очень.

— Пойдем.

Было первое воскресенье мая, день был тихий и солнечный. Странная все-таки штука: все воспоминания о добром, хорошем непременно окрашены в солнечный свет — свойство, что ли, у памяти такое? Была долгая дорога в очень не далекую от Гжатска

деревушку Горлово. Дорога с привалами — время от времени надо было отдохнуть, с ленивым, ни к чему не обязывающим разговором, с размышлениями о том, что вот минуем сейчас этот придорожный кустарник, поднимемся на пригорок, спустимся в него — и как раз начнутся крайние избы Горлова. В одной из этих изб и живет девушка, к которой — нет, не свататься мы идем: я и в самом деле пошутил, когда брат напрашивался со мной в дорогу,— а так... закрепить знакомство, что ли.

— Валь, а она кто? Как ее зовут?

— Она-то? Серьезный человек двадцати лет с очень русским именем Маша и с такой же русской фамилией — Иванова. Устраивает?

— Ага. Маша Иванова. Не забудешь.

Я очень мало знал ее, Машу Иванову. Увидел случайно на одной из вечеринок, куда вот так же, на костылях, ходил с дружками. Познакомился. Красивая девушка, правда, застенчивая чересчур. Потом ребята рассказали: родителей у Маши нет, живет с сестрой.

А мне Маша после первой нашей встречи и еще двух-трех мимолетных накрепко запала в душу: только о ней и думал. И на днях, пересилив себя, направился в гости.

— Вот мы и пришли, Юра.

Маша, к большой моей радости, дома была одна. Заслышав наш стук в дверь, завидев нас на пороге, растерялась:

— Заходите, ребята, присаживайтесь, пожалуйста.

Я опустился на скамью. Юра потоптался и неловко пристроился рядом со мной. Маша стояла у окна, беспокойными пальцами теребила пуговицу на кофточке. Юра исподтишка толкнул меня локтем: говори, мол, что-нибудь, неудобно же. А у меня в горле пересохло, с чего затеять разговор — не догадаюсь. Минуты две, наверно, длилось молчание. За это время я успел рассмотреть все сучки на отскобленных добела половицах и подумать о том, что, наверно, довольно жалкое зрелище представляет собой жених на костылях. Хватило же у меня нахальства в таком вот виде заявиться в гости, когда вот и в Гжатске, и в том же Горлове столько здоровых парней ходит. У такой невесты отбоя в женихах не будет.

Юра снова толкнул меня локтем. Тут уж я понял, что дальше молчать просто-напросто неприлично — раскрыл рот.

— Это,— говорю,— братишка мой. Юрой зовут.

— Вот как! — отвечает Маша.— А я его знаю — он в нашей деревне иногда бывает. И вы между собой похожи, даже очень.

А сама в окно смотрит, нас и не видит.

И снова неловкое молчание.

Юрка наконец осознал, что от меня проку не будет. Я даже не поверил, когда услышал вдруг его голос:

— Маша, а если мы к вам свататься придем, вы нас не прогоните?

Эх, сквозь землю провалиться бы мне вместе с проклятыми костылями!.. Ну, погоди, братишка, задам же я тебе трепку! Дай только отсюда живым выбраться...

К счастью, Маша притворяться не умела. Отвернулась от окна, посмотрела на меня этак серьезно и выжидательно и сказала просто:

— Если вы не смеетесь... Нет, не прогоню.

И как-то всем сразу легко и весело стало.

Потом мы пили чай, и шел у нас какой-то несерьезный и возбужденный разговор, и, пожалуй, больше всего радовало меня не то, что Маша не возражает против сватов, а то, что они с Юрой явно понравились друг другу, быстро нашли общий язык и начали задирать меня, подшучивая над моей неуклюжестью.

В Гжатск мы возвращались, когда уже изрядно завечерело.

— Валь, а папа с мамой знают?

— А что они должны знать, Юрка?

— Про это вот... что жениться ты хочешь?

— Пока нет, не знают. А какое им дело,— расхрабрился я.

— Ну да...

Не договорив, он задумался, но я-то отлично понял, что его беспокоит: как расценит мое «своеволие» отец? Признаться, эта мысль не давала покоя и мне: характер у бати крутенек, и при желании не всегда потрафишь...

Но отступать теперь, пожалуй, поздно. Выбрав, как мне показалось, подходящий момент,— вечером дело было, после ужина,— я сообщил родителям удивившую их новость: мол, вот думаю собственной семьей обзавестись.

Отец — иного и ждать не следовало — разбушевался:

— В зятья идешь? Из родного дома? Да еще старший сын... Что люди-то скажут?!

Но мама довольно быстро урезонила его: в доме и так повернуться негде — семья вон как выросла, а Валентину, мол, давно пора на собственные ноги становиться.

Вскоре в Горлово отправились настоящие сваты — мама и Дмитрий, муж Зои. А 9 мая, в День Победы, сыграли мы и свадьбу.

— Ну и девка у тебя, Валентин. Огонь! И как ты разыскал такую? —вслух выразил свое одобрение за свадебным столом отец.

Маша улыбнулась:

— Во всем вот этот сват в пионерском галстуке повинен,— кивнула она на Юру.— А то бы долго сидеть Валентину в холостяках.

Вскоре после свадьбы переехал я в Горлово.

Осенью, сентябрь на исходе был, наведался к нам в гости отец. Настроение в тот день было у меня прескверное, и от бати это не укрылось.

— Ты чего, приезду моему не рад?

Я махнул рукой:

— Понимаешь, картошку надо выкопать, а некому... Самому трудно, Маша в положении. И нанять некого, а погода — сам видишь... Со дня на день дожди зарядят. А то и мороз ударит.

Отец пристально посмотрел на меня и внезапно рассмеялся:

— Дурной ты, Валентин, выдумываешь себе заботы.— Потом посерьезнел: — Зря ты от нас оторвался — трудно тебе одному придется. Я вот что надумал: как костыли бросишь — перевезем мы твою халупу. В Гжатск перевезем. Я и место присмотрел, где поставить ее. А о картошке не беспокойся — готовь тару. С утра братьев пришлю.

Они заявились не то что утром — на самой кромке рассвета.

— Давно бы сказал,— укорил меня Юра.

— Только ты нам, пожалуйста, не мешай, не командуй тут,— добавил Борис.

К вечеру с огородом управились.

...Поздней осенью — уже белые мухи сеялись с неба — перевезли мы наш маленький дом в Гжатск, поставили его рядом с отцовским. И снова оказались все вместе, словно бы и не разлучались никогда.

Снова уверенней почувствовал я себя в жизни.

Грустная история Найдёныша

1

Тем летом, ближе к осени, мы частенько ходили в лес. Грибное выдалось лето, урожайное — с пустыми руками мы не возвращались. Мама днями сушила и солила наши лесные «трофеи», варила вкусные грибные супы, уговаривала:

— Да хватит вам ноги-то бить, устала я от грибов этих.

Но слишком велик был азарт.

Как-то дождь прихватил нас в лесу. С корзинами, полными грибов, мы укрылись под кроной старого могучего дуба. Сперва

под дубом было тепло и уютно, и весело было наблюдать, как со звоном падают вокруг озорные струйки воды, совсем не задевая нас. Но дождь баловался недолго — с черными лохматыми тучами приплыл всесокрушающий ливень; потоки воды, словно лезвия отточенных ножей, с грохотом пробили листвяной шатер и в мгновение ока вымочили нас до нитки. Мы сидели, прижимаясь спинами к шершавой коре ствола, жевали раскисший хлеб и с тревогой поглядывали на небо: тучи — предвестники близкой осени — накрыли его из края в край, не оставив и крошечного оконца. И хотя до ночи было еще ой как далеко — темнело стремительно.

— Как домой пойдем? Заблудимся теперь...

Борька очень боялся заблудиться в темном лесу.

— Расхныкался! — Стал подшучивать над ним Юра.— А я вот хочу заблудиться. А что, здорово! Жили бы в лесу, сами по себе, как индейцы. Дерево бы нашли хлебное, охотиться бы стали. Валь, давай взаправду заблудимся.

— Валь, чего он дразнится?

Вечная история. И минуты не могут они побыть вместе так, чтобы Юра не подразнил Бориса.

Вдруг Борька испуганно вскрикнул, вскочил на ноги, опрокинул корзину с грибами.

— Змея!

— Ужалила?

— Н-нет.

Я чиркнул было спичкой, но спички безнадежно отсырели, не зажигались.

Юра бесстрашно протянул руку к тому месту, где только что сидел Борис, что-то пошарил там.

— Глядите-ка, заяц.

Это был не заяц — зайчонок. Должно быть, он отстал от матери или заблудился, а жестокий ливень загнал его под тот же самый дуб, где тщетно пытались укрыться и мы. Мокрый и слабый, он сжался в комок в Юриных руках. Я погладил его и услышал, как резко бьется под ладонью его сердце.

— Возьмем его домой,— предложил Борис. Пыхтя и отдуваясь, он ползал на коленях — собирал в корзину грибы.

— Конечно, возьмем.

Я попробовал отговорить ребят:

— Не будет он жить в избе, сдохнет.

Попробовал отговорить, но не тут-то было: братья двинули в ход самые веские, по их мнению, аргументы.

— Кролики живут, да еще как!

— Мы его кормить станем. Капустой и морковкой. И молоком

поить.

— А тут его волк слопает.

Я не устоял, сдался. Ладно, тащите домой...

Ливень не стихал — видно, не удастся нам его пересидеть. А впрочем, и терять нам нечего, все одно насквозь мокрые. Так и пошли домой — в потоках воды, падающей сверху, в потоках воды, клокочущей на земле.

Зайчонка Юра нес за пазухой.

Дома ребята соорудили косому клетку из старого ящика, застлали ее зеленой травой, принесли морковь, капусту, стручки гороха. Кошку, которая проявила к зайчонку повышенный интерес, Юра так шуганул, что она и на следующий день не появлялась в избе.

— А как мы его назовем? — поинтересовался Борис.

Юра не задумывался:

— Так и назовем: Найденыш.

Он всех привел в умиление, этот крохотный длинноухий зверек. Отец обкуренным пальцем пощекотал его где-то за шеей и многозначительно изрек:

— Тоже живое существо...

Мама согрела в печке молоко и налила целое блюдце.

Юра и Бориска наперебой совали Найденышу былинки посочней:

— Ешь, ну ешь, пожалуйста.

Шерсть на зайчонке высохла — серая, с отливом, недлинная шерстка; он согрелся и приободрился, видать: когда на него не смотрели, когда в избе было тихо — пытался грызть капусту и морковку. Стоило же кому-то из нас подойти к его жилищу — он тут же забивался в угол и смотрел оттуда испуганными глазами, в которых перебегали зеленые искорки.

К концу недели, однако, Найденыш совершенно перестал притрагиваться к зелени, шерсть на нем свалялась, и даже слабые искорки в его глазах погасли.

Тут по случайности как-то вечером заглянул к нам Павел Иванович. Юра сразу же потащил его к Найденышу: как-никак, специалист, ветфельдшер.

— Худо дело. Если и выживет — только в лесу. Как говорится, тоска по дому. Такое и с людьми бывает,— заключил дядя Паша.

Юра встрепенулся:

— Борис, одевайся. Сейчас мы его в лес отнесем.

— Ну да, не пойду я. Поздно уже.

— Тогда я один.

— Сиди дома. Ишь шустрый какой на ночь глядя... Успеется

утром,— прикрикнул отец.

Спорить с отцом бесполезно. Юра притих.

Ночью, когда все улеглись, Юра, прихватив зайчонка, не одеваясь, выбрался из дома через окно, отвязал Тобика с цепи и, сопровождаемый им, ушел в лес.

Вернулся он под утро — мама как раз выгоняла корову в стадо. Отворила калитку — Юрка стоит: голый по пояс, босые ноги исхлестаны мокрой травой, продрог — зуб на зуб не попадает.

Мама погрозила ему пальцем. Он потупил голову, расстроено сказал:

— Все равно умер. Я его на траву пустил, он сначала пополз, а потом уткнулся в землю и ни с места. Я поглядел, а у него глаза закрыты, и не дышит.

— Вот видишь, сынок. Не стоило и в лес ходить, ночь терять.

Юра упрямо качнул головой:

— Нет, стоило.

2

Тем летом как-то неожиданно для всех, вспышкой, взрывом, что ли, пробудилась в Юре необыкновенная любознательность, необыкновенный повышенный интерес ко всему окружающему.

Он и прежде не мог, бывало, успокоиться, пока не находил ответа на любой занимавший его вопрос, даже самый незначащий, самый пустячный.

Но теперь мир его увлечений и поисков, в отличие от прежних лет, обрел направление, систему.

Он ведет дневник наблюдений за природой. В общую тетрадь аккуратно записывает время восхода и захода солнца, характер облачности, силу ветра, делает зарисовки деревьев, примечает, когда завязываются плоды на яблонях и вишнях, когда появляются птенцы у скворцов, когда на колхозном поле прорастают всходы пшеницы.

Он надолго уходит в луга и возвращается оттуда с карманами, полными камней. Коллекция этих камней находится у него в продолговатом, специально сколоченном ящике. Ящик поделен на мелкие ячейки: каждому камешку — особое гнездышко и особая этикетка. «Полевой шпат», «Кварц», «Известняк», «Кремень» — аккуратной рукой выведено на них.

— Ты что, золото хочешь найти? — подразниваю я его.

— Да нет, Валь, какое еще золото... Просто это очень интересно.

Он делает гербарии из трав и цветов, собранных по берегам Гжати, и однажды показывает нам свое богатство. И мы с удивлением узнаем, что из той самой травы, по которой мы ходим ежедневно, из пропыленной, неприметной травы можно выбрать едва ли не двести самых различных видов.

Все реже и реже выходит он за огороды — туда, где Борис и его неугомонные приятели целыми днями играют в войну. Эта любимая так недавно игра уже не доставляет Юре удовольствия.

— Детство — еще на несколько лет вперед — остается привилегией Бориса. Два года разницы в возрасте братьев, разницы, не обозначавшейся прежде так отчетливо и резко, теперь стали очень заметны.

ГЛАВА 4
Беспалов

Пошутил!

Глубокой ночью где-то по соседству с нашим домом прогремел взрыв.

Я вскочил на ноги, чиркнул спичкой, зажег лампу.

— Что-то случилось? — встревожено спросила Маша.

Новый взрыв ударил поблизости. Звякнули стекла, огонек лампы надломился, задрожал.

— Слышишь?

Маша побледнела.

— Не выходи, Валентин.

Я молча оделся, сунул ноги в валенки, выскочил на улицу.

У наших столпотворение: на крыльце дома — отец, фонарь в руках держит. Мама в наброшенном на плечи полушубке. Бориска. Все суетятся, кричат. Только Юры не видно.

— Что случилось?

— А черт ее знает,— выругался в сердцах отец.— Гранатой, что ли, пошутил кто-то. Вишь вон — стекла вынесло.

Под окнами по фасаду дома обнаружили мы в снегу две воронки и осколки стекла — превеликое множество осколков, крупных и мелких.

Отец поднял один, поднес к фонарю. Не очень-то похоже на оконное стекло.

— Ах он, стервец! Ну, погоди, выдеру я его как Сидорову козу,— снова забранился отец.

— Кого «его» — и спрашивать не надо. Ясное дело, Юрку.

Наутро я заглянул к нашим. Угодил как раз к завтраку. Юра сидел за столом уткнув нос в миску — ниже травы, тише воды был. Только ложка знай позвякивает о края тарелки. «Попало»,— понял я.

Отец расхаживал по комнате.

— Так что случилось-то?

— Ученый, видишь ли, в нашем доме объявился. Профессор, паршивец этакий,— на громких тонах начал объяснять отец.— Опыты ставит, Ломоносов!

Юра чуть приподнял голову, сказал вполголоса:

— Виноват я, так ведь не рассчитал немного. Нам же на уроке физики такой опыт велели поставить.

— А две четверти вдребезги разнести тоже вам велели? А

окна бить вас учителя учили? Хулиганство вам в школе преподают, пятерки за него ставят? Да что ж это за школа такая, когда она дому в ущерб?

Отец бушевал. Юра смиренно доедал завтрак.

Теперь-то, наконец, и я уразумел, о каких четвертях идет речь. С предавних пор стояли в нашем доме две четвертные бутыли темно-зеленого стекла, широкогорлые, в плетеных корзинах. Сколько помнил я себя, в этих бутылях всегда хранили керосин, разве только во время войны пустовали они. Так Юра, значит, приспособил эти бутыли для какого-то хитрого опыта, а они возьми и взорвись, да еще вдобавок и переполошили всех нас в самую ночь.

— Ладно, батя,— попытался успокоить я отца,— пора переходить на жестяную посуду.

Однако успокоить отца не так-то просто. Ушел я.

Минут через десять, по дороге в школу, заглянул к нам Юра.

— Что же ты, брат, сотворил все-таки?

Он улыбнулся хитро и ответил не очень вразумительно:

— Маленький опыт с кислородом. Не все учел...

Схватил со сковородки горячий соевый блин, комкая его в руке, исчез за дверью. Ненадолго, впрочем: через мгновение дверь растворилась, Юрина голова показалась в створе.

— Знаешь, Валь, кто нас по физике учит? Беспалов Лев Михайлович. Летчик военный. Сила!

И снова хлопнула дверь.

Шерсть «на задир»

Недавний военный летчик Беспалов приходил на уроки в кителе, на котором еще так заметны были следы только что снятых погон, дырочки от орденов и медалей. Приходил аккуратно выбритым, подтянутым — молодой еще, но много повидавший и переживший человек.

Класс не просто поднимался ему навстречу — ребята вставали за столами едва ли не по стойке «смирно». Каждый хотел показать, что и ему не чужда военная выправка: в тринадцать лет так заманчиво играть в армию, даже на уроках.

Нужно сказать, что эта игра, в общем-то, не мешала ни учителю, ни ученикам.

— Здравствуйте, ребята!

— Здравствуйте, Лев Михайлович! — четко и раздельно звучало в ответ.

Беспалов раскрывал журнал.

— Что ж, начнем... Васильев!

— Есть!

— Гагарин!

— Есть!

— Дурасова Антонина!

— я...

Ему, одному из немногих, даже самые озорные ученики не решались отвечать шутовским «здеся» или «тута». Все было на военный образец и вместе с тем легко, не натужно. Беспалова ребята полюбили как-то сразу и безоговорочно и не разочаровались в нем впоследствии. Его не боялись, но его уважали. А ведь он вовсе не был строгим или чересчур сухим, чрезмерно педантичным. Наоборот, увлекающийся, веселый, в чем-то даже бесшабашный человек. Может, потому и любили его. И потому еще, что даже такой сложный предмет, каким является физика, умел он объяснить доходчиво и просто...

— Юра Гагарин, попрошу к доске. Та-ак, вчера за домашнее задание ты получил пятерку. Сегодня готов к ответу?

— Готов.

— Хорошо. Вот мы сейчас и приступим к новой теме. Объясни-ка нам Юра, почему яблоко с яблони падает?

— Так это просто. Созрело — вот и упало.

— Верно. А почему оно падает не вверх, а вниз? Почему камень, брошенный тобою вверх, тоже падает на землю? Ты задумывался над этим?

— Потому что земля ближе, чем луна.

— Тоже, в общем-то верно. Бери мел, рисуй на доске земной шар, яблоню на нем. И яблоко в стороне изобрази. Да смелей, смелей. Существует, ребята, в физике закон земного притяжения, открытый Ньютоном. Вот мы и попробуем в нем разобраться...

...— Валя Петров!

— Есть!

Лев Михайлович внимательно смотрит на ученика. Петров потупил глаза, одергивает рукава курточки.

— Вот ты, Петров, вчера весь вечер терзал кошку. Скажи нам, зачем ты мучил бедное животное?

— А вам что, мама нажаловалась?

— Мне никто не жаловался. К сожалению, я пока не знаком с твоими родителями... Так зачем ты кошку мучил?

Валентин — щеки у него алеют спелыми помидорами — застенчиво признается:

— Я из нее, Лев Михайлович, электричество добывал. Я ее и погладил-то чуть-чуть, только на задир.

— На задир, говоришь? Интересное слово. Против шерсти, значит. Так? И добыл электричество?

— Ага. Шерсть так и затрещала.

— Вот теперь подумай... все, ребята, подумайте: а если выкупать эту кошку — можно по методу Петрова добыть электричество из ее шерсти?

— Нет!

— Васильев сказал «нет»? Объясни почему. Не знаешь?

Думайте, ребята, пять минут вам на размышления.

Ребята думают, прикидывают так и этак.

Гремит звонок. Лев Михайлович выходит из класса.

Смущенный Валя Петров стоит в окружении ребят.

— Как он про кошку догадался?

— Он все насквозь видит.

— Он на войне из горящего самолета прыгнул, и хоть бы что!

Женя Васильев берет Петрова за локоть.

— Юрка! Гагара! Посмотри на его руки.

Кисти рук у Петрова в разводах царапин, изрисованы вдоль и поперек. Юра смотрит на руки товарища, потом протягивает свои:

— У меня не лучше.

И он грешен: тоже накануне вечером гладил кошку «на задир» — добывал электричество.

Самолет или топор?

Один из уроков Лев Михайлович начал неожиданным вступлением.

— Вот я о чем думаю, ребята,— сказал он.— Вот о чем думаю: а хорошо ли мы с вами знаем авиацию?

Шестиклассники навострили уши: что-то интересное затевает их физик.

— Так как, знаем или нет?

— Знаем!

— Чего ты знаешь? Помолчи, дурной...

— Знали когда-то, да забыли...

— А зачем она нам?!

Лев Михайлович выждал, пока ребята угомонятся, потом спокойно продолжил:

— Так вот, авиацию мы с вами знаем плохо. И потому предлагаю я организовать технический кружок. Будем строить модели настоящих самолетов. Летающие. Это нам и с физикой справиться поможет. Энтузиасты пусть запишутся у старосты во время перемены.

Беспалов повернулся к доске, взял в руки мелок, принялся объяснять довольно сложную задачу. А класс зашелестел бумагой. Сложенные вдвое и вчетверо клочки ее под столами и над

столами передавались из рук в руки, плыли к Юре. Он и был старостой класса.

Юрка развертывал бумажки, наскоро читал их, одобрительно кивал головой в ответ на каждую. Кому-то и сам нацарапал несколько записок.

Беспалов подошел к столу, закрыл журнал.

— Урок окончен. Ты что-то хочешь сказать, Гагарин?

— Мы, Лев Михайлович, всем классом записываемся в кружок.

— Отлично.

...Недели через три после этого урока шестой «А» на берегу Гжати проводил испытание первой модели. Построенная из камыша, точная копия боевого истребителя, она была оборудована бензиновым моторчиком и выглядела довольно внушительно.

— Старт! — подал команду Беспалов.

Истребитель взмыл в воздух, круто набрал высоту, пошел через замерзшую реку на другой берег.

— Ура! — закричали ребята. Кто-то подбросил вверх ушанку.

— Ура! Летит!

Истребитель летел. Над скованной толстым льдом Гжатью, над противоположным, крутым и заснеженым, берегом летел. И ребята зачарованно смотрели ему вслед. Летел не тот бумажный голубь, что можно смастерить из бумаги и пустить по классу,— нет. Летел почти настоящий, почти всамделишный самолет.

Юра первым ринулся на лед. Ребята перебежали Гжать, излазили весь крутой берег, проложили тысячи следов в мягком снегу, но модели так и не нашли.

— Не грустите, хлопчики,— утешал расстроенных шестиклассников Лев Михайлович.— Дорог почин. Жаль, времени у нас сейчас маловато. Да и зима, условия не те...

Условия для кружковцев в самом деле неважнецкие были: в школе подолгу задерживаться ребятам не разрешали — экономили керосин; да и при всем желании в холодных-то классах долго не засидишься.

— А мы и летом будем заниматься, если хотите,— продолжал Беспалов.— Построим новые самолеты, еще лучше. Главное, чтобы желание было. Есть желание?

— Есть, есть!

— Теперь не отступимся...

— Добро. Вижу я, ребята, быть вам летчиками...

Юра очень быстро научился самостоятельно делать летающие модели самолетов, заставил ими, к великой радости Бориса, все свободные углы в доме. Борька — он в то время учился в третьем

классе — возвращался из школы раньше Юры, брал любую приглянувшуюся модель и убегал с ней на улицу. Сколько, при помощи своих друзей-ровесников, переломал он этих моделей — и сказать трудно.

Юра редко сердился на него. С завидным упорством он или ремонтировал старые, или строил новые модели самолетов. В доме, где плотничий инструмент был особо почитаем, еще острее запахло сосновой стружкой, столярным клеем.

Как-то Беспалов встретил на улице отца.

— Мне нравится увлеченность Юры,— сказал он.— Парню прямой путь — в авиацию.

Отцу польстили слова учителя, и все же он не преминул возразить:

— Так уж и в авиацию. У нас отродясь никто высоко не залетывал. Вот кончит плотничать со мной пойдет. Топор по руке я ему уже приготовил.

— Напрасно вы так спешите. У него же талант.

— В плотницком деле тоже без таланта, на тяп-ляп, не обойтись. А учить дальше его я не осилю.

На этом они и расстались. Однако Беспалов был, как говорится, себе на уме. Очень скоро мы смогли убедиться в этом.

Ю. А. Гагарин. 1961 г.

Почта его была обильной. Июнь 1961 г.

Валентина Гагарина с дочкой Галей. 1961 г.

Ю. А. Гагарин с родителями идет на митинг в городской парк. Гжатск. 1961 г.

«Ну а бога не встречал там, наверху-то?» Лето 1961 г.

В родной школе. Гагарин беседует с членами кружка юных космонавтов

Среди преподавателей и учащихся родной школы. Гжатск. Летом 1961 г.

У матери

Ю. А. Гагарин с племянницей Людой. Гжатск. 1961 г.

Ю. А. Гагарин среди пионеров Гжатска. 1961 г.

Ю. А. Гагарин и смоленский поэт Владимир Простаков

На берегу Гжати. Юрий и Борис Гагарины. 1961 г.

На рыбалке. 1961 г.

Одно из увлечений космонавта — кинокамера. 1962 г.

Ю. А. Гагарин с дочкой Галей

На рыбалку с учителем!

Лев Михайлович увел на зимнюю рыбалку Юру, Женю Васильева и Валю Петрова.

Зачин оказался удачным. Юра и Валя Петров принесли домой по три щуки, причем не маленьких: по килограмму и больше каждая. Отец, однако, засомневался:

— Небось учитель подарил? Чтобы вы сами поймали — ни в жизнь не поверю.

— Сами,— упорствовал Юра.— И опять пойдем.

На следующую рыбалку увязался за ними и Борис. Не прошло, однако, и часа, как он уже вернулся назад.

— Что же ты, рыбак? — спросили его.

— Ветер не с той стороны, не клюет рыба,— оправдывался он.

— А что же Юра с учителем там делают? Почему не идут по домам?

— Что делают... Разожгли костер, греются и про самолеты разговаривают. Какие они бывают...

Так и зачастил Юра на рыбалку. Случалось, и нередко, что вся их «бригада» возвращалась с пустыми руками, но на Юру завидно было посмотреть: бодрый, веселый, радостно-возбужденный. И ко всем с вопросами:

— Валь, ты на реактивном самолете хотел бы полететь?

— Папа, а когда ты в первый раз самолет увидел?

— Борьк, а ты знаешь, как Чкалов под мостом летал? Эх, лопух! Отец ворчал:

— Забивает Лев Михайлович мальчишке голову глупостями. Ни к чему все это...

— Беспалов дурному не научит,— вступилась мама.— Возле такого человека побыть полезно.

И выходило по ее. Лев Михайлович, к примеру, учил ребят беречь и ценить время, и Юра, прислушиваясь к его советам, составил режим дня: в семь утра подъем, обтирание холодной водой после непременной зарядки, час на завтрак и повторение уроков... От режима ни на шаг не отступал.

— Давай поборемся,— петухом налетел он на меня однажды.

Мне стало смешно:

— Ну что ж, давай.

Я-то думал, что справлюсь с ним шутя, а у него оказались железные мускулы. Пришлось повозиться.

* * *

В последние годы Лев Михайлович Беспалов жил в Нальчике. Не единожды тронутый пулями на войне, он вынужден был покинуть Гжатск по состоянию здоровья.

Несколько раз наезжал Лев Михайлович ко мне в Рязань, гостил. Конечно же вспоминали мы с ним Юру.

— Я в него как-то сразу поверил,— рассказывал Лев Михайлович.— Пытливый, собранный и очень дисциплинированный парнишка был. Из таких отличные летчики получаются.

Старый учитель не скрывал, что сознательно старался подогреть в Юре увлеченность авиацией, интерес к летному делу.

— Я и сам бы ни за что не оставил самолет, да здоровье подвело. А знаешь, Валентин Алексеевич, живому человеку всегда хочется, чтобы кто-то продолжил его дело.

Юре в жизни везло на хороших товарищей и хороших учителей. Таким добрым другом и наставником и был для него в школьные годы учитель физики Лев Михайлович Беспалов...

Грустно об этом говорить, но, когда готовилось к печати второе издание книги, из Нальчика пришла черная весть: Лев Михайлович умер. Одна мысль согревает меня: Беспалов увидел Юрин взлет, услышал слова его благодарности за науку — и об этом я еще скажу. И первое издание этой книги посылал я ему, и получил в ответ теплое письмо. Лев Михайлович знал, как хорошо помнят его в нашей семье...

ГЛАВА 5
В путь-дорогу

Сенокос

Они возились с Тобиком, Юра и Бориска, учили его — безуспешно учили — всем собачьим премудростям, когда вдруг заскрипела калитка и во дворе появился Валька Петров.

— Привет!

Выглядел Валька куда как лихо: на голове пилотка из газеты, туго набитый рюкзак висит за плечами, удочки в левой руке.

Юра кинулся к товарищу:

— Ты где пропадаешь? Я к тебе раз сто, наверно, заходил, а у вас все замок на дверях.

Петров насмешливо прищурил глаза.

— Будто не знаешь. Весь класс целую неделю на сенокосе вкалывает, а староста дома отсиживается.

— Как вкалывает?

— Обыкновенно. Сено ворошим, сушим помаленьку. Кто косой умеет, тому и косу дают. Мне, например. Это нынче у меня выходной — Лев Михайлович за удочками послал. И велел к тебе заглянуть. Может, говорит, заболел Гагарин. А ты с собачкой забавляешься... Интересно! Дезертир ты, Юрка.

— Да я и не знал ничего.

— Прикидываешься, не знал. Мы, когда в колхоз уезжали, Борьке вашему наказывали, чтобы передал. Правда, Борьк?

Борис невразумительно угукнул и нагнулся к Тобику, принялся чесать его за ухом. Юра, потемнев лицом, рванулся к брату:

— Ты чего молчал, а?

Борис моментально сообразил, что без трепки не обойдется, и метнулся за ворота. Перебежав дорогу, он остановился, оглянулся. Поняв, что теперь догнать его не так-то просто, выкрикнул:

— Я забыл. Заигрался и забыл!

Не мог же он, в самом деле, покаяться в том, что сознательно скрыл от старшего брата наказ классного руководителя шестого «А». Как объяснить Юрке, что без него тут ему, Борису то есть, будет тоскливо и скучно. Нет, вслух говорить такие вещи не позволяет мужская гордость.

— Я тебе еще посчитаю ребра! — погрозил Юрка.

— Ладно, проходи стороной. Перебьешься,— чувствуя себя

вне досягаемости, издевался Борис.

— Так тебя ждать? — торопил Петров.

— Спрашиваешь!

Юра быстренько нашел мой старый солдатский вещмешок.

— Мам, собери что-нибудь в дорогу.

— Надолго вы уехали-то туда, Валюшка? — обеспокоилась мама.

— Недели на три. Как справимся. Только вы, теть Ань, ничего не собирайте, нас там хорошо кормят. И мясо есть, и молоко, и яйца. А вчера председатель белого хлеба привез и меду. За то, что стараемся, сказал. А мы его вареньем угостили. Девчонки ягод набрали, а Ираида Дмитриевна варенье наварила.

Ираида Дмитриевна Троицкая, депутат Верховного Совета СССР, была завучем школы.

Юра слушал рассказ товарища, и щеки его горели ярким румянцем.

— Видишь, сынок, и собирать, выходит, нечего. Прокормят вас там.

Мама нерешительно вертела мешок в руках.

— Мы даже молодую картошку ели. Вот! — не унимался Петров.

Эта картошка доконала Юру.

— Собирай, мам, что есть. Тот хлеб, который они едят, я еще не заработал.

Валька, сообразив, что перехватил через край, вдруг весело рассмеялся:

— Чокнутый ты, Юрка. Будешь, значит, сидеть в стороне и из своего мешка в одиночку есть? Ты уж лучше книги с собой забери, какие найдешь, да одеяло не забудь.

Юра тоже рассмеялся, упрямство его и в самом деле было нелепым.

— Ладно, книги так книги. Ни одной дома не оставлю.

Вскоре он был готов в дорогу. С вещмешком на спине, напевая «Дан приказ ему на запад...», стал прощаться.

— Веди себя поаккуратней, сынок,— говорила мама.

— Не волнуйся, мама, все будет хорошо. Я знаешь как буду работать — за все время наверстаю.

— Ну, иди уж, хвастунишка,— поцеловала его она.

И опять заскрипела калитка.

Борька стоял у дороги и тоскливо смотрел вслед двум товарищам до тех пор, пока они не скрылись из виду.

Небо, высокое и безоблачное, плотно, как пшеничный колос зерном, крупными звездами набито. По стерне выкошенных лугов катятся мягко мерцающие лунные ручейки.

Мальчишки недавно выкупались в реке, поужинали и теперь привычно расселись у костра.

— Сегодня я расскажу вам одну старинную и прекрасную легенду — легенду о крыльях Икара. Она родилась в Древней Греции, и человечество пронесло ее в своей памяти через многие столетия, через войны и распри, через стихийные бедствия и лишения.

Голос у Беспалова глуховат и внешне бесстрастен, но ребята, затаив дыхание, слушают прекрасную сказку, боясь пропустить в ней хотя бы слово. Языки пламени жадно поедают сушняк, раскачиваются из стороны в сторону, а зачарованным ребятам кажется, что это и не пламя, а крылья, сотворенные искусными руками мудрого Дедала.

— «Остановись, дерзкий безумец! — крикнул отец сыну.— Солнце испепелит тебя».— «Пусть. Я лечу к солнцу!» — захлебываясь высотой, ответил Икар. Жаркие лучи светила коснулись его восковых крыльев...

— Он сгорел? — испуганно и с надеждой, что она ошибается, перебила учителя Тоня Дурасова.

На нее зашикали.

— Солнце растопило крылья, и Икар упал в море,— ответил Лев Михайлович.— У этой легенды, ребята, печальный конец, но у нее возвышенное и очень светлое содержание. Человек должен идти к своей мечте так же упрямо, как Икар шел к солнцу. Подумайте об этом.

Они еще долго сидели у костра, сидели и молчали, боясь нечаянным словом убить сказку.

А потом Лев Михайлович скомандовал: «Отбой», и все послушно разошлись по постелям, а постелями служило мальчишкам пряно пахнущее свежее сено, прикрытое одеялами. Лежали рядом. Спать еще никому не хотелось. Валялись на сене, подложив руки под головы, смотрели в звездное небо.

Первым нарушил тишину Женя Васильев.

— Когда я вырасту большой, я, наверно, моряком стану. В Африку поеду, в Индию...

— Моряки не ездят, а плавают,— не без ехидства поправил его Валя Петров.

— Все равно.

— Ты же еще вчера в летчики хотел, как Лев Михайлович. Быстро передумал.

— Моряком быть не хуже, чем летчиком. Правда, Гагара? Ты чего молчишь?

— Правда, только...

— Чего только?

— Отстань!

— Не тронь его, Женька, он нынче нервный.

Юрка поднялся, руками обхватил колени, опустил на них голову.

— Только плохо мне, ребята. Отец вон говорит, кончай скорей семилетку, плотничать со мной пойдешь.

Женька присвистнул:

— Па-адумаешь... Я на твоем месте из дома удрал бы.

— Удрал один такой... С милицией разыщут и назад вернут. Вся беда в том, что мы несовершеннолетние,— возразил Валька.

— Чудной ты, Валька. Сейчас не старое время. Взять да залиться куда-нибудь на Камчатку. Или в тайгу... Ни одна милиция не сыщет,— настаивал Женька.

— Сыщет,— проговорил Валька.

— Давайте лучше спать.— Юра вытянулся на траве, повернулся на бок.

— Не толкайся, Гагара,— шепотом попросил Женька.— Спи.

— Не спится. Думаю...

— О чем?

— Так. Ты мне не мешай, пожалуйста.

Последний вечер сгорел в пламени костра, последний стог свершили колхозники с помощью ребят.

В поле приехал председатель.

— Спасибо вам, дорогие наши помощники,— сказал он и низко, по старому русскому обычаю, поклонился ребятам.— Ждем вас на будущее лето. Приезжайте.

— Приедем.

— Мы и концерт для вас приготовим.

— Вы только из других школ никого не приглашайте.

— Договорились,— улыбнулся председатель и крепко пожал руку Беспалову.— Хороший они у вас народец, веселый, дружный.

Ребята подтягивали лямки рюкзаков, возбужденно переговаривались. Они шумно и решительно отказались от машины — надумали добираться до города пешком. Что там ни говори, а целый месяц провели они в лугах, и было как-то грустно так вот, сразу, проститься со всем этим раздольем.

— Пошли,— скомандовал Беспалов.— Гагарин, в строй.

— Сейчас, Лев Михайлович.

Юра подбежал к председателю, который одиноко стоял в стороне.

— Старый знакомый,— улыбнулся председатель.— Это ведь ты надумал операцию «Баян»?

— Вы не сердитесь на меня,— сказал Юра, глядя прямо ему в

глаза.— Ребята обещали приехать на будущий год. А я, наверно, не смогу.

— Что ж, не понравилось у нас? — обиделся председатель.

— Очень понравилось. Только... только долго рассказывать. Вы не сердитесь.

Юра повернулся и бросился догонять нестройную колонну одноклассников.

Что скажет дядя Савва?

— Сумной какой-то стал Юрка, сам на себя не похож,— жаловалась мама.— Бывало, сладу с ним нет, минуты спокойно не посидит. А теперь все невеселый, все какие-то заботы на уме.

— Возраст,— односложно отвечал отец. И, видимо, неудовлетворенный своим объяснением, грубовато развивал эту мысль дальше.— Небось пятнадцать парню стукнуло. Понимать надо. Поди уже и на девчонок заглядывается.

Но трудно обмануть чуткое сердце матери. Не соглашалась она с отцом.

— Не то, Лень. Задумал он что-то, а что — и сама в толк не возьму, и выведать как, не знаю. Не подступишься к нему ведь. Вон и Борька его стороной обходит.

Все разрешилось неожиданно, на второй или третий вечер по возвращении школьников из колхоза, во время ужина. И мама, как всегда, оказалась права в своих предчувствиях.

Родители и Юра сидели за столом; ели молодую — с грядки — картошку с малосольными огурцами, запивали простоквашей. Впрочем, ели только отец с матерью, Юра же лениво чертил пальцем по дну тарелки.

— Сыт, что ли, сынок?

Этот нехитрый мамин вопрос придал решимости Юре. Он глубоко вздохнул и, глядя прямо перед собой, сказал почти с отчаянием:

— Я поеду в ремесленное училище.

— Куда?

— В ремесленное училище, в Москву. Я уже все обдумал.

У мамы тотчас слезы на глазах навернулись.

— Не успели Зоя с Валей вернуться — теперь ты из дома бежишь. Тебе что, нехорошо с нами? Гонит тебя кто?

— Мне очень хорошо. Только я хочу получить специальность, поступить работать на завод и учиться в институте. Не хочу я оставаться с семилеткой.

Отец — он так и не проронил ни слова — брякнул ножом по столу, поднялся и стремительно вышел за дверь.

Получалось не по его.

— Юра, Юра, сынок ты мой родимый,— не могла успокоиться мама,— пожалей ты нас с отцом, поживи дома. Кончай здесь десять классов, если уж так тебе учиться хочется. А отца мы уговорим. После школы пойдешь в армию — там видно будет. А может, в институт устроишься...

Юру взволновали слезы матери, он понял, что может не выдержать, сдаться. И, убеждая самого себя в том, что все пути назад отрезаны, он тоже вышел из-за стола, кусая губы, сказал глуховато:

— Мама, я уже взрослый и смогу сам зарабатывать на жизнь. Я же вижу, как трудно отцу прокормить всю семью. А в ремесленном училище меня и одевать и кормить будут. И рабочим я стану, как дедушка Тимофей. Я твердо решил все, мама. Ты лучше помоги папу уговорить.

Отец вышел во двор.

Борька — он успел поужинать раньше всех — возился в углу с листом жести, кромсал его ножницами, мастеря щит по образцу тех, что носили древние русские богатыри. Остроконечное деревянное копье, прислоненное к стене, уже стояло готовым.

«И этот вскоре удирать надумает»,— раздраженно подумал отец.

На земле в беспорядке валялись аккуратно наколотые смолистые плахи. Воздев изогнутую рукоятку к голубому небу, торчал в дубовом обрезке топор.

Безобразие! Отец взорвался:

— Борька, я тебе, стервецу, уши оборву. Сколько раз говорено было: не оставлять топор в дровосеке.

— Это не я, это Юрка. Он его еще вчера туда вогнал.

— А ты что, убрать не мог?

Он нагнулся, ухватился за топорище, с силой потащил его на себя. Не тут-то было: завяз топор по самый обух.

Отец сплюнул в сердцах, отошел в сторону и тут же забыл о злосчастном топоре.

Да, получилось не по его.

Юрка только-только начал входить в силу, крепкий, жилистый растет парень. Много лет терпеливо ждал этого времени отец, много надежд и чаяний возлагал он на сынов. Мечтал о том, какая слаженная, дружная и талантливая будет в районе плотницкая бригада, в которой все работники одной фамилии: Гагарины.

Во время вечерних перекуров, сидючи с дружками на скамейке перед домом, не раз говаривал он вслух:

— Валька топором отменно владеет, почитай, не хуже меня.

Юрка тоже смышленым парнем растет, глаз у него вострый, бойкий — все примечает. К делу, так полагаю, привыкнет малый быстро. И я пока в силе. По всему району строить будем, потому — нужно: немец вон сколько всего порушил, только успевай подымать. А уж коли и устану я — не скоро это случится! — Борька к делу приспеет. В нашей лесной стороне плотницкое ремесло — первеющее.

Хотелось, очень хотелось старому плотнику — сам-то он свое ремесло у родного отца, у нашего деда, отставного царского солдата, унаследовал — передать мастерство сыновьям.

Да не выходило по его.

Старший сын к машине прикипел, шоферское дело освоил.

Правда, в выходные дни, в отпуске, бывает, и не прочь побаловаться с топором. Так это не дело, в свободное время-то.

Но старший — что? Отрезанный ломоть. Своей семьей живет.

Теперь вот Юрка замыслил из дома бежать. Вишь, что говорит: я все обдумал. Молоко на губах не обсохло, а туда же — самостоятельность проявляет...

Хромая, вышагивал отец по двору, натыкаясь на поленья, пинал их в сторону здоровой ногой, чертыхался, бормотал про себя что-то.

Бориска с интересом, хотя и на почтительном расстоянии, следил за ним, силясь угадать, что так взволновало отца. Потом нырнул в избу, узнал причину и сам расстроился.

— Папа,— вышел он на крыльцо, полный сочувствия к волнению отца и слезам матери,— па, а ведь Юрка наш упрямый. Ему хоть кол на голове теши, он по-своему сделает.

— Посмотрим,— буркнул отец и решительно шагнул на ступеньку.

Он, казалось ему, нашел выход из положения. Борька провожал отца взглядом, полным надежды.

Тишина стояла в избе.

Мама успокоилась немного, но просить отца за Юру у нее не хватало сил. Убирала со стола посуду — посуда валилась из рук.

Виновник переполоха сидел на скамье и пристально рассматривал что-то за окном.

— Напишем письмо Савелию Ивановичу,— обнародовал свое решение отец.— Как он определит, так и будет. Человек он не маленький, всю жизнь в Москве прожил — ему виднее. Скажет Савелий Иванович, что бы выбросил дурь из головы,— выбросишь, будешь дома доучиваться.

Савелий Иванович, старший брат отца, работал в министерстве строительства.

Мама недоуменно и с упреком посмотрела на отца, и в этом взгляде ее можно было прочесть: что же ты мелешь, как надумал такое? Неужто не знаешь, как Савелий Иванович и Прасковья Григорьевна, его жена, любят Юру? Да они все невозможное сделают, лишь бы устроить племянника на учебу.

Но отец хитро подмигнул ей: мы, мол, тоже не лыком шиты. Он тут же вооружился чернильницей и ручкой, засел за письмо.

Письмо, по правде сказать, давалось ему труднее, нежели сруб ладить. Что уж он там написал, я достоверно не знаю, но в одном можно было не сомневаться: постарался убедить брата, чтобы тот вылил ушат холодной воды на чересчур горячую голову племянника.

Юра отнес письмо на почту, и с этого момента потянулись не то что дни — потянулись кажущиеся вечностью часы тягостного для всех ожидания.

Билеты на московский

Август уже созрел. Легко покачивалось над городом голубое, забеленное молочными облаками небо. Без труда обрываясь с ветвей, тяжело падали на землю краснобокие яблоки, и звуки падения, особенно в ленивые ночные часы, были громкими, как взрывы гранат.

Август алел помидорами, хрустел огурцами на зубах ребятни, падал срезанным колосом в полях.

Не за горами школа, первосентябрьский день.

Юра совершенно забыл о речке, о грибных походах в лес — целые дни проводил дома. Вернее, у дома. Почтальон появлялся на Ленинградской после обеда, и не раннего, к слову сказать. Но уже задолго до его появления Юра дежурил возле калитки.

— Нам есть что-нибудь?

— Сочиняют-с, молодой человек,— неизменно ответствовал почтальон — аккуратный старичок в сером ширпотребовском костюме и зеленой фуражке пограничника.

Прошел день, второй, третий...

На пятый, завидев Юру, прилипшего к ограде, почтальон издали приветственно помахал голубым конвертом. Юра бросился навстречу — счастью ли своему или несчастью?

— Уже сочинили-с, молодой человек.

Юра схватил конверт, забыв поблагодарить аккуратного старичка, влетел в избу.

— Есть! От дяди Саввы...

— Читай,— приказал отец.

А у Юры руки трясутся — боится и никак не может вскрыть

конверт.

— Читай же,— повторил отец, и в голосе его прозвучала ничем не прикрытая надежда на то, что Савелий Иванович-то, умница и понимающий в жизни человек, не подведет своего проживающего в периферийном Гжатске брата.

Письмо зачиналось всеобязательными «здравствуйте», поименным перечислением родственников, а затем :— тут Юрка поник головой — шли такие слова:

«Поздновато надумал ты, племянник, с ремесленным училищем. Набор почти везде закончен, к тому же твои шесть классов тоже серьезное делу препятствие. Не грешно бы иметь за плечами семилетку...»

— Вот видишь, что умные люди советуют,— торжествующе изрек отец.— Кончишь семь классов — тогда и езжай на все четыре стороны, а пока сиди дома и учись.— И хлопнул ладонью по столу.— Так и подпишем — на год останешься дома.

А про себя подумал, что год — великое дело. За год можно любую блажь из всякой башки вышибить. Аи, молодец Савелий Иванович, право слово, молодец!

— Ура! — закричал вдруг Юра.— Ты дальше послушай, папка.— И срывающимся от волнения голосом прочитал: — «Однако не все потеряно. Выезжай, Юрка, не медля, попробуем что-нибудь предпринять...»

Юра повернулся к отцу:

— Вот видишь, дядя Савва велит ехать быстрей. Давай вещи собирать.

— Нужно еще документы из школы взять,— хватаясь за тонкую ниточку последней надежды, напомнила мама.— Ведь могут и не отдать.

Она снова плакала.

Документы Юре и в самом деле не выдали.

А вечером к родителям нагрянули Ираида Дмитриевна Троицкая, завуч, и Лев Михайлович Беспалов. Мама прислала Бориску за мной.

— Пойдем скорее, Валентин. Юрку уговаривать будем.

Дома был долгий, очень долгий разговор. Учителя убеждали брата не торопиться, обдумать все хорошенько.

— Кончишь семь классов — не поздно будет и в ремесленное пойти,— рассуждала Ираида Дмитриевна.— А вообще бы лучше десятилетку.

Нам, взрослым, Троицкая и Беспалов откровенно сказали, что школе жаль прощаться с таким способным учеником.

Юра упорно стоял на своем, никакие доводы на него не действовали.

— Чего тебе не учиться? — попробовал вмешаться и я.— Мы с Зоей помаленьку помогаем родителям, от тебя немного требуется — только в школу не забывай ходить.

Он перебил меня с болью в голосе:

— Неужели и ты меня не понимаешь?

Я замолчал.

Короче говоря, все попытки склонить Юру к капитуляции успехом не увенчались.

Учителя простились с нами опечаленные.

Наутро Юре выдали документы, и мы взяли два билета на московский поезд.

Родители вышли на крыльцо проводить нас. Бориска остался в избе и ревел откровенно, но, не желая назвать истинную причину слез, жаловался на больной живот.

Отец поцеловал Юру в губы.

— Ладно уж, коли так... Фамилию нашу не позорь. И помни: Москва разинь, никчемушных людей не терпит.

Тотчас осердился на маму:

— Да хватит тебе! Глаза-то не просыхают. Водопровод, что ли, в голове у тебя?..

А у самого зрачки поблескивают подозрительно.

Мама обняла Юру, припала к нему:

— Будь моя на то воля — ни в жизнь, сынок, не отпустила бы тебя.

— Ну, хватит, хватит,— пришлось вмешаться мне.— Подумаешь, в дальние края уезжает.

Мы вышли за калитку.

— Валя! — окликнула мама.

Я вернулся.

— Ты там попроси учителей — может, построже они к нему отнесутся, домой возвернут? Болит у меня сердце за Юрку.

— Ладно,— пробормотал я, не глядя на нее.

Материнское сердце — оно никогда за детей спокойным не бывает.

«Ну, поехали!..»

Серое, непромытое здание вокзала, дежурный по станции в красной фуражке, строгий милиционер, завидев которого, торговки прятали вареных кур под передники и бежали прятаться в уборную, куцый грузовичок с кузовом, набитым черными мешками — все это вдруг сдвинулось с места, откачнулось назад, неторопливо уменьшаясь в объеме.

— Ну, поехали!

В тот день эти слова услыхал от Юры только я один, да, может, еще соседи по купе — однорукий кряжистый дядька с усами под Буденного и в заношенном офицерском кителе и молодящаяся дама с ярко накрашенными губами, типичная буфетчица по виду. Через двенадцать без малого лет эту коротенькую фразу услышит весь мир.

Юра прилип к окну, дергал меня за рукав:

— Гляди, Валя, гляди!

Впервые в свои пятнадцать лет ехал он так далеко. До того самой длинной дорогой в его жизни была дорога от Клушина до Гжатска и обратно. Впервые попал он и в вагон — исполнилась его давняя мечта прокатиться в поезде. А вагон был старенький, потрепанный и раздерганный на бесконечных путях войны,— общий вагон с просторными скамьями, с грязными окнами: казалось, пыль многих лет намертво въелась в стекло; с безалаберными сквозняковыми ветрами, дующими во всех направлениях.

Мелькали за окном еще зеленые перелески вперемежку с желтой стерней убранных полей, пристанционные постройки, села и деревни. Все для Юры было внове, все интересно.

Безрукий усач, опознав по моей старой гимнастерке «своего», вежливо полюбопытствовал:

— Куда, солдат, юношу везете, если не секрет?

Я отшутился:

— В Москву, ума набираться.

— Гоже.

— Все в Москву, все в Москву едут,— ни к кому, в общем-то не обращаясь, посетовала женщина.— Уж так-то ее, столицу нашу, заполонили, что на улице и повернуться невозможно. Сидели бы дома, знали б свои шестки.

Усач пристально посмотрел на нее, заметил вполголоса:

— Между прочим, соседнее купе совершенно свободно.

Уговаривать женщину не пришлось — она подхватила разбухшую сумку и быстренько убралась за перегородку. Через несколько минут оттуда послышался завидный храп.

Усач сел у окна, напротив Юры.

— Впервой едешь, паренек? Тогда слушай, буду тебе про дорогу рассказывать. И-интересная у нас получается дорога. Много тут крови пролито, и в стародавние дедовские времена, и в наши. Вот скоро Бородино будем проезжать, вечной русской славы поле. Про Кутузова слыхал? Обязан знать. Как увидишь с левой стороны памятник с орлом на макушке — так знай: самое Бородино и есть.

Он сунул руку в карман, достал кисет, протянул мне:

— Давай закурим, солдат. В каких войсках служил?

— Валентин танкист,— опередил меня Юра.— Стрелком был на Т-34.

— Сродственники, выходит. По той простой причине, что я артиллерист.

Он кивнул на пустой рукав, заколотый булавкой.

— На Бородинском поле как раз и оставил. Про капитана Тушина читывали? Так вот и мы...

Рассказчиком бывший артиллерист оказался превосходным, он знал название буквально каждого села или городка, мимо которых мы проезжали, и много интересного о каждом из них помнил. Заслушался его не только Юра — и я. А он без останову сыпал именами Багратиона, Раевского, Платова, недобрым словом помянул ляхов, приходивших на смоленскую землю в начале смутного семнадцатого века.

— Вы учитель? — спросил у него Юра.

— Нет, просто историей государства Российского весьма интересуюсь. А по профессии я бухгалтер.

Он снова свернул папироску, ловко управляясь одной рукой, показал за окно:

— А вот и Петрищево.

Юра вскочил с места.

— Та самая деревня? Где Зою казнили?

— Та самая...

Прощаясь с нами на Белорусском вокзале, усач погладил Юру по голове:

— Главное, юноша, духом не падай. Вспоминай почаще, по какой дороге в столицу ехал. Смелости прибавляет.

— Валя, а кто такой этот капитан Тушин, про которого он помянул? — глядя вслед безрукому бухгалтеру, спросил Юра.

Как ни обидно признаваться, в тот раз проявил я полнейшее невежество.

— Наверно, тоже какой-нибудь герой.

В Белокаменной

Вестибюли метро переполнены. Толпы людей на лестничных маршах, в переходах, на эскалаторах. Все бегут, торопятся все, кто-то нечаянно задевает тебя, кто-то наступает на ногу, и не всегда услышишь «извините».

— Валь, а куда это все так спешат?

— Тут, Юра, время ценят, живут по минутам.

Я крепко держу его за руку, боюсь, как бы не потерялся, не отстал в этой многоликой, говорливой, сумасшедшей массе

людей. В другой руке у меня фанерный, сколоченный отцом чемоданчик с нехитрыми пожитками брата. А у Юры глаза разбежались — он торопится рассмотреть все: и расписные стены подземных дворцов, и вагоны электрички, и москвичей — шумных, веселых, немного нервных, но уверенных в себе.

Я и сам не очень-то частый гость в Москве, и чувствую себя стесненно. Представляю, как выгляжу я в своей не первой молодости гимнастерке среди нарядных жителей столицы, вижу Юру со стороны — коротко стриженного паренька в дешевых брюках и ситцевой рубашонке, и предательские одолевают меня сомнения. Ну, зачем приехали мы сюда? Неужто сможет прижиться здесь Юрка, стать своим человеком в этом пестром и шумном мире?

Моя неуверенность передается брату. Он крепко сжимает мою руку в своей.

— Ну что же вы путаетесь под ногами?

— Посторонитесь, товарищи.

Это все нам.

Наконец мы втискаемся в переполненный вагон, чьи-то локти остро упираются в наши бока, а мы стоим лицом к лицу, и я, чтобы отвлечься от невеселых мыслей, рассказываю брату о берлинской подземке — во время войны видел я ее. В Берлине, рассказываю я, тоннели метро уже наших, и поезда неприглядней, и станции вовсе не похожи на дворцы.

— Я так и думал,— говорит Юра.— Так и думал, что наше метро должно быть лучше всех.

Выходим на станции «Сокол», разыскиваем дом, в котором живут родственники. В дверях встречает нас Прасковья Григорьевна, всплескивает руками:

— Наконец-то. А мы уж заждались. Савелий Иванович, уходя на работу, сказал, что если сегодня не приедете, вечером телеграммой вызывать будем.

Торопится усадить нас за стол:

— Подкрепитесь с дороги малость, а уж когда дядя Савва и девочки с работы придут, праздничный ужин устроим.

И минуты не может спокойно посидеть Прасковья Григорьевна: тащит с кухни тарелки с борщом, хлеб, какие-то закуски.

Юра зачарованно смотрит на стол — и ему и мне непривычно это обилие посуды, ножей и вилок, эти многочисленные яства; улучив момент, тихо говорит мне:

— Валь, давай-ка есть поменьше. У них ведь тоже семья, объедим...

Не знаю, каким образом услышала это Прасковья

Григорьевна. Подошла к брату, положила руку на его плечо:

— Юра, чтобы я от тебя этого никогда больше не слышала. Договорились?

Юрка моментально стал пунцовым:

— Простите, тетя Паша.

Я взглянул на него и рассмеялся. Рассмеялась и Прасковья Григорьевна.

— Ничего, Юрушка, привыкнешь. Расскажи-ка лучше, как Москва тебе понравилась?

— Очень понравилась. Только народу везде слишком много.

— И к этому привыкнешь.

Вскоре вернулись с работы Савелий Иванович и Тоня с Лидой, наши двоюродные сестры. Из-за стола в этот день мы вышли не скоро.

День, кстати сказать, был субботний. Назавтра, в воскресенье, сестры показывали Юре столицу. Побывали они на Красной площади, в Историческом музее, в зоопарке. К вечеру Юрка, непривычный к московской сутолоке, едва на ногах стоял, но впечатлениями был, как говорится, перегружен.

Укладываясь на покой, нашел в себе силы вымолвить :

— Знал бы, что Москва такая интересная, еще бы раньше сюда приехал.

И тут же уснул.

Хождение по мукам

В понедельник мы втроем, Савелий Иванович, Юра и я, объехали все ремесленные училища Москвы. И везде слышали одно и то же:

— Набор окончен. Да и не принимаем с шестью классами.

Юра приуныл.

— Папа был прав. Надо в Гжатск возвращаться, семилетку кончать.

Прасковья Григорьевна, огорченная не меньше Юры, пыталась подбодрить его:

— Не горюй, Юрушка. Обязательно повезет, не может быть так, чтобы не повезло.

Вечером всех обрадовала Тоня:

— В Люберцах при заводе сельскохозяйственных машин есть училище. Говорят, там семилетка не обязательна.

Тоня, озабоченная судьбой брата, и с работы заблаговременно отпросилась.

— Завтра, ребята, поедем в Люберцы.

В Люберцах, однако, встретили нас неприветливо: от

желающих попасть в училище не было отбою. В коридорах толкались переполошенные подростки, шепотом передавали друг другу новости, одну другой страшнее:

— Принимают только тех, у кого родителей нет...

— Одних московских набирают...

— У кого хоть одна троечка — даже документы не смотрят...

Последний слух оказался близким к истине: ребятам, имеющим тройки в свидетельствах, документы возвращали без долгих разговоров. Тоня, будучи коренной москвичкой, быстро и верно оценила обстановку:

— Не горюй, Юра, наша возьмет. В документах у тебя одни пятерки, а что только москвичей принимают — так это чушь...

Действительно, в приемной комиссии ознакомились с Юриным свидетельством об окончании шести классов и сразу же посоветовали готовиться к экзаменам. Предстояло сдавать русский язык — письменно и устно, литературу и арифметику.

— Только не рассчитывайте на общежитие,— предупредил секретарь комиссии.— Свободных мест почти нет.

Что ж, допустили к экзаменам — и то хорошо. Но я тут же прикинул, во сколько обойдется частная квартира, койка хотя бы, которую придется снимать для Юры, и подумал, что, вероятней всего, придется брату на сей год распроститься с мечтой о ремесленном училище.

Прасковья Григорьевна, когда вечером поведал я ей свои сомнения, негодующе замахала руками:

— Юра будет жить у нас. Главное сейчас, пусть получше к экзаменам подготовится.

И усадила младшего племянника за учебники: их у каких-то знакомых разыскали Тоня и Лида.

До экзаменов оставалось три дня.

Все эти дни в доме стояла удивительная тишина. Мы ходили на цыпочках, не разговаривали громко. Но время от времени тетя Паша подходила к Юре, отбирала книги:

— Иди-ка проветрись, погуляй. Через полчаса возвращайся.

Юра послушно шел на улицу и возвращался точно через полчаса — посвежевший, с новыми силами после прогулки.

Удивительно, сколько заботы и чуткости проявили к Юре в те дни в семье Савелия Ивановича.

И вот он наступил, день первого экзамена.

— Ну, Юрка, ни пуха тебе, ни пера!..

Рабочего класса прибыло!

В Гжатск я возвращался один: кончились свободные дни,

предоставленные мне на работе. Возвращался, нагруженный московскими подарками, купленными неугомонной теткой, полный мыслей о том, какие они щедрые и душевные люди, наши столичные родственники. Ведь вот и сами живут более чем скромно, и квартира у них не ахти какая, а поди ж ты! — приняли-то нас как.

Я не знал, как сдаст Юра остальные экзамены, но он оставался у Савелия Ивановича и Прасковьи Григорьевны, и я был спокоен за него.

А на первом экзамене брат получил пятерку.

К экзаменационному столу его вызвали четвертым. Мы с Тоней переживали в коридоре.

— Завалит,— волновался я.— Тут вон московских ребят больше, смотри, какие они шустрые.

Тоня была настроена оптимистичнее.

— Сдаст. Я к Юре присмотрелась. Он тоже не из робких. И подготовлен неплохо.

Юра вышел к нам раскрасневшийся, сияющий, и не один вышел — в сопровождении экзаменатора.

— Так где тут твои родственники? — спросил экзаменатор, подтянутый, со спортивной выправкой мужчина средних лет. Подошел к нам и, улыбаясь, проговорил довольно: — Отличные знания у Юры. Мы тут, интереса ради, сверх программы ему несколько вопросов задали. Справился. Комиссия с удовольствием слушала его. Спасибо! — Он пожал руки мне и Тоне, Юрию сказал: — Желаю тебе дальнейших успехов, Юра!

Счастливей брата искать человека в этот день было бы бесполезно. Едва добрались до квартиры дядьки, едва открыла дверь на наш звонок заждавшаяся Прасковья Григорьевна, как Юра бросился ей на шею.

— Пятерка!!!

— Юрка, ты же задушишь меня,— смеялась Прасковья Григорьевна.— Отстань, бесстыдник.

— А вопросы, теть Паш, легкие были. Я сперва очень боялся, а когда услышал вопросы — ни капельки. Весь испуг прошел.

— Ну, хватит, хватит, хвастунишка. На экзаменах, Юра, легких вопросов не бывает — просто знания оказались у тебя достаточными...

В тот же день сестры купили билеты в театр, и отличную оценку Юры мы отпраздновали коллективным культпоходом.

...Вот и Гжатск. Я иду по Ленинградской улице, один иду, без Юры. Что-то делают сейчас родители? Наверно, все переживают, волнуются: как там у нас, в Москве, дела?

Отец, мама и Бориска возились на огороде — убирали

огурцы. Едва я скрипнул калиткой — все, как по команде, повернулись ко мне.

— Что? Рассказывай.

— Порядок,— и я с подробностями, которые, не перебивай меня вопросами отец и мать, может, мне и не вспомнить бы никогда, рассказал о наших мытарствах в столице, о горестях и радостях.

— Значит, говоришь, пятерку получил?

Отец расправил плечи и строго посмотрел на Бориса:

— Помнит наказ — не позорит фамилию.

«Слава богу,— подумалось мне,— пронесло тучи...»

Мама тоже была довольна, хотя, по всему видно, и не смирилась она окончательно с отъездом Юры. Больше всего пришлось ей по душе, что Юру ласково встретили в доме Савелия Ивановича.

— Не будет ему в Москве одиноко.

И только Борис, выслушав мой рассказ, заныл:

— Что ей, Тоньке, больше всех надо, что ли? Суется, куда не просят. Вот дядя Савва молодец: поездил и бросил. А она в Люберцы потащилась...

— Уймись! — прикрикнул на него отец.— Люди к нам с добром, а ты...

Через несколько дней в дом постучал старичок почтальон:

— Вот-с, ваш нетерпеливый молодой человек решил письмом родителей порадовать.

В письме Юра сообщал, что так же успешно, как и первый, сдал все остальные экзамены, что в группу токарей или слесарей, как он желал, его не зачислили: туда берут только с семилеткой, и что он будет учиться специальности литейщика.

«Это очень интересная специальность,— писал он, не скрывая гордости,— памятник Пушкину в Москве литейщики сделали...»

Из того же письма узнали мы, что Юре уже выдали форму и он успел сфотографироваться в ней, скоро пришлет фотокарточку и что — самое главное! — как отличнику учебы ему предоставили место в общежитии.

Как-то вечерком в дом родителей заглянул на огонек Лев Михайлович Беспалов. Отец не удержался, показал ему Юрино письмо.

— Что ж, рабочего класса прибыло,— сказал Лев Михайлович.— Я не сомневался, что экзамены он сдаст успешно, и очень рад за него. Передайте мой привет Юрию Алексеевичу...

Впервые мы услышали это уважительное величие в Юрин адрес — по имени-отчеству. Очень непривычно звучало...

Кстати сказать, закадычный Юрин товарищ тех лет Валя

Петров тоже не задержался в школе — поступил в торфяной техникум, потом закончил институт, стал инженером.

12 апреля 1961 года Валентин рассказывал корреспондентам:

— Верно, Юра мой лучший друг по школе. Когда учились — увлекались спортом, бегали на рыбалку, закалялись. В Орешне до самой осени купались, и по весне горячего солнца не ждали — лезли в ледяную воду. Что такое простуда — слыхом не слыхали. Каждую осень в колхозе работали, главным образом на картошке. Нравилось: хоть и уставали, зато свободы много. А еще мы с Юрой мечтать любили. О том, кем станем, когда вырастем. Сколько профессий перебрали... И в моряки собирались, и в летчики, и в водолазы почему-то. Все хотелось попробовать, пощупать своими руками... В одно, можно сказать, время ушли мы из школы. Юра в ремесленное училище поступил, я — в техникум...

Так распоряжались началом своих судеб воспитанники Льва Михайловича Беспалова. Думается, заслуга его в том, что ребята в небольшие свои годы были готовы к самостоятельной жизни, неоспорима.

* * *

И еще одно вынужденное отступление должен я сделать. В своей книге «Вначале была земля...» писательница Л. Обухова утверждает:

«Зыбкая, ненадежная вещь человеческая память! Недаром существует поговорка: ошибаются, как очевидцы. Вот и старший брат Юрия в своих записках пишет, что он сопровождал младшего в Люберцы, а на самом деле что-то спуталось в его памяти, потому что в то время он лежал со сломанной ногой и вообще не выезжал из Гжатска».

Может, и не стоило задерживать внимание на этих словах, но упомянутая книга («повесть-воспоминание» — так определен ее жанр) издана массовым тиражом, и судит Лидия Алексеевна весьма категорично, а факты как раз свидетельствуют против ее утверждений. Со сломанной ногой в гжатской больнице я лежал в 1947 году, а Юру в Москву и Люберцы провожал двумя годами позже — в сорок девятом. Об этом сказано в первом издании настоящей повести в разделах «Не повезло!» и «Ну, поехали...». Это наверняка знал наш покойный ныне отец, хорошо помнит мама.

ГЛАВА 6
Ремесленник

Первый перевод

Когда не на день-два — на годы покидает дом кто-то из очень близких людей, к этому долго нельзя привыкнуть. Трудно примириться с этим.

Читателям, без сомнения, знакомо это чувство.

Вот простились мы с Юрой — и обнаружилось вдруг, что в жизни каждого из нас он занимал свое, особое место.

Теперь его, Юрки, так не хватало всем нам!

Поскучнел Борис.

Небольшая, всего в два года разница в возрасте делала их не только братьями, но и товарищами, у которых были обязательные общие тайны — от школы, от родителей, от сверстников. В чем-то, пусть и не во всем, но в чем-то Борис всегда стремился подражать ему. К тому же с Юрой было интересно: он и начитан, и знает многое о многом, и во всех ребячьих играх и предприятиях был заводилой, а при случае, когда грозила Борьке беда, выступал его защитником.

Отец — может, приближение старости сказывалось — после отъезда Юры из Гжатска сделался задумчивее, тише. И, что уж совсем невероятным казалось, мягче, покладистее. Нет, оспорить какое-либо его мнение было еще трудно, возражать ему — бесполезно: на уступки он редко когда шел,— и все же это был уже не прежний человек с излишне властным характером.

А мама... Маме расставание с сыном горше всех досталось. Целыми днями искала она себе занятия, чтобы отвлечься от беспокойных мыслей. Впрочем, искала — неверно сказано, с утра до вечера не знала она ни минуты покоя: стряпала, стирала, ухаживала за огородом, нянчила внучку. Дел хватало... Но и за этими заботами не забывала она о Юре, и по утрам — появилась вдруг у нее такая привычка — рассказывала, как он приснился ей минувшей ночью, и спрашивала: к добру или к худу сон? Потом, через несколько лет, когда призовут в армию Бориса, и он так же будет приходить к ней в сновидениях.

Очень не хватало Юрки и мне.

В семейном кругу вечерами невольно заходил о нем разговор. Вспоминали его мальчишеские шалости и проказы, любовались ими как бы со стороны, на расстоянии, и диву давались, за что же, за какие-такие особо тяжкие грехи и провинности можно было

в свое время бранить и наказывать человека? Ведь вроде бы через край никогда и не переступал.

Самым желанным гостем в родительском доме стал пачтальон. К счастью, Юра не скупился на весточки о себе. И знаю я, по скольку раз перечитывались отцом и матерью Юрины письма, как долго, со всех сторон, обсуждалась любая строчка в них.

Из первого жалования, полученного им на заводе,— велико ли жалованье ученика-ремесленника, то же, что и у солдата-первогодка,— Юра половину суммы прислал домой.

— Распишитесь в получении, Анна Тимофеевна,— попросил почтальон, выкладывая на стол перед матерью бланк перевода.— Поздравляю вас, сынок самостоятельно зарабатывать начал-с...

Мама расписалась на бланке, а когда почтальон отсчитал деньги — для вящего впечатления, чтобы солидней казалось, все рублевками отсчитал — и вышел, мама вдруг расплакалась.

— Чего ревешь-то, чего? — возмутился отец.— Раз прислал деньгу, значит, на жизнь ему там хватает. Не ворует же он сам у себя. И то сказать — одет, обут, накормлен... Лучше давай-ка... за чекушкой на радостях схожу.

— Еще чего! — возмутилась мама. И всхлипнула.— Я же почему... Вот и кончилось детство у Юрушки.

Не скупился Юра на письма. И как я жалею сейчас, что мы не берегли их, что вот теперь по отдельным разрозненным клочкам, случайно сохранившимся, а больше всего на память полагаясь, приходится восстанавливать картину прошлого.

Брат писал, например, что работа в жарком литейном цехе очень понравилась ему. С восторгом рассказывал о своем мастере-наставнике, кадровом рабочем Николае Петровиче Крипове, о товарищах по училищу, о своем общежитии.

— Это же подумать только,— вздыхала и качала головой мама.— Пятнадцать человек их, ребятишек-то, в одной комнате живет. Тесно, поди...

Отец возражал:

— А что тут плохого? Пусть притирается к людям.

Когда получили фотографию, где Юра снялся с группой товарищей,— на всех шинели с блестящими пуговицами, на фуражках, чуть сдвинутых набекрень, эмблемы молодого рабочего класса: молоточки,— Борис завистливо вздохнул:

— Совсем на офицера наш Юрка похож.

— Позавидовал? Учись лучше, кончай семь классов без двоек — и станешь таким же,— уколола его Зоя.

Между прочим, с этого дня Борис подтянулся в учебе. Уже не отлынивал от домашних заданий, чаще брался за книги, и на

смену густым двойкам и не очень твердым тройкам пришли в его дневник хорошие оценки. Пример брата действовал.

Помню, с какой радостью в одном из писем — оно пришло перед Новым годом — рассказывал Юра о своем вступлении в комсомол. Из письма же узнали мы впервые и о том, что он вместе с товарищами поступил в седьмой класс люберецкой вечерней школы № 1.

Но я, кажется, ушел далеко вперед. Вечерняя школа — это уже на втором году учебы в ремесленном...

Кончилось детство у нашего Юрки.

На побывку!

— Руки, руки, сынок, руки для начала покажи.

Юра, широко улыбаясь, протянул отцу руки ладонями вверх. Тот потыкал в них указательным пальцем, нащупал твердые бугорки мозолей, одобрительно произнес:

— Точь-в-точь от топора такие бывают. Вижу, дурака не валяешь — рабочим человеком становишься.

Все три семьи — родители с Борисом, Зоя с Митей и с детьми, мы с Машей — собрались отпраздновать первый приезд Юры домой, на побывку. Вот, обмолвился я, три семьи, мол, а ведь это — весьма приблизительно. Хоть и повзрослели мы с Зоей, и собственными детьми обзавелись, и жил я отдельно от стариков, но по-прежнему считали мы себя одной семьей, по-прежнему не только в праздничные, но и в будничные дни, по поводу иль без повода, чаще всего собирались у родителей.

Вот и сейчас, наобнимав Юрку до хруста в костях, нацеловав его, женщины ушли на кухню — готовить праздничный ужин, а мы, мужики, остались на крыльце: покурить, поболтать о чем-нибудь незначащем, но абсолютно необходимом.

Был тихий вечер, в мягких сумерках оплывали деревья в саду, по улице — то в одном, то в другом окне — вспыхивали розовые огоньки. Юра снял с себя шинель, фуражку, положил на перила крыльца, заметно отросшие волосы пригладил расческой.

— Хорошо дома.

Отец критически окинул его взглядом со стороны. Видно, заправка — ремень по гимнастерке и ни единой лишней морщинки — пришлась ему по душе.

— Борька-то правду сказывал: на офицера смахиваешь.

— Простудишься, Юрка.

— Ну да! Даром, что ли, холодной водой по утрам обливаюсь? Ты бы, Валя, курить лучше бросал — наживешь беду.

Я оглянулся: нет ли Маши поблизости. Вот и еще союзник ей.

С утра до вечера пилят на пару с матерью: бросай и бросай курить. Единственная поддержка — батя. Он не выпускает папироску изо рта, смолит и смолит, а махорка — он ее по своему, по собственному рецепту делает — какой-то особой злой крепостью отличается.

— Значит, говоришь, соскучился по дому?

— Еще как! Теперь бы на рыбалку наладиться.

— То-то и оно. Везде хорошо, а дома все-таки лучше, пусть и не столица.

Отец, хоть и смирился внешне с отъездом Юры из дому, а все переживал в душе. И признание сына, видимо, польстило ему.

Тут нас к столу кликнули, и, когда расселись мы, чересчур говорливо, шумно, Зоя попросила Юру рассказать об училище. Брат начал было отнекиваться, что-де и училища толком не видел, и занимается-то всего несколько месяцев, а потом разохотился, увлекся, и вскоре нам стало ясно, как великолепно, прямо-таки чудесно живется им, ремесленникам. И в классах чистота образцовая, и на заводе к ним рабочие внимательны, и в столовой их кормят на убой — четыре раза в день. А стадион под боком, и спортом не только желающие занимаются — всех заставляют. Оно и понятно — рабочему человеку сила нужна.

Мама слушала-слушала восторженный и сбивчивый Юркин рассказ, а потом вздохнула:

— Прикипел ты к той жизни, Юрушка. Теперь уж в Гжатск не вернешься. Насовсем прикипел.

— Да я, мам, не знаю, куда на работу пошлют. Только ведь в Гжатске нет пока таких заводов. Я, когда на слесаря меня не приняли, переживал даже, а когда в литейный цех попал... Вот это да! Ни на какую другую работу эту не променяю.

Отец, успев опрокинуть под шумок лишнюю чарочку, поднял палец вверх:

— Вот что я тебе, сын, скажу. Всякая работа интересна, если по душе она, если ты ее характер понял и полюбил. Ну, а если не зажгла она в тебе огня — бросай ее, ищи другую. Чтоб по душе...

— Хватит болтать-то, Лень.

— Погоди, мать, пусть послушает. Обидели они меня, и Валька, и Юрка. Никто по моему ремеслу не пошел. А ремесло-то мне от отца по наследству досталось. Борька, паршивец, тоже на ихний манер от топора сбежит. Обидели... Но я про обиду забуду, если они в своем деле мастерами себя покажут. Из тех, кто не за свое дело берется, путных людей не бывает. Вот я и посмотрю: будет ли прок? Уразумел, Юрка?

— Уразумел.

Тогда давай-ка вот по махонькой. Теперь ты рабочий человек,

самостоятельный, теперь тебе можно.

Мама с тревогой посмотрела на отца, перевела взгляд на сына. Юра, улыбаясь, взял чарку, чокнулся с отцом:

— На доброе здоровье, папа. Ты уж прости, но пить я не буду. Я ведь говорил — спортом занимаюсь.

И поставил рюмку на стол.

Отец, против ожидания, не обиделся. Наоборот.

— Смотри-ка, мать,— протянул он восхищенно.— Не избаловался малый на чужих-то людях.

Вот такую проверку устроил отец сыну в тот день. Это, кстати, вторая была. А первая — там, на крыльце, когда отец заставил Юру показать руки.

Борис примеряет фуражку

Юра сидит за столом, подперев голову обеими руками. Тихо шелестят страницы книги.

Мама устроилась в стороне со спицами в руках: шерстяные варежки вяжет сыну. Неизвестно еще, как его оденут на зиму в училище, а зима — вот она, ночами подмораживает — дай бог! И то сказать, домашней вязки варежки или там носки завсегда теплее, надежнее казенных, фабричных.

Проворно мелькают спицы. А за окном — ребята гомонят. Распустили их из школы по случаю ноябрьских праздников, вот и радуются они свободе. Борис голосом выделяется — кричит, командует что-то. Даже охрип, бедняга.

— Юра, сынок, ты бы отдохнул,— говорит мама.

— Угу.

Проходит минут тридцать или сорок. По-прежнему шелестят страницы книги.

Мама искоса смотрит на Юру, вздыхает тихо. Как ни хорошо кормят их там, в училище, а все же похудел парень: скулы обострились, глаза запали, и синева обозначилась вокруг них. Может, оттого это, что в цехе своем с огнем имеет дело? Сушит огонь человека. Или оттого, что уж слишком много читает? Спать ложится — книжку под голову кладет, встает — опять из рук ее не выпускает.

Снова не выдержала мама:

— Иди погуляй, Юра, освежись немного. К товарищам загляни. Обидятся ведь: приехал домой и глаз не кажешь.

Юра нехотя оторвался от книги.

— Хорошо, мам, сейчас пойду. Только зря ты так волнуешься, ничего со мной не случится. Ты сама вон сколько читаешь.

— Я что... Помоложе была — тогда и впрямь читывала,—

неловко оправдывается мама, и в голосе ее слышится сожаление — об утраченной ли молодости, о том ли, что не имеет уже теперь возможности читать так же, как читала когда-то.— Бывало, и у ночи часок-другой украдешь, а ныне и силы не те, и глаза устают от мелких строчек.

Юра вышел в сени, слышно, как топчется он там у вешалки, как поскрипывают под его каблуками половицы.

А минуты через полторы он возвращается обратно.

— Я, мам, лучше вечером в кино схожу, там и увижу всех ребят. А сейчас давай-ка я тебе вслух почитаю. Это знаешь какая книжка? Про Фрунзе. У нас ее все ребята по очереди читали. Вот слушай. Сидит Фрунзе в камере, в тюрьме царской, а каждое утро мимо его дверей товарищей на казнь ведут. А он тоже к смерти приговорен, и думает каждое утро: может, сегодня и за мной придут? И — понимаешь? — все равно изучает в тюрьме иностранные языки. Пригодятся, думает он, потому что из тюрьмы ведь и убежать можно, а иностранные языки для революционной работы могут понадобиться. Вот, слушай.

Он читает тихо, но не может сдержать волнения, и в напряженном его голосе слышится то боль за судьбу обреченных узников, то гнев и ненависть к их палачам. Мама отложила в сторону вязанье, сидит, слушает.

Чуть скрипнула дверь — в избе появился Борис. Юра погрозил ему пальцем: не перебивай, мол, и Борис присел на скамью у входа, уши топориком.

Стараясь не шуметь, мама зажигает свет.

Наконец перевернута последняя страница.

— Вот какие люди были, мама. Как же мало я о них знал раньше! Фрунзе, Артем, Ворошилов...

— И где это ты такие интересные книги всегда берешь? — Это Бориса вдруг заинтересовало.

— Как где?! В библиотеке. Ты бы записался туда да почаще заглядывал.

Мама смотрит на Бориса и замечает на его голове форменную Юркину фуражку. «Так вот почему он гулять не пошел,— думает она с горечью.— Борька-то в его фуражке с утра на улицу удрал».

— Как же ты посмел? — ругает она Бориса.— Юре на улицу выйти не в чем.

— Я только примерить хотел и забыл,— хитрит Борис.

Не надо, мам, не брани его,— просит Юра. Подходит ближе к ней, заглядывает в глаза.— Я ведь все равно никуда не пошел бы. Я ведь как раз и собирался тебе книжку почитать.

Как Алешка в школу ходил

Отца трудно разговорить. Не так-то уж много радостей было в его жизни. А вспоминать о горьком — только душу травить. Отец молчун, он даже улыбается редко.

Но сегодня вся наша семья в сборе и всем немного грустно: завтра Юра уезжает в Люберцы. И неожиданно для всех — может, стопка вина сделала свое дело — отец разговорился:

— Не в упрек вам ребята, скажу, но живете вы куда лучше, чем мы в детстве жили. Никакого сравнения нет. Я вот так и не смог выучиться.

— С уроков бегал? — живо перебил его Борис.

Отец настроен миролюбиво.

— Посиди, послушай. В школу я знаешь как ходил? Лето провкалываю в пастухах, еще и осень вкалываю. Другие ребятишки, из тех семей, что позажиточней, уже в классах сидят, в азбуку вникают, а я все кнутом щелкаю. Потом, когда уж белые мухи полетят, когда морозы ударят и скотину во дворы загонят, тут и мой черед идти в школу наступает. А вы подумайте, сколько я за эти месяцы пропустил-то уже, сколько мне наверстывать надо.

Ну, хорошо. Смекалкой господь меня не обидел, да и учитель ко мне расположение имел, сочувствовал, значит, помогал. Чахоточный он был, учитель-то, и сам беднющий. Только я это, с его помощью, начну вровень с другими учиться — тут весна наступает. Опять, значит, раньше времени из класса ухожу, надеваю пастушью сумку — и айдате в поле, стадо караулить. Семья у нас большущая была, одной ребятни восемь человек: шесть братьев, две сестры. Выжило-то потом пятеро всего. Отец, Иван Федорович Гагарин — он костромских мест уроженец,— много лет солдатом прослужил, а вышел в отставку — остался в Гжатске на жительство, где полк его квартировал. Талантливый плотник, столяр-краснодеревщик, первой руки умелец. Такой, к примеру, мастер... Дерева, материала, значит, купить не на что — так он половицы в избе повыдерет и мебель из них мастерить примется. Смастерит — заглядение, сказка, с руками рвут, в очередь покупатели становятся. Ему бы поторговаться, накинуть рубль-другой, а он торговаться не умеет. Ну, выручит деньжонок толику — баранок связки накупит, половицы новые настелет, на житье что-то останется. Меня он, к слову сказать, «антиллеристом» звал — похож я был на него, а сам он в артиллерии служил... Да... Надолго ли вырученных грошей хватит? Словом, впроголодь жили, в нищете страшной. Из Гжатска в Клушино перебрались, домик-развалюху купили, думали родители, от нужды сбегут. Да куда там — нужда еще хлеще подпирает. Запил отец с горя, мать начал бить, нам тоже

доставалось. Из дому выгнал нас. А однажды и сам ушел. На заработки, объявил, на станцию Бологое. Ушел и сгинул. Больше мы его не видели. Сказывали матери: под поезд, мол, попал. Мне четыре года было тогда...

Тихо в избе. Юра книгу отложил в сторону. Мне хоть и не очень хорошо, но известно, каким оно было, детство у отца. А Юра и Борис слушают его рассказ впервые, и такое искреннее и живое волнение на лицах у того и другого, что понимаешь: крепко зацепило их нищее детство клушинского подростка Алешки Гагарина.

— Сколько же лет ты учился?

Это Юра спросил.

— Две зимы, сынок, в церковноприходской школе. И бросил-то ведь не потому, что, скажем, неспособным к учебе был, а из-за бедности. Да и обидели меня сильно.

...Однажды в школу приехал какой-то инспектор. Учитель, желая показать, что недаром ест свой нищенский хлеб, вызвал к доске сына местного богатея, мальчишку очень способного, по справедливости, лучшего в классе ученика. Мальчуган, бойко постукивая мелком по доске, уверенно решал задачу, но вдруг споткнулся: цифры в ответе не сходились. Где-то допустил он — от волнения ли, от привычной ли в себе уверенности — небольшую ошибку, а где — сообразить сразу не мог.

Учитель, он больше следил за выражением инспекторского лица, нежели за доской, тоже не сумел сразу найти промах, поправить мальчишку. Тут-то и поднялся за партой Алеша Гагарин и сказал, где и что не так.

— Ишь ты,— удивился инспектор, щупая глазами бедно одетого пастушка.— Смышлен, смышлен. А Ну-ка, мальчик, иди к доске.

Алеша, поскрипывая лаптями, вышел к доске и, к удовольствию учителя, не ожидавшего от него такой прыти, легко, как с горсткой орехов, расправился с другой задачкой в два вопроса, предложенной инспектором.

Или приезжий чиновник был склонен порадеть за бедный люд, или со студенческих лет запали ему в голову известные некрасовские стихи, но он не погнушался дружески потрепать пастушка за вихры:

— Смышленый мальчуган.— И с чувством продекламировать: — Учись, дружок. Это многих славный путь.

Он даже, ко всеобщей зависти ребят в классе, к конфузу лучшего ученика, подарил Алешке настоящий графитный карандаш — целое сокровище по тому времени.

После уроков обрадованный учитель нагнал ошеломленного,

ничего не понимающего Алексея в сенях школы, обнял:

— Спасибо, Гагарин. Выручил, брат.

Дома, выслушав Алешкин рассказ, мать неожиданно расплакалась:

— Быть лиху. Бедным людям и счастье в пользу не пойдет.

Как в воду глядела. Наутро, когда Алешка будто на крыльях летел в школу, встретили его за селом старшие братья одноклассника, сыновья богатея. Было их двое, и оба женихи по возрасту.

— Ломоносов? — спросил один, загораживая дорогу.

— Чего притворяешься? Не знаешь, Гагарин я,— жалобно ответил мальчишка, понимая, что вот сейчас бить его будут и убежать нет никакой возможности. Разве от таких убежишь.

— Ломоносов,— повторил другой. Алешка никогда допрежь и не слыхивал такой диковинной фамилии.

Его ударили... Били, приговаривая:

— Паси коров, а в школу дорогу забудь.

Били так жестоко, что и взрослому человеку хватило бы с лихвой тех побоев.

Алешка обиделся на весь свет, а пуще всего на добряка инспектора: из-за него перепало. И забыл дорогу в школу. Мать не неволила: нравится коров пасти, паси на здоровье. Какой-никакой, а прибыток дому...

— Папа,— спросил Борис, когда отец закончил свой печальный рассказ,— а ты их потом встречал? Ну, этих, кто тебя...

— Встречал, как не встретить. В одном селе небось жили.

— А ты бы их застрелил.

— Из кнута?

— Нет, в революцию, когда всех богатых стреляли.

— От революции они, сынок, убежали.

— Перестань болтать глупости, Борька,— вмешался Юра.— Ты что думаешь, как революция, так и стреляют всех подряд? Не затем революции бывают.

— А зачем?

Юра задумался.

— Вот зачем, чтобы учились все,— сказал он после паузы.— Чтобы лентяями не были... Я тебе лучше одну книжку дам почитать, про Ленина. Ты почитаешь и все поймешь.

Он вышел из-за стола, достал из-под койки чемодан, раскрыл его.

— На вот, читай,— протянул он Борису толстую книгу.

Мне бросилось в глаза, что чемодан доверху набит книгами. И как это он умудрился дотащить его от вокзала?

* * *

Этот вечер и рассказ отца во всех деталях припомнились мне, когда нежданно-негаданно обнаружились у нашей семьи знатные «родственники» за границей. А дело было так. Сразу же после полета Юры в космос зарубежные газеты опубликовали многочисленные интервью с потомками князей Гагариных, проживающих после Октябрьской революции в Соединенных Штатах Америки. Эти американские Гагарины утверждали, что Юра приходится им не то внучатым племянником, не то еще каким-то родственником.

На пресс-конференции, устроенной после возвращения Юры из космоса, ему пришлось начать свое выступление с публичного отмежевания от новоявленной «родни». Думаю, что в эти минуты и он вспомнил свое детство, рассказы матери о деде Тимофее, батькины рассказы о другом нашем деде — талантливом столяре-краснодеревщике Иване Федоровиче Гагарине.

А какой он был — Ленин?

И не князьями мы гордимся.

Уж коли речь о родне зашла, нужно, по всей видимости, назвать здесь Марию Тимофеевну Дюкову, старшую сестру мамы. Последние годы своей жизни провела она в Мытищах, под Москвой, а до того жила с семьей в Клязьме. Юра, учась в ремесленном, частенько наведывался к тетке.

Однажды, когда я был у Марии Тимофеевны в гостях, она так рассказывала мне о брате. Здесь приводятся ее дословные воспоминания.

«Чистюля он был,— вспоминала Мария Тимофеевна,— и очень любил порядок в одежде, во внешнем виде. Чаще всего приезжал по субботам. Откроет дверь, бывало, сверточек под мышкой у него.

— Теть Маш,— попросит,— постирай рубашку, пожалуйста, если не трудно.

Деньгами баловать детей не любила, но время было трудное, голодноватое, и жаль Юру — один живет, от матери далеко. Дашь какую-нибудь мелочь: купи, мол, Юра, булочку или молочка выпей, когда проголодаешься.

После уже узнала — не покупал, экономил все. На поездки домой берег, родным на подарки.

Любил о прошлом расспрашивать — о дедушке Тимофее Матвеевиче, о дяде Сереже, о том, как в Питере жили.

— Семья у нас вся пролетарская,— бывало, говорю ему.— Вот

и я с тринадцати лет на работу пошла, как война мировая началась. На заводе военном, Хосина и Муншака завод, паяльщицей была. Ручные гранаты делали мы.

Как-то обмолвилась ненароком, что, мол, Ленина видала, Владимира Ильича, и даже, можно сказать, разговаривала с ним. А он, Юра-то, смотрит на меня и, вижу, не верит.

— Да что тут удивительного, Юра? — спрашиваю.— Мы, питерские, почитай, все Ильича видывали.

Привязался он тогда: расскажи да расскажи, теть Маш, как это было?

А как было? Обыкновенно...

Юденич тогда на Петроград наступал.

Все рабочие на защиту города поднялись, в Красную гвардию записались. А мы, девчата заводские, санитарную дружину сорганизовали.

И вот эту-то нашу дружину в Смольный позвали перед тем, как на фронт нам выступать.

В кино очень правильно Смольный показывают, очень похоже. Народу там было — невпроворот. И солдаты, и матросики, и наши, заводские, значит, люди. Кто с винтовкой или там с бомбой, а кто и с мешком за плечами с чайником в руках.

Столпотворение.

Поднялись мы на второй этаж — там и увидели Владимира Ильича. Сидит за столом, бумаги какие-то подписывает. Очень занятой, видно.

Тут ему подсказали, что девушки-сандружинницы пришли. Он поднялся быстро так, подошел к нам, поздоровался. А мы по всей форме одеты: косынки на нас белые с крестами, сумки через плечо санитарные.

— Что же,— говорит,— девчата, не боитесь на фронт ехать? Не страшно?

Может, и побаивались мы, наверно, побаивались, но Ленину постеснялись в этом признаться. В один голос закричали:

— Нет, не боимся!

— Это хорошо,— он, значит, опять.— Вижу, смелые вы, заводские девчата. Помогите, помогите нашим мужчинам генерала царского одолеть. А закончится война — всех вас учиться пошлем.

Оттуда, из Смольного, и ушли мы на фронт...

Рассказывала я все это Юре и не знала, не думала, какую заботу себе готовлю. Как пристал он с вопросами: а какой Владимир Ильич был из себя? А как он одет был? А как смотрел? Говорил как? Да похож ли он на портретах?

Измучил старуху — такой дотошный.

Однако и этим дело не кончилось.

В следующую субботу гомонят, слышу, за дверью. Открываю. Батюшки мои! — целую бригаду товарищей своих, ремесленников, привел.

Хотела поругать его, а он упредил:

— Теть Маш, ребята хотят про Ленина послушать.

Что ж, надо, значит, принимать гостей. И о Ленине им рассказывала, и о том, как с Надеждой Константиновной Крупской встречалась, разговор шел.

...Он никогда не забывал меня, Юра-то. И вырос когда, выучился, в космос слетал — все в наш дом заглядывал. Без подарков не заходил. «Зачем — скажу, бывало,— мне, старухе, отрез такой на «платье»? «Носи,— отвечает,— теть Маш, новое платье тебя моложе сделает». А то из-за границы штуку какую-нибудь мудреную привезет — не знаешь, как и подступиться-то к ней.

Очень внимательный был человек, наш Юра...» Вот что рассказывала мне Мария Тимофеевна. Знай князья Гагарины, что есть в нашей семье люди, причастные к Октябрю, к революции, вряд ли спешили бы они заявлять о своем «родстве» с нами.

Про Володину тетрадь и куст гортензии

Любопытные штрихи к биографии Юры — учащегося ремесленного училища вспоминает Надя Щекочихина, дочь Марии Тимофеевны. По возрасту Надя немногим старше Юры: в сорок девятом году как раз окончила среднюю школу, стала студенткой медицинского института. Юра, как уже сказано, был нередким гостем в доме тетки.

Он, рассказывает Надя, как-то естественно вошел в жизнь семьи, и если подолгу не появлялся в Клязьме — о нем скучали. Больше других тосковал по Юре его двоюродный братишка — девятилетний Володя. В такие годы подростки не могут жить без кумира, без опекуна, такого, чтобы малость постарше был, и силой отличался, и — при случае — мог наказать обидчика. В лице Юры и нашел Володя и кумира, и заступника себе. Впрочем, не только заступника... В начальной школе Володя — так уж сложилось — не очень дружил с грамматикой русского языка. Прознав об этом, Юра тотчас же добровольно принял на себя обязанности репетитора: занимался с Володей диктантами, разбирал правила, в дополнение к школьным задавал собственные уроки по предмету. И, надо сказать, дела у мальчика пошли на лад. А в семье Нади и ее мужа до сих пор хранится та детская Володина тетрадь с отрывками из книг,

продиктованными Юрой, с выставленными им за каждый урок оценками, заверенными собственной подписью: Ю. Гагарин.

Разумеется, Володе, как и любому другому подростку на его бы месте, нравился в Юре не столько домашний учитель, к слову сказать, довольно требовательный, сколько старший товарищ по играм, по спортивным увлечениям. Быстрый, порывистый, Юра любил подвижные игры: баскетбол, волейбол, в зимние месяцы увлекался хоккеем, лыжами, коньками. И всегда — на спортивную площадку, на каток — тащил он за собой Володю. Хождения эти совместные даром не пропали: став старше, Володя добился высоких разрядов по легкой атлетике, лыжам и баскетболу.

Заядлый участник всех училищных кроссов, соревнований и состязаний, Юра был неравнодушен к спортивным значкам, во множестве носил их на гимнастерке. «Юрка, ты весь так и сверкаешь»,— подшучивали над ним родные. Чаще он смущенно улыбался в ответ, отмалчивался, а иногда, впадая в азарт, начинал демонстрировать свою силу: снимал гимнастерку, руку выше локтя опутывал нитками в несколько рядов, напрягал мышцы. Нитки рвались, к великой радости Юры и — особенно — Володи.

На втором году учебы в ремесленном Юра увлекся фотографией. Приобрел дешевенький «Любитель» и снимал все подряд — кошек, собак, облака, деревья, здания, людей. Подгоняемый нетерпеливым желанием увидеть, что получилось там, в кадре, днем «нащелкивал» пленку, а вечером торопился проявить ее, отпечатать снимки. Случалось, в самый разгар работы гас электрический свет, и тогда Юра звал на помощь Надю и Володю, заставлял их жечь спички — одну за другой, и при этом скудном освещении печатал фотографии... Мария Тимофеевна обнаружила как-то, что роскошный куст гортензии под окном — украшение и гордость дома — безнадежно погублен: завял, засох. Расстроенная, пошла по следам, как принято говорить, преступления и выяснила: ребята, увлекаясь, использованные проявитель и закрепитель выплескивали в окно, на гортензию, совершенно забыв о ее существовании. Конечно, фотомастерам нагорело, все трое извинились перед Марией Тимофеевной, но азарту у них не убыло. И по сей день уцелело несколько маленьких, потускневших от времени фотоснимков, сделанных рукой Юры.

Тут нужно сказать, что поругивала Мария Тимофеевна племянника очень редко. Ей нравились его подтянутость, собранность, нравилось, что не чурается никакой работы: воды ли принести, дров ли наколоть. Любил Юра мыть посуду — тут он был признанным мастером: мыл и быстро и чисто. «С Юрия

пример берите,— наставляла Мария Тимофеевна родных детей,— все-то у него ладно и аккуратно, все к делу. Не зря в деревне рос — мужичок...»

И еще об одной веселой придумке брата вспоминает Надя.

Встречали новый, 1950 год. Молодежи очень хотелось, чтобы за праздничным столом вместе с ними посидела — пусть самую малость! — Мария Тимофеевна. Но тетка в эту ночь дежурила в поликлинике.

— Сейчас я ее доставлю,— пообещал Юра.— Одевайтесь и айда за мной!

Ребята оделись, вышли на улицу. Поликлиника неподалеку от дома была, и Юра велел Наде с Володей спрятаться за углом какого-то здания, а сам храбро постучал в двери медицинского учреждения. На стук вышла женщина в белом халате.

— Чего тебе, мальчик?

— Ой, тетенька, помогите скорее, у мамы роды начались,— запричитал Юра.— Скорее, а то поздно будет...

— Погоди здесь...

Женщина скрылась за дверью, а через минуту одетая, с сумкой в руках появилась на крыльце Мария Тимофеевна. Ребята выскочили из-за угла, со смехом подхватили ее под руки, привели домой, сняли пальто, платок. Поворчала на них Мария Тимофеевна, но, по всему видать, для видимости больше: довольна была, что праздничный перезвон кремлевских курантов услышала за семейным столом, в окружении детей.

«Как же нам было весело, радостно в тот вечер,— вспоминает Надя.— Все нас смешило. Мы пели, танцевали, дурачились. Юра очень любил музыку, очень любил петь... С чувством он пропел тогда пришедшую ему на память партизанскую песню «Ой, туманы мои, растуманы...». И мы вдруг поняли, что годы войны, годы фашистской оккупации еще свежи в его памяти... Веселье на какое-то время сменилось грустью. Но, видимо, это неизбежно, такой он праздник — Новый год: и радость, и печаль в обнимку ходят...»

Забегая вперед, скажу, что, закончив ремесленное, Юра оставил в доме тетки свою форменную куртку и ремень с бляхой «РУ». «На память»,— сказал он. В 1970 году эти вещи были переданы в музей Юрия Алексеевича в городе Гагарине.

А вскоре после полета на «Востоке» брат подарил Марии Тимофеевне свою книгу «Дорога в космос» со следующей надписью: «Дорогой тете Марусе с глубокой благодарностью и искренним уважением за помощь и заботу в годы детства и юности».

Но я снова ушел вперед. Речь-то — в предыдущих разделах —

шла о первой Юриной побывке в Гжатске да о том, как из Люберецкого училища ездил он в Клязьму, к тетке в гости...

Два письма

...Дня три или четыре длилась она, эта первая побывка. После октябрьских праздников Юра снова уезжал в Люберцы.

Провожали его шумно. На вокзал он шел вместе с товарищами по классу, а в центре веселой, многоголосой ватаги ребят, плотно сжатой ими со всех сторон, шагал Лев Михайлович Беспалов.

У вагона, пожимая на прощанье руку своему недавнему ученику, Лев Михайлович с грустью спросил:

— Что же, Юра, увлечение авиацией благополучно кончилось?

— Нет! — с жаром возразил брат.— Вот получу специальность, буду работать на заводе и учиться заочно. Сначала школу закончу, а потом в институт пойду, на авиационного инженера. И летать буду.

Поезд тронулся, а ребята стояли на перроне и долго махали вслед ему шапками.

Когда подходил к концу второй год занятий в ремесленном, Юра прислал письмо, весьма неожиданное. Он писал, что его как хорошего спортсмена рекомендуют на учебу в Ленинград, в физкультурный техникум, и что он уже прошел отборочные соревнования в Мытищах.

Эта новость огорчила нас.

— Руками-ногами дрыгать — ума большого не надо. Как пить дать избаловался, от работы отлынивает,— с грубоватой прямотой высказался отец.— Вот приедет домой, я ему шею намылю, приведу в чувство.

«Куда-то не туда сворачиваешь ты, Юрка»,— думал я. И как-то не верилось, что это письмо написано рукой брата — такого упрямого и настойчивого в выполнении своих замыслов человека.

«Не делаешь ли ты глупости, сынок? Спортом заниматься можно везде»,— села за ответ сыну мама. Дописать ответ она не успела — почтальон принес второе письмо от Юры. В этом, втором, он спешил рассказать, что отказался от предложенного замысла и намерен ехать в Саратов, в индустриальный техникум, где можно продолжать учебу по специальности. Дирекция училища дает ему как отличнику направление.

Это письмо утешило вспыхнувшие было страсти. Против Саратовского индустриального никто не возражал.

ГЛАВА 7
Студент

Как поладить с «трудными»…

Запомнилось, как приезжал Юра домой летом после третьего, предвыпускного курса в техникуме.

Я смотрел на него и дивился: не узнать брата.

В плечах шире стал, фигурой поплотнел, а лицом черен — сущий цыган. Целое лето на солнышке жарился… Исчезла мальчишеская угловатость — спокойнее, мягче стал в движениях. Не мальчик уже, далеко не мальчик.

— Ты ли это, Юрка?

Смеется.

Может, костюм всему виною, светлый, в искорку, костюм? — он так ладно пришелся по его фигуре. И туфли на нем новые, в тон костюму, и часы на руке популярной марки — «Победа». За последние пять лет привыкли мы видеть Юру только в форменной одежде: сперва в черной гимнастерке ремесленника, потом, опять же в черной, куртке студента индустриального техникума. Всегда что-то казенное, если можно так сказать, официальное было в его облике. А тут, подите-ка, определенно штатская личность.

— Матереешь. В купца растешь. Теперь все девки твои.

Он снова смеется, и только улыбка на лице, такая просторная и щедрая, когда в движении все: губы, глаза, щеки, нос… Только улыбка свидетельствует: он это, наш Юрка.

— На свои кровные приобрел,— трогает он двумя пальцами лацкан пиджака.

— Врешь небось. Ограбил кого-нибудь в темном переулке. Силищу-то девать некуда.

До сих пор, за всю свою двадцатилетнюю жизнь, не нашивал наш Юрка хорошей одежды, за исключением разве форменной. Наверно, это здорово — сознавать, как влито сидит на тебе новенький костюм, и право на его приобретение ты заработал собственными руками. Сколько уверенности прибавляется в человеке…

Я смотрю на него и немного завидую. В двадцать лет единственным моим костюмом были солдатская гимнастерка и штаны, а чувство уверенности в жизни, если и было оно, давала танковая броня.

Целое лето Юра проработал физруком в детдомовском лагере

и вот, перед началом занятий, выбрался на несколько дней домой. Там, в лагере, заработал он и на костюм, и на часы, и на туфли.

А начало у лета было таким. Секретарь райкома комсомола встретил Юру в оперном театре: шла «Русалка» Даргомыжского. «Да ты заядлый театрал, Гагарин, я тебя не впервой здесь вижу. Это замечательно. Рабочая молодежь должна любить и понимать искусство,— поощрительно заговорил секретарь, крутя блестящую пуговицу на Юриной тужурке.— Только что это ты, брат, на оперы в вицмундире ходишь? Костюмчик бы...» Юра смутился, махнул рукой. Он давно мечтал купить костюм, да ведь денег стоит... «Понятно»,— тоже смутился секретарь. Парнем он оказался толковым. В антракте взял быка за рога: «Хочешь одеться, Гагарин,— езжай-ка ты на лето в детдомовский лагерь. Физруком. Предупреждаю: ребята там — оторви да брось, пальца им в рот не клади. Но ты, думаю, на них управу найдешь. Дело?» — «Дело...»

Так все и устроилось.

— А как ты с детьми поладил? Как на них управу нашел?

Юра опять смеется:

— У, мы быстро поладили. Я в них, честно говоря, даже влюбился немного. Великолепные такие чертенята, разбойники, а с такими всегда интересно. Это во-первых. Песнями я их заворожил — это во-вторых. Как вечер — так мы костер под самое небо разводим и песни у костра поем. Баянист у нас был слепой, Иваном Алексеевичем звали. Заиграет, бывало,— душу наизнанку вывернет. Трогательно получалось. А песни все военные, боевые — про партизан, про моряков. Или старинные, «Варяг» к примеру. Ну, ребятам любо — дерут глотки, стараются. Опять же спорт — футбол, волейбол. Я же физрук, что там ни говори... А главное, Валька, главное — так знаешь, я книги о войне специально читал, чтобы им истории позанятнее рассказывать. Очень действует в смысле дисциплины.— Он хитро посмотрел на меня: — Между прочим, помнишь ты разговор про некоего капитана Тушина? Я пожал плечами:

— Вроде где-то слыхал. Не помню уж...

— Вспомнишь сейчас. Когда в Москву ты меня вез, дядечка усатый и безрукий сидел с нами. Не забыл?

— Ну?

— Вот и ну! Про Тушина он как раз и говорил. Я тут тебе подарок привез — «Войну и мир» Толстого.

— При чем тут Толстой? — со страхом взглянул я на огромный том.

— Почитай — узнаешь, при чем.

Положил он тогда меня на обе лопатки.

А когда я через какое-то время осилил эпопею Толстого и написал Юре в письме, что теперь-то уж наверняка знаю капитана Тушина, он ответил, что и сам прочел «Войну и мир» только в лагере.

Юра очень любил детей. Приезжая в Гжатск, он непременно привозил подарки племянницам и племянникам, подолгу возился с малышами, охотно нянчился. И неудивительно, что в летнем лагере детдома, где, по его словам, было немало и «трудных», «вредных» ребят, он быстро нашел с ними общий язык.

Город маминого детства

На последнем курсе техникума письма от Юры приходили по два-три раза в неделю, очень пространные и очень интересные письма. Это было время стажировок, практических занятий, время поездок по различным городам. Поток впечатлений был так велик, что Юра, не в силах все держать в себе, делился восторженными впечатлениями и с нами. Письма — по форме, по объему, по содержанию — походили скорее на страницы дневников.

Он подробно, со множеством мельчайших деталей рассказал о поездке студентов в Москву, на завод имени Войкова.

Но особой теплоты и особых красок полны были его письма из Ленинграда.

Город на Неве пленил и покорил его своей неповторимостью, своим гостеприимством, своим революционным прошлым.

Смольный — штаб пролетарской революции. Отсюда Ленин и его боевые соратники руководили вооруженным восстанием. Тот самый Смольный, о котором ему, недавнему ремесленнику, много и подробно рассказывала тетя Маша — Мария Тимофеевна Дюкова, бывшая сандружинница Красной гвардии.

Зимний дворец — последний оплот министров-капиталистов, павший под ударами рабочих, солдатских и матросских полков.

Легендарный крейсер «Аврора»...

Привелось Юре побродить и по цехам знаменитого Путиловского завода, в стенах которого много лет назад наш неугомонный дед Тимофей растерял свои силы, оставил здоровье.

...Путиловский!.. Ныне он по-другому зовется: Кировский. И многих орденов удостоен за высокие заслуги перед государством.

Неподалеку от завода, там, где виадук, отталкиваясь от железнодорожной насыпи, врезается в проспект Стачек, еще недавно стояли, а может и ныне стоят, три дерева. В конце прошлого и начале нынешнего века в их тени размещался

деревянный, в два этажа, дом. В этом доме по Богомоловской улице, 12, и снимал комнату мастеровой человек Тимофей Матвеевич Матвеев с женой своей Анной Егоровной. Наши дед и бабка.

Четырнадцать детей родилось у Тимофея Матвеевича и Анны Егоровны, но вечная нищета, недоедание, антисанитарные условия сделали свое черное дело: в живых осталось только пятеро.

После того как хозяйские холуи за строптивость увечьем наказали деда Тимофея, вовсе впроголодь жили Матвеевы. Анна Егоровна с трудом упросила, чтобы ее приняли на завод — на черную работу, за нищенские гроши. Подростками определились в цехи и старшие из детей — Сергей и Мария.

Известно, что лучшие уроки пролетарской сознательности, классовой ненависти к угнетателям дают нужда и голод. В 1916 году, в преддверии революционных потрясений, в рабочих кварталах за Нарвской заставой была создана конспиративная организация молодежи. Руководили организацией большевики, а одним из первых вступил в ее ряды Сергей Матвеев. Вместе с товарищами распространял он прокламации, подбивал рабочих на стачки и забастовки.

Впрочем, только стачками и забастовками дело не ограничивалось.

Большевики отлично понимали, что самодержавие не сойдет со сцены без борьбы, что власть, которую завоюют рабочие, придется защищать с оружием в руках. Следовательно, им — оружием — надо запасаться.

И тогда молодежь Нарвской заставы продумала и осуществила дерзкий набег на арсенал полицейского участка. Кстати, автором плана был токарь пушечной мастерской Путиловского завода Василий Алексеев, впоследствии ставший одним из организаторов комсомола.

Акция проходила так.

На Ушаковской улице окнами друг на друга смотрели полицейский участок и пожарная команда. Глубокой ночью загудел над городом тревожный набат: это на Богомоловской улице ярким костром вспыхнул стог сена. Запалил его, чтобы отвлечь внимание пожарников и полиции, Сергей Матвеев. Представители двух государевых служб — пожарники и полицейские — поспешили к огню. Однако пристав, квартировавший в верхнем этаже над вверенным ему участком, вынужден был с половины пути возвратиться: запылало его жилье, подожженное товарищами Сергея. Заметались в растерянности чины полиции и пожарной команды, не зная, что

тушить в первую очередь. Охранники оружейного склада снялись с мест. Крик, беготня, смятение. Тем временем молодые рабочие без шума вскрыли двери арсенала и вынесли оружие...

Конечно, время неузнаваемо изменило облик города, и завода тоже. Перестроились улицы, кварталы, выросли новые цехи. И однако из Юрино-го письма мы узнали, что уцелело здание бывшего Путиловского училища, и мама прочитала об этом не без удовольствия. Тому есть объяснение. До сих пор бережно хранит она свой первый и единственный документ об образовании — свидетельство об окончании в 1916 году курса детских классов Путиловского училища. Любопытно, что в перечне дисциплин, преподаваемых детям рабочих, на первом месте значился закон божий, затем шли русский язык, арифметика, чистописание. Вписан в свидетельство и такой предмет — естествознание, но в графе оценок против него поставлен прочерк: видимо, лишней нагрузкой для пролетарских детей посчитали этот предмет попечители училища, да и не вязалось его преподавание одновременно с преподаванием закона божьего. Какое уж там естествознание, когда из арифметики, по словам мамы, учили только двум начальным действиям: сложению и вычитанию...

Исаакий, Эрмитаж, Аничков мост... Вслух, сообща перечитывали мы Юрины письма и въяве будто бы видели улицы и проспекты, мосты и дворцы Ленинграда. Особенно много радости доставляло это чтение маме: что там ни говори, а письма в Гжатск приходили из города ее детства. «Будто своими глазами на все посмотрела»,— приговаривала она, бережно складывая и пряча в конверт пространно исписанные листки. Мама и думать не могла, что пройдет не так уж много времени — и в июле 1963 года по приглашению рабочих приедет она в Ленинград. Вместе с ней цехи Кировского завода навестят и родные тетки космонавта — Мария Тимофеевна Дюкова и Ольга Тимофеевна Матвеева.

Кончилась стажировка, истекло время практических занятий — студенты вернулись в Саратов.

Тут, на занятиях физического кружка, которым руководил умнейший преподаватель Николай Иванович Москвин, Юра выступил с докладом на тему «Константин Эдуардович Циолковский и его учение о ракетных двигателях и межпланетных путешествиях».

Физика, как и в школе, по-прежнему остается его любимым предметом.

А знакомство с трудами Циолковского, по признанию Юры, душу ему перевернуло. Он впервые задумался о том, что не

только атмосфера, но и заатмосферные дали могут быть доступны человеку, что авиация, даже реактивная, пришедшая на смену винтовой, еще не предел творческой мысли. В околосолнечные пространства должны ввинтить свои тугие тела сверхмощные ракеты, и в этих ракетах, так утверждает Циолковский, найдется место человеку. Не только место, но и работа. Аэронавт будет не куклой, не манекеном — ему придется управлять космическим кораблем, подчинить его своей воле.

Если в школе, где о некоторых работах Циолковского Юре говорил Беспалов, теории великого ученого воспринимались им как заманчивый, но малореальный вымысел, как фантазия, красивая сказка, то теперь, в техникуме, Юра безоговорочно верит Циолковскому.

Он начинает увлекаться научно-технической литературой и книгами фантастов, и интерес, проявляемый к ним, на какое-то время заставляет его почти совершенно забыть о литературе художественной.

Он не пропускает ни одной статьи, ни одной даже маленькой заметки в газетах и журналах, посвященной ракетостроению, в том числе и военному.

Он хочет понять и учится понимать теорию относительности Эйнштейна.

Тайны космоса влекут его с необыкновенной силой. В науке о космосе еще так много белых пятен!.. И он отдает ей все свободное время. А времени мало, очень мало. Нужно готовиться к государственным экзаменам — спрашивать будут строго. Нельзя, ни в коем случае нельзя завалить дипломный проект. Сколько приходится выполнять чертежей, изучать специальной литературы.

Юра работает, как говорится, на износ. Спит урывками.

Иной, быть может, и не выдержал бы этого напряжения. Юру выручает строгий распорядок дня, выручает молодость, железный, не знающий хандры и болезней организм.

Доведется ли его поколению, его ровесникам стать свидетелями полета человека в космос? — вот что волнует Юру.

Кому суждено прорвать оболочку атмосферы?

Он еще не подозревает, что уже и сам сделал решительный шаг на пути в космос.

...Знойное, богатое урожаем лето пятьдесят пятого.

Письма радуют.

Сдал все экзамены. Во вкладыше в диплом против тридцати двух предметов стоит оценка «отлично», и только по психологии умудрился схватить четверку. «Для разнообразия,— шутя

замечает Юра.— А то уж больно уныло смотрится диплом».

Защитил дипломный проект. А тема была сложная: «Разработка литейного цеха крупносерийного производства на девять тысяч тонн литья в год». Уйма чертежей, обоснований... Получил квалификацию техника-технолога литейного производства.

Отец вздохнул облегченно:

— Отучился, отмучился. Хватит пока. Пусть теперь копейку зарабатывает, учебу перед государством оправдывает.

— Куда пошлют-то вот? — беспокоилась мама.

— А куда б ни послали — все едино в родной стране. Думаю, однако, что в большом городе жить ему придется,— рассуждал отец.— Специальность-то не по деревне у него, навроде инженера теперь.

Тут в июне месяце и пришло это самое письмо с вложенной в конверт газетой. Развернули газету, смотрим — Саратовского обкома комсомола орган, «Заря молодежи» называется. А на полосе — снимок: Юрка наш в кабине самолета, и вид у него очень летчицкий: шлем, очки, рука над головой поднята. А рядом со снимком небольшая заметка под заголовком «День на аэродроме». В ней такие строки есть:

«В этот день программа разнообразна: одни будут отрабатывать взлеты, другие посадку, третьи пойдут в зону, где им предстоят различные фигуры пилотажа.

Сегодня учащийся индустриального техникума комсомолец Юрий Гагарин совершает свой первый самостоятельный полет. Юноша немного волнуется, но движения его четки и уверенны. Перед полетом он тщательно осматривает кабину, проверяет приборы и только после этого выводит свой Як-18 на линию исполнительного старта.

Гагарин поднимает руку, спрашивает разрешения на взлет.

— Взлет разрешаю,— передает по рации руководитель полетов Пучик.

В воздух одна за другой взмывают машины. Инструктор, наблюдая за полетами своих питомцев, не может удержаться от похвалы:

— Молодцы, хлопцы!..»

Мы знали, что на последнем курсе техникума Юра поступил в аэроклуб. Он писал об этом. Но как-то не приняли всерьез мы его сообщения. Все это — аэроклуб, книги об авиации и разговоры о ней — было так далеко, что не волновало, не тревожило, казалось в какой-то степени неправдоподобным, чем-то вроде детской игры в строительство самолетиков, которой Юрка и его товарищи увлекались еще в школе.

Однако не поверить газете было нельзя.

Отец крякнул:

— Объехал он меня на кривой кобыле. Ох, упрям...

Бережно сложил газету, спрятал в нагрудный карман.

— Искуришь ненароком,— встревожилась мама.

— Что я, маленький? — вдруг смутился он и, отвернув лицо, договорил: — Дружкам покажу. Полетел ведь Юрка-то...

* * *

Юра по возвращении из космоса расспрашивал встречавших его корреспондентов: а нет ли среди них представителя саратовской комсомольской «Зари молодежи»?

И очень огорчился, узнав, что нет.

— Как бы ребята из Саратовского аэроклуба порадовались,— сказал он.— Ведь они, может, на тех же самолетах учатся летать, на которых и я летал.

Видимо, скромная похвала в газете в адрес начинающего летчика не прошла для Юры даром, дала ему уверенность в себе, как бы вторые крылья дала.

Не случайно же вспомнил он об этой заметке через шесть лет после ее опубликования. Не случайно и другое его признание: «Именно с Саратовом связано появление у меня болезни, которой нет названия в медицине, неудержимой тяги в небо, тяги к полетам».

Но, если отвлечься от романтики полетов, здесь к месту будет еще одно существенное дополнение. Принято считать, что статья в «Заре молодежи» — первое упоминание о Юре в газете. Оказывается, нет. Учась в Люберецком ремесленном, Юра проходил практику на крупнейшем в районе заводе сельскохозяйственных машин имени Ухтомского. В номере многотиражной газеты «Заводская правда» от б июля 1951 года опубликована заметка «Экзамены в заводской школе рабочей молодежи». В ней говорится: «...В седьмом классе сдают экзамены тридцать два учащихся. Все они хорошо написали изложение и выполнили письменную работу по алгебре. Первыми до установленного времени сдали работы по алгебре Гагарин, Чугунов, Черножуков, Золотое, Напольская и другие. По этим предметам и по геометрии они получили пятерки...»

Подписана заметка директором школы М. Гурьевой.

В другом номере многотиражки о тех же экзаменах сообщает З. Толченова, комсорг заводской школы рабочей молодежи. «Закончился учебный год в заводской школе рабочей молодежи,—

пишет она в заметке «Хорошая успеваемость».— Переводные и выпускные экзамены держали сто двадцать учащихся... 32 молодых рабочих окончили седьмой класс. Это Гагарин, Напольская, Чугунов, Черножуков, Аксенова, Фетисова, Сергеева и другие... Экзамены обнаружили высокую успеваемость и прочные знания. Почти все они показали высокую успеваемость, получили хорошие и отличные оценки. Это говорит о том, что молодые рабочие нашего завода серьезно занимались в течение года».

Изыскания эти в заводской многотиражке сделаны и результаты их опубликованы А. Беловым в московской областной газете «Ленинское знамя».

А мне, не скоро, приятно было узнать, что и в заметке Гурьевой, и в заметке Толченовой список успешно сдавших экзамены учеников открывается именем брата.

Юра, возможно, и не читал о себе в многотиражке — обошла «Заводская правда» ремесленников стороной. Сужу так потому, что знаю: прочитал бы — прислал бы газету домой. Радость-то какая великая была: седьмой класс закончил!

Под куполом парашюта

Всегда, когда Юра приезжал домой, мы находили время выбраться на рыбалку.

Так вот и в этот раз. Но, в отличие от других дней, не везло нам сегодня.

Не клевала рыба.

Мы лежали на горячем песке, разомлев от непривычно жаркого для августа солнца, лениво следили за поплавками. А гусиные перышки и пробки поплавков едва покачивались на мягкой и несильной волне, и вода была настолько чиста и прозрачна, что даже легкая тень, которую отбрасывал на нее прибрежный ивняк, не могла укрыть крючков с насаженной на них приманкой, ровного илистого дна, усыпанного ракушками.

Светлые облака невесомо плыли над Гжатью, и так же невесомо, не встречая препятствий, скользили по реке их отражения, просвеченные солнцем.

То ли перевелась в нашей Гжати рыба, то ли поумнела — не ведали мы, но на крючок идти она не желала. Уха срывалась, к великой нашей досаде, потому что, уходя из дому, хвастливо пообещали мы вернуться с добычей и на поджарку, и на уху.

— Рассказал бы ты, Юрка, что-нибудь — предложил Борис.

— А что рассказать-то? — скучно отозвался Юра.

— Про полеты, про самолет.

Наш «средний» оживился, присел на песке, обхватив голые колени руками, но все же для начала малость поломался.

— Вам неинтересно будет. Вы же сухопутные.

— Ладно, не зазнавайся,— поддержал я Бориса.— Не задирай нос. Уж коли ты один из нас троих летать научился — рассказывай, не отнекивайся.

Он прищурил глаза, раздумывая, припоминая что-то. А поплавки все так же сонно покачивались на воде, и по-прежнему не клевали ни ерши, ни пескари, и даже разозлиться как следует на то, что нет клева, не хватало у нас ни сил, ни желания: слишком знойным выдался этот день последнего летнего месяца.

— Ладно, слушайте внимательно, а то не все поймете,— сказал Юра.— Пожалуй, расскажу я вам историйку. Только не про полеты на самолете, а про прыжки с парашютом. Про первый свой прыжок...

На аэродром они ехали в автобусе, десятка два парней и девчат, знакомых между собою по техникуму, по аэроклубу и вовсе не знакомых. Ехали по ночным улицам Саратова, в третий раз ехали: дважды до этого — вчера и позавчера — прыжки отменялись из-за ненастной погоды. И оттого, что город спит, а они никак не могут отоспаться вволю, что каждому из них сегодня на рассвете предстоит впервые в жизни прыгать с парашютом, парни сидели притихшие, задумчивые. Кто-то, правда, попытался рассказать анекдот, но у анекдота оказалась длинная «борода» — в ответ не засмеялись, не поддержали любителя фольклора, и тот смущенно умолк на полуслове.

Девчата — те наоборот: шушукались друг с дружкой, посмеивались над ребятами, задирали их. Выделялась среди них одна блондинка — юбчонка на ней в обтяжку, губы накрашены сочно, прическа на голове — популярный «конский хвост». И голосок ее звучал чаще других, и шпильки были поострее.

— Посмотрите-ка на него, какой букой сидит,— показала она на Юру.— Наверно, сто раз уже прыгал. Можно подумать, заслуженный мастер спорта.

— Тоже в первый раз,— негромко отозвался Юра. Разговаривать не хотелось.

— Ах, в первый раз? Он, девочки, храбренького из себя строит, а у самого, поди, поджилки трясутся.

«Тоже мне, навела губы. Мазиха»,— подумал Юра, обиженный насмешками блондинки. И вдруг улыбнулся. Неожиданно для себя вспомнил он это чудное словцо. Так вот, «мазихами», на родине, на Смоленщине, зовут в народе недурных собой, но любящих принарядиться, подкраситься и, в общем-то,

легкомысленных девчат и молодых женщин. Нигде больше: ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в Саратове — не приходилось ему слыхивать этого словца.

«Мазиха»,— снова повторил он про себя, и от этого невесть какими путями пришедшего на память родного словечка вдруг потеплело на душе, угасла обида на девушку-задиру.

А та все напирала:

— Признайся, трусишь ведь, только виду не подаешь?

— Ага, трушу, только виду не подаю,— согласился он.

— А я — так вот ни капельки, ни на сколько вот,— показала она розовый ноготь на мизинце.

Первым, для пристрелки, прыгал Дмитрий Павлович Мартьянов, инструктор. А когда он приземлился — красиво и четко, быстро и уверенно на глазах у восхищенной ребятни погасил парашют, прозвучала команда:

— Гагарин, к самолету!

Шел, не чувствуя под собой площадки аэродрома — только на спину и грудь тяжестью навалились вдруг ранцы основного и запасного парашютов. «Может, отказаться, не поздно еще»,— мелькнула трусливая мыслишка. И вторая, ей вперебой, наплыла: «Отказаться — в своих собственных глазах опозориться, не я первый — не я и последний, прыгали до меня и после меня прыгать будут, чего ж бояться-то?»

— Ни пуха! — услышал он за спиной голос девушки-задиры и про себя послал ее к черту.

Маленький По-2 оторвался от взлетной дорожки, набрал высоту. До сих пор Юре не приходилось летать даже в качестве пассажира. Эх, если бы не прыгать сейчас!— полюбовался бы сверху городом, что белокаменно раскинулся внизу, на земле, некруто изогнутым клинком Волги, по зеркальной ленте которой скользят сейчас катера и пароходы. Если б не было нужды прыгать... А нужда великая: без прыжка с парашютом не допустят к самостоятельным полетам на самолете.

Ни белокаменного города Саратова, ни красавицы Волги Юра не видел — торчал перед глазами только обтянутый кожаным шлемом затылок летчика.

Летчик поднял руку: пора!

Цепляясь ногами за что-то неуклюжее, подвернувшееся неизвестно откуда, выбрался на крыло. Земля то стремительно летела прямо на него — выпуклая, в зеленых, синих и черных квадратах и прямоугольниках, грозила опасной встречей с собой, то, обрываясь, проваливалась под плоскость крыла.

— Смелей,— крикнул пилот.— Не робей, парень! Внизу тебя девушки с цветами ждут. Готов?

— Готов!— ответил заученно.

— Пошел!

Скользнули по центроплану подошвы. Холодный воздух туго ударил по щекам.

Ему казалось, что падает он уже целую вечность, а парашют все не раскрывается.

А земля приближалась с непостижимой быстротой.

По-настоящему испугаться не успел: сильно встряхнуло — выстрелил ранец основного парашюта за спиной. Падение замедлилось, стало плавным.

— Для первого раза недурно, на мешок с клопами не похож, — похвалил его Мартьянов, когда наконец ощутил Юра под ногами твердую почву.

Похвала Мартьянова стоила дорого. В недавнем прошлом военный летчик-истребитель, он, уча ребят, всегда подчеркивал, что авиация — удел мужественных, сильных людей.

— Можно еще разик, а?— сгоряча попросил Юра, переживая мысленно весь прыжок и понимая уже, что, в общем-то, ничего страшного нет в этом удивительном занятии — падать с неба на землю. Ничего нет, кроме пьянящей, захватывающей, упоительной власти высоты.

Мартьянов не разрешил:

— Остынь. Больно шустер. Тут, видишь ли, очередь, все в небо рвутся. Вот красавице не терпится...

Красавице — задиристой блондинке — пришлось подниматься в небо второй. Прыгнуть она так и не решилась: как поднял ее пилот в воздух, так и приземлился вместе с ней на борту.

— Милая девушка,— проникновенно сказал ей один из оказавшихся поблизости летчиков.— Милая девушка, парашют, должен вам заметить, не терпит прически «конский хвост».

Мартьянов цыкнул на летчика, а девушка вспыхнула, кусая губы. Юре — в нем еще не угасло волнение от своего недавнего прыжка — стало жаль ее. Подошел ближе.

— Ты не расстраивайся,— сказал он.— Я ведь тоже очень боялся. Ты знаешь, я на крыле про тебя вспомнил. Может, и спрыгнул потому. В следующий раз и ты прыгнешь.

— Нет уж, спасибо! Больше я сюда ни ногой...

И однако пришла. Ничего не осталось в ней от прежней «мазихи» — и прическа скромнее, и губы некрашеные. Разве только юбка, узкая и короткая, как и тогда, обтягивала ноги. От ее подруг ребята — она вдруг многим понравилась — узнали, что девушка была из не очень обеспеченной семьи, и догадались, что вся ее прежняя манера держаться вызывающе — не что иное, как

наивное, детское еще, стремление быть независимой от окружающих.

Она нашла в себе смелость вновь подняться на самолете и прыгнуть с парашютом.

Между прочим, цветы на аэродроме, как и обещал Юре летчик, точно вручили ему. И вручила она, эта самая блондинка. Но случилось это позже, в день первого самостоятельного полета Юры, того самого полета, о котором написала саратовская молодежная газета.

У Бориса рассказ брата вызвал эмоции довольно определенного толка.

— Ты влюбился в нее, да?— напрямик, с мальчишеским любопытством рубанул он.

— Нет, Борька,— Юра чуть приметно усмехнулся.— Я же предупреждал: слушай внимательно, а то не все поймешь. Понимаешь, вот подумал я про нее сначала: «мазиха», то да се, а на поверку она очень хорошим человеком оказалась. Не у всех парней хватало мужества заниматься в аэроклубе, многие сбежали. Особенно из тех, кого в детстве баловали, кто трудностей не знал. Ушли они с летного ноля, струсили. А она не отступилась. Я таких очень уважаю. И цветы вовсе не мне, а ей надо было подарить. Да я вот недогадливый оказался. За разговором, увлеченные рассказом Юры, мы как-то не обратили внимания на то, что и времени пролетело уже немало,— завечерело отчетливо, и резко переменилась погода. Пушинками уплыли невесомые облачка, и на смену им понадвинулись, застлав небо черными пиратскими парусами, тяжелые дождевые тучи. Песок под нами похолодел. Борис поежился зябко, поднялся на ноги, начал натягивать на себя рубаху, брюки. Мы тоже встали.

— Домой?— спросил я.— Нет клева-то.

Борис отправился посмотреть на удочки и не расслышал, думать надо, что сказал ему Юра вдогон. А Юра сказал:

— Любит она другого. Очень хорошего парня.

Зашуршала листва в ивняке, стеганули по воде дождины. Пора сматывать удочки — вконец невезучий нынче день.

И вдруг Борис подпрыгнул дикарем, издал какой-то невыразимо протяжный вопль, схватился за воткнутое в песок удилище. Вычертив в воздухе серебристое полукружье, за его спиной, у пяток, шлепнулся крупный голавль.

Есть!

Забыв обо всем на свете: о том, что лупит дождь, о том, что мы успели промокнуть насквозь,— ринулись мы с Юрой к удочкам. И — ну, не чудо ли?— на всех без исключения

сумасшедше дергались, ныряли в воду и на краткие мгновения выскакивали из нее поплавки. Только подсекай!

— Ага, попалась!

— Гляди-ка, братцы, какая акула!

— Сила!

Невиданный азарт овладел нами. Вознагражденные с лихвой за несколько бесплодных часов ожидания, теперь мы едва успевали сажать наживку на крючки — рыба клевала как по сговору. Кукан, приготовленный нами загодя, оказался мал и тесен — нанизывали рыбех на длинный и гибкий ивовый прут, быстренько вырезанный в кустарнике.

Мы промокли до нитки, а нам было жарко. Никакая сила не заставила бы нас уйти с реки, если бы вдруг, ко всеобщему отчаянию, не кончился запас приманки — червей и хлеба.

— Хватит, братцы-разбойники,— с сожалением сказал я.— Надо и на развод что-нибудь оставить.

Юра удивлялся:

— Видать, кто-то из нас очень везучий. Погода испортилась, а клев пошел. Надо бы написать в «Рыболов-спортсмен», спросить у них, почему это?

Потом заговорщически подморгнул мне, и неслышно ступая по песку — под проливным дождем это нетрудно,— подошел к Борису. Тот стоял на отмели, острой косой впадающей в реку, сматывал удочку. Спиной к нам стоял. Юра, гакнув, с силой толкнул его. Борис выронил удочку, нелепо взмахнул руками, полетел в воду. Не ожидая, пока грянет возмездие, Юра, как был: в брюках, в рубахе — все одно мокрый, бросился вслед за ним, проворно, саженками поплыл к другому берегу.

Я вспомнил, что старший здесь все-таки я, крикнул:

— С ума сошли? Вылазьте немедля!

— А какая разница — в воде или на берегу мокнуть?

Юра скорехонько вернулся на «свой» берег, а через несколько минут оба братца стояли рядом со мной. Выговаривая им за легкомыслие — август месяц ведь, олень давным-давно в воде копыта замочил, холодна она стала, и простудиться можно свободно,— я нагнулся, чтобы поднять связку рыбы. В то же мгновение ноги мои взлетели выше головы, качнулся перед глазами и встал на дыбы заросший мать-и-мачехой мокрый берег, и не успел я ни опомниться, ни удивиться хорошенько, как уже барахтался в воде.

Ребята стояли надо мной. Борька хохотал откровенно, со вкусом. Юра корчил печальную мину.

— Ты же не любишь купаться, Валентин,— сочувственно приговаривал он.— Что это тебя в воду понесло?

Я обозвал их идиотами и с трудом выбрался на мокрый песок.

Дома нам досталось на орехи: мокрые, грязные завалились мы в избу, и не ручьи — реки заструились по половицам.

— Ума в вас нет,— отругала мама.

Маша вступилась:

— Чего уж, ладно. День сегодня выходной, да и редко они втроем бывают.

А уха в тот вечер вышла на славу. Во всяком случае, ели ее с аппетитом.

В училище!

И снова Юра покидал родной дом — уезжал на этот раз в Оренбург, в авиационное училище.

И снова не обошлось без привычной отцовской воркотни. Батя, не задумываясь, обвинил сына в тунеядстве.

— Двенадцать лет за партой провел,— горячился он.— Все учишься, штаны протираешь, а работать — и пальцем о палец не ударил. Нахлебник на шее народа. Неужто тебе твоя специальность не по душе? От хорошего, от добра бежишь ведь...

— Специальность по душе,— отвечал Юра.— Я ее очень люблю, только самолеты — это на всю жизнь, это уже решено. Теперь меня от неба не оторвать.

Мы сидели в саду. Яблони, посаженные отцом в год переселения из Клушина в Гжатск, давно окрепли, налились матерой силой. Ветви их клонились к земле под невыносимой тяжестью плодов. Мы сидели в саду — был полдень, а поезд, который должен увезти брата, придет в Гжатск только поздним вечером. До расставания еще немало часов оставалось. Я смотрел на яблони, на листву, принарядившую ветви,— она еще зелена и упруга была, только окраинки листков начинали жухнуть и блекнуть под нестерпимо горячими лучами солнца, прислушивался к воркотне отца и думал о том, что вот уже десять лет минуло с того момента, как закончилась война, и что много за это время произошло в нашей жизни, в жизни нашей семьи изменений. Сейчас Борису столько же лет, сколько было мне, когда меня и Зою угоняли в неволю эсэсовцы. А Юрка уже взрослее тех моих лет: прежний наивный и любознательный мальчишка с оттопыренными ушами вырос в сильного и уверенного в себе мужчину с крепким характером. Разве только любопытство ко всему интересному, что есть на белом свете, разве только неуемное стремление познать непознанное живут в нем, как жили и в мальчишестве.

А отец... что ж отец. По-своему он тоже прав. Ему сейчас шестой десяток, и постарел он заметно. Тех убеждений, с которыми прожил он всю свою трудную жизнь, теперь не поломать, и с корнем их, как траву с поля, не вырвешь. Зря вот только Юра горячится, лезет на рожон, спорит с ним. Лучше, пожалуй, согласиться для видимости, а затем поступить по-своему.

Впрочем, Юра и не думал спорить. Пока отец выговаривал ему, смоля сигаретку за сигареткой, он все сидел и слушал молча, а потом сразил отца внезапным и неоспоримым доводом.

— Папа,— сказал он,— меня ведь все равно в армию призывают. И направление в авиационное училище мне дает военкомат. Понимаешь, на самолетах я летал, с парашютом прыгал, здоровье у меня подходящее. Что на флот гожусь, что в авиацию — так на комиссии сказали. И порешили так: в авиацию.

Отец плечами опал, задумался. Потом согласился:

— Военкомат — оно конечно... Только так думаю: полетаешь — поймешь что к чему:

— Эх, папа!

Юра привстал со скамьи, подошел к отцу, положил руки ему на плечи:

— Хочешь, я расскажу тебе про летчика Бахчиванджи, Григория Яковлевича? Наш летчик, советский. В сорок втором, во время войны, первый в мире реактивный самолет испытывал. Послушай вот...

В эту минуту я отчетливо понял, что дороги Юркиной мечты тянутся в реактивную авиацию. До этого, в аэроклубе, он летал преимущественно на стареньком Як-18.

Мы сидели в саду, и так далеко еще было до позднего вечера, когда придет на гжатский вокзал нужный поезд. Юра увлеченно рассказывал о Бахчиванджи и Кожедубе, о своих наставниках в летном деле — Дмитрии Павловиче Мартьянове и Сергее Ивановиче Сафронове, Герое Советского Союза...

ГЛАВА 8
Курсант

Начало

Я вряд ли преувеличу, если скажу, что такие ребята, как наш Юра, в некотором роде были находкой для военного авиационного училища. Мало того, что Саратовский аэроклуб научил их самолетовождению и парашютному делу, он пробудил в них страсть к небу, помог сделать жизненный выбор, раз и навсегда определить свое призвание. Мало того, что годы учебы в ремесленном и индустриальном техникуме научили их носить форменную одежду, они воспитали в них чувство коллективизма, чувство товарищеского локтя. Эти ребята умели своеобразно решать самые сложные житейские задачи, обходиться без опеки со стороны людей, старших по возрасту, без той мелочной опеки, которая подчас так вредит юношам и девушкам, надолго задержавшимся под родительским крылом. Далее такие на первый взгляд мелочи, как умение носить форменную шинель и фуражку, умение быстро и правильно навернуть портянку, ценятся на воинской службе, избавляют солдат и курсантов от многих неприятностей.

Все эти азы Юра и его товарищи, пришедшие в училище вместе с ним из Саратовского аэроклуба, постигли еще в ремесленном. Стоит ли подчеркивать то, что так называемые тяготы воинской службы они переносили гораздо легче, нежели вчерашние выпускники обыкновенных школ, вчерашние десятиклассники, что и на приемных экзаменах предпочтение было отдано им. Кстати, Юра экзаменов не сдавал — от этой хлопотной обязанности его избавили полученный в техникуме диплом с отличием, хорошая аттестация Саратовского аэроклуба, великолепная физическая подготовка.

Заслуги Оренбургского авиационного училища известны всей стране. В его стенах обрели крылья, а по выходе из него стали знаменитыми такие выдающиеся летчики, как Валерий Чкалов, Михаил Громов, Андрей Юмашев, Анатолий Серов, Сергей Грицевец... Именно здесь учился боевому мастерству первый в мире испытатель реактивных самолетов капитан Григорий Бахчиванджи. Более ста тридцати летчиков, вышедших из училища, были удостоены впоследствии высокого звания Героя Советского Союза.

Не один десяток лет насчитывает оно, это училище, с

момента своего существования. За многие годы здесь сложились крепкие, устойчивые традиции. В курсантах неустанно воспитывались чувство глубочайшей преданности своей социалистической Родине, чувство уважения к боевым заслугам летчиков предыдущих выпусков, чувство гордости за то, что ты принадлежишь именно к этому училищу. Здесь готовили мастеров неба, отважных и мужественных.

Вот в такой атмосфере предстояло нашему Юре начать свою воинскую службу. Добавьте к этому, что брат сызмальства не был равнодушен к военной форме, что армия, точнее авиация, не пугала, а притягивала его к себе необоримо, и вы поймете, что, став курсантом, Юра почувствовал себя, как говорится, в своей тарелке. С гордостью писал он домой, что курсантская форма пришлась ему к лицу, писал о своих успехах в освоении теории и практики летного дела.

Восьмого января 1956 года Юра принял воинскую присягу. Об этом мы также узнали из письма. И каждому из нас, из тех, кто жил в Гжатске, кто с нетерпением ждал его писем, стало ясно: отныне Юра напрочно связал свою жизнь с авиацией. Если раньше у отца на сей счет и возникали кое-какие сомнения, то теперь он был вынужден распрощаться с ними.

Самым главным нашим желанием стало — скорее бы увидеть Юрку военного. Особенно заждались его родители. Призвали в армию Бориса. Я днями пропадал на работе, заглядывал к ним только по вечерам, и старики, привыкшие за годы к вечной сутолоке в доме, к тому, что никогда не пустует он, сразу как будто осиротели. Спасение от тоски по сыновьям мама искала в заботах и хлопотах о внучатах, о моих и Зоиных детях.

А отпуска Юра долго не получал. Прошло уже больше года с момента его последнего отъезда из Гжатска...

«Запрещенный метод»...

Давненько вынашиваю я мечту побывать в Оренбурге, заглянуть в авиационное училище, встретиться с преподавателями, близко знавшими Юру, подробно расспросить их о брате — о том, каким он был, как сложились его курсантские годы.

Впрочем, некоторыми свидетельствами на сей счет я и сейчас располагаю. И они, эти свидетельства, заставляют порой не без удивления подумать о том, со сколь многими людьми встречался Юра в своей жизни, и, начиная повествовать о нем, они, эти люди, множество памятных черточек и штрихов прибавляют к портрету брата.

Так, сверстник Юры Иван Васильевич Лысцов, ныне известный поэт, автор интересных стихотворных сборников, во времена, о которых идет сейчас речь, служил рядовым в батальоне аэродромного обслуживания при училище. Он рассказывает, что во время учебных полетов в самолете курсант Юрий Гагарин, случалось, восторженно декламировал строфы из «Летающего пролетария» Владимира Маяковского:

Где не проехать коннице,
Где не пройти ногам,—
Там только летчик гонится
За птицами врага.
Вперед! Сквозь тучи-кочки!
Летим, крылом блестя.
Мы — летчики республики рабочих и крестьян!

За эти вольности, идущие вразрез с предписаниями инструкций, Юре, разумеется, попадало.

Он же, Лысцов, поведал и о том, что при училище существовало литературное объединение, в котором участвовали курсанты и солдаты — начинающие творцы стихов и рассказов. Так вот, Юра частенько приходил на занятия литобъединения, с интересом наблюдал за тем, какие закипают страсти вокруг того или иного произведения, вынесенного на суд товарищей. Правда, сам он в этих шумных спорах участия никогда не принимал — просто сидел и слушал.

Думаю, что — при Юрином-то всегдашнем увлечении литературой!— рассказы Лысцова выглядят вполне правдоподобно, что именно так оно и было на самом деле. Попутно замечу, что сам поэт написал об Юре очень искренние стихи.

Другой хорошо знавший брата человек, преподававший в училище подполковник А. Резников вспоминает о том, как однажды Юра попал в довольно-таки курьезную ситуацию. Открыв дверь в классную комнату, подполковник увидел табачный дым. Курсант Гагарин стоял среди плотно обступивших его товарищей с зажженной папиросой в одной руке и моделью двигателя в другой.

Курить в классе не полагалось, и Резников, естественно, потребовал объяснить, что тут происходит. Курсанты смутились, и только Юра не растерялся, шагнул вперед.

«— Разрешите доложить, товарищ подполковник! Я изучаю топливный насос двигателя...»

— Я спрашиваю вас не об этом.

Тон у Гагарина был явно обиженным:

— Так ведь здесь полно каналов насверлено, они идут во все стороны, а куда и как — понять трудно. Приходится запрещенными методами действовать, чтобы яснее было. В одно отверстие дунешь и сразу видишь, откуда дым выходит...

Я почувствовал себя в трудном положении,— признается А. Резников.— Довод был довольно обоснованным; с другой стороны, формально прав был я. Курсанты ждали с любопытством, чем кончится весь этот неожиданный диалог.

— Ну вот что, курсант Гагарин! Если уж вы изобрели новый способ изучения предмета, то в следующий раз отправляйтесь в курилку вместе с топливным насосом.

— Слушаюсь, товарищ подполковник!— улыбнулся Гагарин...»

Тут я должен заметить, что Юра — единственный из мужчин в нашей семье — курением не увлекался, да и нам — отцу, братьям — не упускал случая напомнить о том, какая это пагубная страсть — привычка к табачному зелью. И если он все-таки взял в руки зажженную папиросу и затягивался дымком из нее — значит, это и в самом деле нужно было для опыта. Иными словами, в этой истории, о которой не без юмора вспоминает преподаватель, брат стал жертвой собственной предприимчивости, изобретательства.

У него же, Арона Израилевича Резникова, сохранился в памяти и такой эпизод, как однажды наказал он Юру тройкой за недостаточно твердое знание реактивных двигателей. Юра заметно расстроился: эта оценка — кстати, единственная тройка за все время его пребывания в училище — лишала курсантов права на учебные полеты.

Иной бы — находились такие!— принялся канючить, выманивать у преподавателя завышенную оценку, ссылаться на различные обстоятельства... Юра поступил так, как диктовал ему характер: сел за книги, в течение пяти суток, не выходя из училища, выучивал и осмысливал теорию реактивных двигателей. И на шестой день, при пересдаче экзамена, у того же Резникова получил «отлично».

Этот эпизод, точнее, первоначальная неудача на экзамене так глубоко запала в душу брата, что он и сам не преминул упомянуть о ней в книге «Дорога в космос».

Идут годы, но не тускнеют в памяти людей, знавших Юру, картины длительного знакомства или даже кратковременных встреч с ним. Пусть подчас и не очень значителен характер этих воспоминаний, но как же дороги все они сегодня!..

Откровение

На октябрьские дни почтальон принес открытку. Юра поздравлял нас с праздником, желал хорошенько отметить его, справлялся о здоровье отца и матери. Мама сетовала:

— Уж больно строги у них, видать, командиры. Неужто денька на три нельзя отпустить домой? Второй год не видим парня.

— Служба,— односложно отвечал отец и, не успокоясь этим, делал экскурс в историю:— У Петра Великого солдат двадцать пять лет служил. Четверть века, да... И без отпусков.

Юра же, ко всеобщей радости, приготовил сюрприз. Еще цвели праздничными флагами крыши зданий, еще бился на ветру протянутый через улицу плакат: «Да здравствует 39-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!», еще не поблекли в памяти картины многолюдной демонстрации, прошедшей по городским улицам, когда Юра нагрянул в Гжатск.

Отец позвонил мне на работу:

— Приехал!

Столкнулся я с братом на нашей, на Ленинградской улице. Невысокий, ладный курсант в шинели с погонами сержанта упруго шагал мне навстречу. Завидев меня, поднял руку к козырьку и так широко, так знакомо улыбнулся, что... Словом, какие уж тут могут быть сомнения.

Обнялись.

— Ты куда?

— В школу,— ответил он.— Соскучился по детству. Хочу по классам попутешествовать, за партой посидеть. Столы-то наши убрали теперь, говорят, парты поставили... Идем вместе, а?

Я отказался.

— Ты давай побыстрей. А я пока в магазин забегу.

Сохранилась фотография: Юра — курсант Оренбургского авиационного. Сержантские погоны, короткая прическа, его белозубая улыбка.

Таким он и приехал домой, но был не таким. И похож он на этой фотографии на себя, и не похож.

Мама жаловалась моей жене:

— Ума не приложу, что с Юрушкой приключилось. Грустный какой-то стал, задумчивый. Не случилось ли что на службе у него, неприятность какая? Или захворал? И дом ему не мил, и мы чужие будто бы.

Юра и вправду ушел в себя, замкнулся, и порой даже я смотрел на него как на человека почти незнакомого. И задавался

вопросом: куда это вдруг исчез весь напор энергии, которая била в нем через край, где он, тот прежний наш Юрка, что своим неугомонным, заводным характером мог все ставить с ног на голову?

— Юра;— подступаюсь к нему,— послушай, что у нас на работе приключилось...

Он кивает: слушаю, мол, давай рассказывай. А приглядишься к нему — все мимо ушей пропустил.

Даже встречи с товарищами по школе, с друзьями детства не взбудоражили его, не принесли ему особой радости.

Вечерами, говорила мама, он подолгу сидел за столом, писал что-то. Оказалось, письма. Но кому были адресованы эти длинные письма, мама не знала.

А однажды он принялся укладывать чемодан.

Мама встревожилась:

— Никак собираешься уже?

— Пора.

— Откуда же пора, когда не кончился отпуск-то твой, и половины еще не прошло.

— Все равно пора.

Был тихий предвечерний час, то самое время, когда свет зажигать вроде бы рано, а без света вещи теряют свою конкретность, осязаемость, отчетливость своих форм. Старые ходики, те самые, что служили нам еще в Клушине, мерно отбивали неумолимое время. Утончившийся за многие месяцы календарь висел на стене. Юра оторвался от чемодана, подошел к календарю, перевернул несколько листков, а потом сорвал верхний, приближая завтрашний день.

Мама неприязненно посмотрела на численник. Было в нем еще десять листков, которые мог бы обрывать он, Юра, целых десять дней. Но что-то заставляло сына спешить из дому. Какая суровая необходимость обкрадывала мать в эти дни?

Никогда в жизни не любила она докучать нам лишними вопросами — понимала, что у ее сыновей, как и у всяких других сыновей, могут быть свои тайны от матери. Понимала это она и знала нечто большее: дети по собственной воле или по собственной охоте расскажут ей при случае почти все из своей жизни.

Но преждевременный и необъяснимый отъезд Юры из родительского дома; непонятное его поведение перед тем перепугали и не на шутку встревожили ее. И сегодня она не сдержалась, поступила вопреки своим правилам.

Юра мерил комнату нетерпеливыми шагами.

Мама подвинула ему табуретку.

— Присядь, сынок, давай потолкуем.

Юра нехотя опустился на табурет.

— Ну?

— Что-то есть у тебя на душе. Я ночей не сплю — сердцем за тебя изболелась. Может, расскажешь, что все-таки случилось.

— Да нет, мам, зря ты все это. Ничего у меня не случилось.

Но сумерки, тикающие старыми ходиками, располагали к откровенности.

В тот вечер мама впервые услышала, что живет в степном Оренбурге такая девушка — Валя Горячева. Что Юра знаком с ней вот уже около года, часто бывает в доме ее родителей, очень милых, приветливых людей. Что отец Вали, Иван Степанович, работает поваром в санатории «Красная Поляна», а мать, Варвара Семеновна, ведет домашнее хозяйство. Что семья у них большая и дружная — три брата и три сестры. Что сама Валя, закончив среднюю школу, работала телефонисткой, а теперь поступила в медицинское училище.

— Юра не кривил душой — выложил все, как на исповеди.

— Нравится мне Валя, очень хорошая она девушка.

У мамы камень с души упал. По правде говоря, с того самого момента, как приехал Юра на побывку, не единожды думала она про себя, что, может, сердечные дела причина такого его настроения. И теперь, когда сын признался в этом, сложное чувство захватило ее. И рада была она, что все ее сомнения разрешились так просто, и взволновалась: судя по всему, отношения у Юры с Валей самые добрые, намерения серьезные. Но не рано ли парню — ведь только-только на ноги становится!— не рано ли связывать себя заботой о семье?

— Что ж, дело к свадьбе, думать надо?— не то намекнула осторожно, не то спросила она.

Юра смешался.

— Мы... Я с Валей об этом пока не говорил. Не решился пока.

— Я только одно пожелаю,— сказала мама.— Только одно: женитесь — живите в мире и дружбе. Не всякий день будет солнышко над воротами — иногда и тучка черная набежит. Так помни, Юра, все пополам делить должны... Пусть это будет крепко и навсегда.

Так вот, неожиданно просто, и открылась причина Юриной хандры. Конечно же нам хотелось, очень хотелось, чтобы пожил он дома побольше. Но мы уже не удерживали его.

Не скрою, узнав о причине столь скоропалительного отъезда Юры, отец очень огорчился. И, прощаясь с ним, не преминул дать

мудрый житейский совет:

— Прежде учебу заверши, а там уж и о семье мысль имей. Женишься — дети пойдут: дело нехитрое. А вот кормить да содержать семью — тут голова на плечах нужна. Так что с маху не руби.

Не знаю, внимательно ли слушал его Юра. Он уехал, и новая наша встреча состоялась ровно через год, опять на октябрьские торжества.

Счастливый день

Женщины — мама, Зоя и Маша — сбились с ног, готовя свадебный стол. Им помогала молодая. Мы с Юрой тоже было сунулись, предложили свои услуги — на нас замахали руками.

— Идите-ка лучше гостей созывайте.

И мы пошли по городу. Пошли стучаться в квартиры Юриных товарищей, в квартиры его бывших учителей.

— Ждем на свадьбу! Непременно ждем.

Юра сиял. Золотом парадной фуражки, новеньких, с иголочки, лейтенантских погон, улыбкой. Да и как не засиять! Два таких события в жизни: производство в офицеры и женитьба, и все совпадает по времени.

— Тебе понравилась Валя?

— Хорошая дивчина,— отвечаю я.— На погляд хорошая, а жить тебе с ней.

Мы прошли квартал или полтора, и я слышу тот же самый вопрос.

— Ну, как тебе моя Валентина?

— Да нравится, нравится,— отвечаю я, смеясь.— Ты, брат, совсем ошалел от счастья: в сотый раз спрашиваешь об одном и том же.

— Я ошалел, я могу и в тысячный,— соглашается он.— Ты ведь завидуешь мне, да?

Наверно, это в человеческой природе извека: вот таким же сумасшедше-блаженным был и я в день своей свадьбы с Машей.

А Валя Горячева, впрочем, теперь уже Гагарина, действительно всем сразу пришлась по душе. Милая, добрая, отзывчивая.

Гостей на свадьбе много собралось. В числе прочих пришли и Ираида Дмитриевна Троицкая, завуч гжатской средней школы, и Лев Михайлович Беспалов. Юра особенно рад был им.

Но, когда устроились за столами, посадив молодых на красное место, наполнили рюмки, когда, как это испокон заведено, следовало поздравить молодых, пожелать им счастья да

согласия, произошло нечто непредвиденное. Отец поднялся за столом, постучал вилкой по стакану, требуя тишины и внимания, и, обращаясь к Юре, сказал:

— Что ты женишься, сынок, это хорошо. И что на погоны звездочки нацепил — тоже хорошо. Только я хочу знать: зарегистрировались ли вы в загсе и есть ли у тебя документ об окончании училища?

Веселое оживление в доме сразу сошло на нет. Юра вспыхнул, как напроказивший школьник,— давно не видел я его таким растерянным. Валентина наклонила голову.

— Да что вы, Алексей Иванович, право,— вполголоса проговорила какая-то из женщин.

Юра сунул руку за борт тужурки, вытащил из кармана и протянул отцу диплом об окончании училища и свидетельство о браке.

Всем сидящим за столами было неловко. Отец, думаю, намеренно не замечал этой неловкости, этого всеобщего смущения. Медленно, вслух прочел он оба документа, обвел гостей долгим, пристальным взглядом, потом повернулся к молодоженам:

— Вот теперь все ясно. Поздравляю тебя, сын! И тебя, дочка! Живите хорошо и дружно.

Первым нашелся Беспалов — зааплодировал. За столами аплодисменты подхватили, тут и там раздались голоса одобрения, и поступок отца свелся всеми к шутке, пусть грубоватой, но от души.

А потом, за перезвоном рюмок, за песнями и плясками, об этом и совсем позабыли. Свадьба, как и положено быть свадьбе, получилась веселой, шумной, доброй. Юра тоже «тряхнул стариной»— пробовал играть на баяне, но его поминутно отрывали, отвлекали от инструмента и Вале нужно было уделить внимание. Ничего путного из его игры не вышло.

Вскоре, как всегда бывает на шумных весельях, гостям и вовсе не до молодых стало: сдвинули столы к стенке, плясуны и танцоры распалились вовсю. Никто не заметил, когда и куда выскользнули из дома Юра и Валентина.

Жарко стало и душно, несмотря на распахнутые окна. Я вышел на крыльцо покурить.

Был поздний вечер, крупные звезды полоскались в черной мути неба, яркие электрические огни горели в окнах домов на Ленинградской. И оттого, что было много звезд и много электрических огней, темная ночь показалась мне светлой и чистой.

Две молчаливые тени слились в одну у калитки. Я догадался,

что это они, Юра с Валей, стоят, и хотел уйти в избу, чтобы не отвлекать их, но Юра, должно быть, заслышал мои шаги, разглядел меня.

— Валя, ты? Давай подстраивайся к нам.

Я спустился с крыльца, подошел ближе. Они стояли рядышком, положив руки на ограду; Юри-на тужурка была наброшена на плечи Валентины.

— Не бережетесь,— укорил я.— Сейчас простыть легко.

Юра засмеялся — сегодня он весь вечер смеялся.

— Нет, Валька, не простынем. Нам сегодня хмельно, тепло и хорошо. Где-то я читал, что Валентина означает «здоровье».

— А ты у меня Георгий Победоносец,— в тон ему продолжила Валя.

— Так что простуда нам не страшна, и ничего теперь не страшно.

И он снова засмеялся, а Валя подхватила его смех.

Потом мы долго молчали, потому что бывают такие минуты, когда и говорить-то не о чем, когда и так все ясно, без слов ясно. Я все время ощущал какую-то неловкость, боялся, что мое присутствие тяготит их, и уже твердо решил уйти. Но тут нестерпимо яркая просквозила по небосводу падучая звезда, и мы, все трое, вскрикнули одновременно показывая на нее друг другу. Звезда сгорела, не оставив следа.

— А ведь там сейчас Лайка летает, ребята, живое существо,— сказал вдруг Юра.— Вот если бы!..

Он оборвал себя на полуслове, замолчал, и я понял, что о Лайке он вспомнил просто так, к случаю, потому что не успело остыть волнение от запуска первого спутника, как — всего несколько дней назад — в небо взлетел второй, имея на борту Лайку. С третьего ноября фотографиями симпатичной остроухой собачонки были заполнены все газетные полосы мира.

Я понял его так, но не так, наверное, поняла его Валентина, потому что спросила, настораживаясь:

— Что «вот если бы!»? Что ты хотел сказать этим?

Юра немного помолчал, а потом заговорил, и была в его словах какая-то грусть, какая-то малопонятная мне печаль.

— Я вот все думаю о ее ощущениях там, в этой необъятности. Ведь это ж черт знает что! Даже представить страшно. Слева, справа, вверху, внизу — звезды, глухая ночь вокруг, и только звезды, звезды, звезды. Если бы на ее месте был человек — он сумел бы подчинить свои ощущения, ну, скажем, страх, подчинил бы силе воли. А ведь собака — она хоть и умница, хоть и красавица, а все-таки собачка.

— А ты полетел бы?

Я в шутку задал этот вопрос, догадываясь, что и Юра ответит шутливым: «А то нет!»— но услышал другое, раздраженное и сердитое даже:

— Ерунда все это, болтаем черт те что! Давайте-ка лучше о грешных земных материях поговорим.

Служба зовет!

Не загостились молодожены в родительском доме — всего четыре дня прожили. Валентина торопилась вернуться в медицинское училище, Юра ехал на край света — на Север, в строевую часть. Он рассказывал нам, что ему, на выбор, предлагали остаться летчиком-инструктором в училище или служить на юге, но он предпочел Север.

— Почему?

Этот вопрос задала ему Валентина, когда он объявил ей о своем решении, задавали и мы. Сперва он отшучивался:

— Тут много «почему». Во-первых, белых медведей я видел только в зоопарке, а там они на воле разгуливают. Во-вторых, флотская форма по душе мне пришлась. Там ведь, кажется, из зеленого в черное должны меня переодеть. И опять же море под боком.

Но когда мы изрядно поднадоели ему своими вопросами, он объяснил:

— Начинать службу надо там, где труднее. А на Севере всего труднее. Там летчики знаете какие? Настоящие! Вот и я хочу стать настоящим.— И, не вполне уверенный, что убедил нас, добавил:— А на юг я на старости лет попрошусь, когда придет время отогреваться от северных ветров.

Честно говоря, я немного завидовал ему, его молодости — двадцать четвертый год пошел Юре,— его непоседливости, неудержному стремлению попасть туда, где всего труднее и опаснее. Завидовал и подчас, вгорячах, бранил свою судьбу, накрепко привязавшую меня к Гжатску.

ГЛАВА 9
Север, север…

Письма домой

Юра был первым «полярником» в нашей семье. Конечно же, когда он приехал в отпуск,— а это не так скоро случилось,— мы с жадным любопытством расспрашивали его: что за страна Крайний Север? Любопытство наше было понятно и оправданно: что мы знали о севере? Да ничего почти. Вспоминали — из тридцатых годов — легендарную эпопею «Челюскина», имена академика Шмидта и капитана Воронина, отважную папанинскую четверку. Знали, по сводкам военных лет, о тяжелых боях с гитлеровцами на Мурманском направлении.

— Чтобы понять север, надо его самим увидеть,— говорил Юра.— Диковинный край. Сопки и мхи, мхи и сопки. Чуть не полгода — ночь, почти столько же — день. Поначалу здорово на психику действует, не сразу привыкнешь к этому.

Он рассказывал о снежных зарядах — они очень мешают летчикам в воздухе, о штормах в море. О тонких березках, намертво вцепившихся корнями в громадные валуны, и о грибах, которых в сопках — не беда, что полярное лето коротко,— полным-полно: куда там нашим смоленским лесам! О своих боевых товарищах рассказывал. Особенно много — о товарищах.

— Железные ребята. Да оно и понятно. Тем, кто характером слаб, на Севере делать нечего.

Вспоминал со смехом:

— Когда получал направление в Заполярье, пугали меня: попадешь, мол, в зубы белым медведям. Загрызут. А я их и не видел там… Другие видели, а я нет. Не везло. Если бы в Московском зоопарке не посмотрел, так и не знал бы, что за штука такая, белый медведь…

Выходило, по рассказам брата, что холодный Север — не такой уж дикий край, каким представлялся он нам, что обжили его люди прочно и надежно, и что сам он выбором своим очень доволен: правильно службу начал.

Говорил Юра о севере много и увлеченно, вспоминал эпизоды из своей летной практики, из практики своих товарищей, командиров.

Но то, что было интересно и небезразлично нам, вряд ли в моей передаче будет интересно читателям книги. И потому я остановлюсь всего лишь на нескольких фактах, быть может и

незначительных, но имеющих самое прямое отношение к нашей семье.

В отпуск Юра, как я уже сказал, приехал после долгих месяцев службы в полку.

А до отпуска, до встречи нашей о том, как там живется ему, как устроился он, судить мы могли только по письмам.

Из множества писем два особенно запомнились.

Одно, переполненное первыми впечатлениями о Заполярье, с упоминанием шестьдесят третьей параллели, за которой находится их гарнизон, с подробностями о том, как сердечно встретили молодых лейтенантов в полку, как душевно отнеслись к ним командиры, старшие товарищи.

Несомненно, трудности привыкания к новому месту скрашивало то обстоятельство, что в полку вместе с Юрой начинали службу и другие «оренбуржцы», его товарищи по училищу.

Об этом писал Юра.

И очень сдержанно, как и положено мужчине, о том, что грустит по Вале.

И очень много — о том, что служит едва ли не на том же самом аэродроме, с которого в годы войны поднимался бить фашистов прославленный летчик, дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов.

Это был красивый и очень добрый человек, писал Юра, и летал и воевал он тоже красиво. В частях еще служат летчики, ветераны, которые хорошо знали его, и до сих пор на севере о Сафонове ходят легенды. Никто не говорит о нем так, как будто бы его уже нет в живых...

И было другое письмо, очень грустное. Рассказ о нелепой, в результате аварии мотоцикла, смерти товарища Юры по училищу — тоже Юры, Дергунова.

Они, тезки, еще в Оренбурге стали, что называется, закадычными друзьями. Оба — способные молодые летчики — могли бы остаться инструкторами в училище, и оба, получив первые офицерские звездочки, в один и тот же день написали рапорты с просьбой направить их в Заполярье.

Наш Юра с горечью, с болью писал о том, как хорошо складывалась служба у его товарища в полку: командиры любили Дергунова за летное мастерство, друзья — за веселый характер, за отзывчивую, открытую всем душу; и вдруг глупая случайность оборвала его жизнь, когда ему не было и двадцати пяти лет.

По тону письма чувствовалось, что смерть товарища потрясла Юру.

Можно догадываться сейчас и без труда наверняка угадать, в каком настроении писались и одно и другое письма.

Можно сопоставить содержание их. Можно, наконец, размышлять о том, какую жизнь хотел прожить наш Юра, какою бы смертью предпочел умереть.

Но к чему все это?

Одно мне известно совершенно точно: ранняя гибель друга не только потрясла Юру, но и преподала ему серьезный урок. Ко всему, что он делал впоследствии: летал ли на самолете, готовился ли к полету в космос, садился ли за руль своей машины — он подходил с той серьезной тщательностью, которая исключала малейшую, даже случайную ошибку.

Внучка родилась!

В пятьдесят девятом, в самом начале года, одну за другой узнали мы сразу две радостные новости.

Во-первых, Юра стал кандидатом в члены партии.

А во-вторых... Во-вторых, постучала как-то в дверь родительского дома разносчица телеграмм и протянула маме сложенную вчетверо бумажку.

— Распишись, Тимофеевна, за телеграмму. С внучкой тебя.

— Мальчик, девочка?— волнуясь и не совсем понимая разносчицу, спросила мама.

Мама давно ждала-дожидалась, когда будет у Юры с Валей прибавление в семье. И вот...

— Говорю же, внучка. Девка, значит,— грубовато объяснила разносчица.

— Вот и хорошо, вот и слава богу!— И мать потянула платок к глазам.

Потом мы сообща сочиняли поздравительную телеграмму, и мама, никому не доверив, сама понесла ее на почту.

Возбужденная и счастливая, мама знакомым, встреченным на улице,— а знаком ей был чуть ли не весь Гжатск — рассказывала: «У Юры с Валей девочка родилась. Леночкой назвали, Аленкой».

Отец на Юрину весточку отозвался по-своему:

— Опять девка!

Не знаю, что вспомнил отец в эти минуты. Может быть, дореволюционные времена, подушный раздел земли в деревне, когда рождение девочки было сущим несчастьем для крестьянской семьи: землю «на лиц женского полу» не выделяли. Не знаю, что он вспомнил, что подумал, но, в общем-то, он был прав: к этому времени у меня уже росли три девочки, и у Зои первой была дочь. Правда, позже Зоя одарила деда внуком,

Юркой...

Эту фразу от отца «Опять девка!»— нам довелось услышать еще дважды: вернулся из армии и женился Борис, и у них с Азой родилась дочка, а потом у Юриной Лены появилась сестренка.

Юра как раз и желал дочек.

Нужно сказать и другое: при всем своем скептицизме отец был очень доволен: к семейным людям он всегда относился с непременным уважением, но семьи, в которых нет детей, почему-то ни в грош не ставил.

А бабушка, Анна Тимофеевна, жила теперь мечтой о той минуте, когда наконец сможет взять на руки свою северную внучку.

...Иной раз оторопь берет, стоит лишь подумать о том, с какой стремительностью бегут годы. Живо хранится в памяти: мечта бабушки понянчить внучку исполнилась очень скоро. Летом вся «полярная» троица — Юра и Валя с дочкой — нагрянули в отпуск. Мы ахнули: до чего же она — Лена — похожа на Юрия! Тот же рисунок лица, цвет глаз, тот же нос, и даже, казалось нам, если улыбается девочка — улыбается на отцовский манер. А и было-то ей тогда всего лишь несколько месяцев, и слабенькая, хрупкая вся: не уберегли от простуды — только что перенесла воспаление легких. Тут достало женщинам заботы: подкармливать ее витаминами, греть на солнышке...

Промчались годы, и вот уже Лена — взрослый человек: с медалью закончила школу, поступила в университет.

Помню февральский день 1976 года. Я вернулся с работы, включил телевизор. Шла передача «В добрый путь!» из клуба московского завода «Серп и молот». Молодым рабочим столичных предприятий, колхозникам из Подмосковья, старшеклассникам вручали паспорта нового образца. И вдруг такие знакомые лица: Лена и Зинаида Александровна Комарова, одна из первых школьных учительниц Юры. Она, Зинаида Александровна, и вручила паспорт Лене, и первой поздравила ее, обняла, расцеловала. Потом Павел Попович подошел — тоже поздравить...

Лена счастлива, довольна, горда. Улыбается. И я вижу те же глаза — Юрины, ту же родную улыбку...

Немного о бланках...

Не раз наблюдал я у людей пожилых привычку аккуратно хранить всякого рода бумажки, имеющие значение документов: налоговые квитанции, извещения, жировки...

Благодаря этой вот привычке отца и остались от тех лет бланки переводов на двести — двести пятьдесят, на пятьсот рублей. Сколотые металлической скрепкой, пожелтевшие шершавые листки хранят Юрин почерк, два адреса хранят: Гжатск Смоленской области, и обратный — номер воинской части.

Я смотрю на бланки и думаю: почерк с годами у Юры мало менялся, оставался почти тем же, каким он был в те дни, когда пятиклассник Юра Гагарин писал сочинение по книге Всеволожского «В открытом море». Почти тем же... только буквы с годами стали строже, уверенней, взрослее, что ли?

Почерк мало менялся, а душа и вовсе оставалась прежней — не черствела, не грубела. Забыть о помощи родителям — так он думал сам — он просто-напросто не имел права.

Перебираю бланки: январь, февраль, март, апрель... Юра не пропустил ни одного месяца...

Между прочим, недавно узнал я, что один экземпляр такой квитанции — денежного перевода на двести рублей — хранится в Карловых Варах, в народной Гвездарне, где чехословацкие школьники-любители занимаются астрономией и космонавтикой. Рассказывают, кто-то из московских литераторов передал ее туда... Вполне возможно. Помнится, во время работы над первым изданием этой книги кое-кто из столичных писателей брал у меня эти бланки — на память, как сувениры...

На новое место

Весной шестидесятого Юра написал нам, что его переводят с Севера в центральную часть России, что, кажется, будет служить он в нескольких часах езды от родных мест и что ждет его новая работа — работа чудесная, работа летчика-испытателя.

Нас очень радовало, что Юре доверяют ответственное дело — значит, не впустую провел он долгие месяцы в Заполярье, значит, его летное мастерство заслуживает такого доверия. И вместе с тем мы знали, что работа летчика-испытателя нелегка и рискованна. Тревожились. Но мы, конечно, и не догадывались о том, что он подал рапорт с просьбой зачислить его в группу космонавтов, что — один из немногих — прошел он отборочные испытания и придирчивую медицинскую комиссию с оценкой «отлично».

Не знала этого и Валентина.

Как сейчас, помнится то время.

Газеты и передачи по радио полны волнующих событий, новостей и открытий.

В сторону Луны ушли две многоступенчатые ракеты, унеся на своих бортах герб нашей Родины. Третья ракета, обогнув Луну, сфотографировала ее обратную сторону.

Имя Циолковского обрело популярность, которой, к сожалению, великий ученый не знал при жизни.

Весь мир пристально и восхищенно следил за достижениями советской космической науки, возлагая на нее большие надежды.

Видимо, не без умысла американская печать всячески рекламировала намечаемый на весну шестьдесят первого года полет человека по программе «Меркурий». По этому проекту предполагалось, что кабина с космонавтом, взяв старт с Земли, стремительно поднимется вверх, «проколет» оболочку стратосферы и затем приводнится в океане. На полет отводились считанные минуты...

Американские ученые торопились... И все же, думается, никто из нас в те дни не сомневался, что первым в космос поднимется гражданин Советской страны. Слишком очевидным было преимущество наших ракет, наших спутников, наших космических кораблей перед американскими...

Не сомневаясь в своем первенстве, с часу на час ждали мы сообщения ТАСС о том, что советский человек на борту звездоплана штурмует просторы Вселенной. Гадали, кем он будет: ученым, авиатором, инженером, врачом?..

И никому из нас, близких и родных Юры, и в голову не могло прийти, что первым человеком, дерзнувшим прикоснуться к извечным тайнам Вселенной, будет именно он — наш Юрка, Юра, Юрий Алексеевич...

Они, в общем-то, уже обжились в гарнизоне. Была пусть и некомфортабельная, но своя квартира в деревянном домике, с поленницей дров за стеной, с тропинкой в снегу, проложенной от крыльца к водопроводной колонке... Были уютные вечера, когда засыпала в своей кроватке Лена, и они садились ближе к весело гудящей печке, и Валя занималась рукоделием, а Юра вслух читал. Пушкина, Чехова, Экзюпери... Были друзья и товарищи — равные в чинах и старшие по званиям и летам. К ним приходили в гости, и они не чурались приглашений...

В начале шестидесятого один за другим — с разницей в месяц — последовали вызовы в Москву. После первого Юра сообщил жене:

— Кажется, мы здесь не заживемся. Предлагают перевод в Подмосковье.— Подумав, добавил: — Впрочем, это еще не наверняка.

После второго вызова сомнений не оставалось.

— Увязывай вещи — едем,— сказал по возвращении.— На сборы день.

В молодости собираются недолго: сложили чемоданы, небогатую мебель соседям раздали, перед тем — нехитрое прощальное застолье устроили. Росстани.

После застолья сходили к морю, постояли на берегу, стараясь запомнить, навсегда сберечь в памяти и рокот прибоя, и нервный полет чаек, и панораму сопок с низко нависшим над ними небом. Еще на кладбище заглянули, на могилу Юры Дергунова.

Уезжали 9 марта. В день отъезда Юре исполнилось двадцать шесть лет. До звездного его часа оставалось тринадцать месяцев...

ГЛАВА 10
«В командировку, куда никто не ездил…»

Утро после грозы

С вечера «сухая» гроза разразилась, без дождя. Длинные молнии, похожие на искривленные лезвия гигантских ножниц, вспарывали, кромсали на куски черное небо, взрывались с ужасающим грохотом, наполняя избу мертвенным, бледным сиянием. Духота стискивала горло — не спалось, не лежалось. Я бродил по комнате, курил, прислушивался к тому, как во время раскатов грома жалобно попискивают стены нашей избушки, как дрожат стекла, как примолк в углу за печкой насмерть перепуганный грозой сверчок. Он давно прижился в нашей избе, надоедливый и беспокойный обитатель, и я долго охотился за ним, хотел выкурить из той щели в стене, в которую он забился,— очень уж мешал по вечерам своим нудным, затяжным стрекотом. А когда-таки обнаружил крикуна — взбунтовалась младшая дочка, Валя. Ей, оказывается, песня сверчка доставляла удовольствие. Она разговаривала с ним по вечерам, «заказывала» концерты, и он послушно откликался на ее просьбы долгим, несмолкающим скрипением.

Я все ходил, все курил, думал о пустом, незначащем, ждал дождя — пусть разрядит страшную духоту. Но ни единая капля не упала с грохочущего неба.

— Перестань курить, ради бога! Все стены прокоптил,— отругала меня Маша.

Бросив на пол старенькое пальтишко и подушку, я устроил из них постель. Но и на полу было так же душно и жарко, и уснул я очень не скоро.

Спал беспокойно, а на самом рассвете приснился мне Юра. В грохочущем самолете с узкими серебристыми крыльями он гонялся за грохочущими молниями, а они увертывались от него, не давались в руки. Я был где-то поблизости, рядом, хотел помочь ему, но руки и ноги, налитые свинцом, не повиновались мне.

— Ты что-то орешь все,— разбудила меня жена.

За окном занимался день.

Я вышел на крыльцо, разбитый, невыспавшийся, с тяжелой головой, злой на весь свет. И сон какой-то нелепый приснился, муторно от него на душе.

А день разгорался вовсю. Воздух был по-прежнему сух, но утро напоило его мягкой свежестью, и тянулись к солнцу не очень

крупные еще листы на деревьях, и яблони, совсем недавно обронившие цвет, спешили напиться быстро тающей прохладой.

За хлипкой, чисто символической оградой, отделявшей нашу усадьбу от родительской, увидел я в яблонях кого-то полуобнаженного.

«Митя, что ли,— подумал я и удивился.— Только чего это он двухпудовиком с утра размахался?»

Подошел к ограде — нет, не Дмитрий. Сон-то в руку: Юра, собственной персоной. Свалился как снег на голову.

Он не видел и не слышал меня. Держа гирю в вытянутых руках, Юра делал глубокие равномерные приседания. Непохоже было, чтобы недавняя ночь с ее ужасающей грозой измучила его так, как измучила меня. А ведь он и приехал, видать, где-то за полночь, и спал, естественно, не очень много.

— Ать-два,— скомандовал я,— ать-два! Ишь ломает тебя, чисто в цирке... Может, лучше безделицу на дело променяем — дровишек, например, напилим.

— Привет, Валентин,— откликнулся он, не оборачиваясь и не кончая упражнения.

Сделав еще несколько приседаний, Юра поставил гирю на землю, подошел ко мне, протягивая руку. Пожатие, как всегда, было у него крепким, пожалуй, чересчур крепким, а дыхание — после возни с этакой-то тяжестью! — разве чуть более частым.

— Дров перепилить — это нам раз плюнуть. А ты давай умывайся и подгребай к завтраку. Видок у тебя больно кислый. Перебрал, что ли?

Я неопределенно махнул рукой: жаловаться на грозу почему-то устыдился.

За завтраком Юра отказался от предложенной отцом рюмки:

— Когда-то можно было, теперь — ни-ни! До особого распоряжения.

— Незавидная жизнь у испытателей,— съязвил я.

Он загадочно усмехнулся:

— Как знать, как знать.

Разговор конечно же перекинулся на его новую службу:

— Много летать приходится?

— А далеко?

— Устаешь?

— Какие-такие новые самолеты испытываешь? — осаждали мы его вопросами. Он отвечал, и загадочная усмешка то и дело трогала его губы, таилась в глазах, и чувствовали мы иногда какое-то смущение в его ответах, недосказанность какую-то, недомолвки. И понимали, что испытателю новой военной техники что-то нужно держать в себе, какие-то государственные секреты

до поры до времени не подлежат огласке.

— Летаю,— отвечал он,— и техника новая, непривычная. Больше осваиваю, нежели летаю. С парашютом прыгаю. Науку грызу и спортом занимаюсь. Работа очень увлекательная, и много ее, работы: день маловат, иногда жалеешь, что в сутках не сорок восемь часов.

Это мамино присловье, она вот так же сетует постоянно: жаль, что нельзя растянуть сутки на сорок восемь часов.

— Темнишь ты что-то, Юрий Алексеевич,— сказал недовольно отец.— Чего-то не договариваешь. Ну да ладно, человек ты военный, обязан тайну хранить. А может, когда и проговоришься ненароком.

Юра весело и облегченно рассмеялся.

— Может, папа, и проговариваться не придется — так откроется...

После завтрака мы вышли во двор. Беря в руки пилу, Юра пригрозил:

— Сейчас я тебя в гроб загоню. И будешь ты лежать там в белых тапочках, такой молодой и такой красивый...

— Загнать меня сегодня нетрудно,— согласился я.

...Пробыл он на этот раз дома два или три дня. Вдвоем с ним мы перепилили и перекололи все дрова — и отцу, и мне. Сходили на рыбалку на утренней зорьке. Как-то поблизости от нашего дома, прямо на дороге, мальчишки затеяли игру в городки. Юра тут же ввязался в их компанию и влюбил в себя мальчишек тем, что фигуры выбивал он с первой, редко какую со второй биты.

Теперь он наезжал частенько, и всегда без предупреждения, всегда налегке и на очень короткое время.

* * *

Сейчас, через годы, вспоминается мне его смущение, когда атаковали мы его вопросами о новой работе, и понимаю я, как невероятно трудно было Юре в те минуты. Он никогда не умел лгать, правдивость была едва ли не самой заметной чертой в его характере. Иногда, чтобы не обидеть нас молчанием или резким ответом, он говорил вынужденную полуправду: да, летаю, да, прыгаю с парашютом, да, занимаюсь спортом. Все это, мол, необходимо летчику-испытателю.

Теперь мы знаем, что весна, лето и осень шестидесятого года были и временем самых напряженных тренировок будущих космонавтов, и временем их привыкания к новой технике, на которой им предстояло бороздить просторы Вселенной, и

временем сколачивания самого космического коллектива, временем рождения и развития его.

Именно в эти дни сделана запись в журнале медицинских наблюдений за космонавтами, где сказано, что Юре свойственны «... воля к победе, выносливость, целеустремленность, ощущение коллектива», что у него постоянно отличное самообладание, что он «чистосердечен, чисто душой и телом» и что интеллектуальное развитие у Юры высокое.

Принят в партию

Вскоре после одного из наездов в Гжатск Юра с гордостью сообщил нам, что он стал членом Коммунистической партии.

Мне кажется, здесь нелишне будет привести выдержки из рекомендаций, присланных ему старыми боевыми друзьями — товарищами по службе в авиации Северного флота.

Командир эскадрильи, из которой Юра ушел в группу космонавтов, майор Решетов Владимир Михайлович писал:

«На протяжении всей службы Ю. А. Гагарин являлся передовым офицером части... Политически развит хорошо... Принимал активное участие в общественных и спортивных мероприятиях... Взятые на себя социалистические обязательства выполнял добросовестно...»

Секретарь партийной организации части капитан Росляков Анатолий Павлович так характеризовал Юру:

«Знаю Ю. А. Гагарина как исполнительного, дисциплинированного офицера... Летает грамотно и уверенно... являлся членом комсомольского бюро части... Партийные поручения выполнял своевременно и добросовестно...»

Офицер Ильяшенко Анатолий Федорович дополнял портрет Юры следующими словами:

«Гагарин Ю. А. идеологически выдержан, морально устойчив, в быту опрятен. Являясь слушателем вечернего университета марксизма-ленинизма, всегда активно выступал на семинарских занятиях. Активно участвовал в работе партийных собраний, хорошо выполнял партийные поручения, был редактором «боевого листка».

Выдержки из рекомендаций и запись, сделанная в журнале наблюдений врачом,— документы, написанные по совершенно различным поводам. И однако любопытно, что, когда сопоставляешь их, видишь: и товарищи по службе, и врач подметили в характере Юры такие качества, как целеустремленность, энергию, интеллектуальность, добросовестность в выполнении общественных поручений.

Таким он и был, наш Юра, наш Юрий Алексеевич. Таким и помнят его близкие.

Шестнадцатого июня 1960 года на партийном собрании за Юру единогласно проголосовали все коммунисты. А вскоре ему вручили партийный билет за номером 08909627.

«Неужели какой найдется?..»

На Октябрьскую — снова на Октябрьскую: сколько же счастливых воспоминаний, славных событий связано в нашей семье с торжественными днями праздника революции! — справляли свадьбу Бориса.

Юра и Валя приехали по телеграмме, привезли подарки, вино. За свадебным столом Юра был весел, кричал молодым «горько!», подбадривал смущавшихся Бориса и Азу:

— Привыкайте не бояться, прямо людям в глаза смотреть...

А Борису шутливо пригрозил:

— Будешь обижать Азу — я на тебя живо управу найду.

Уезжая после праздника, сказал:

— Теперь уже, думать надо, не скоро в Гжатск выберусь. Так что жду вас у себя.

Родителям давно не терпелось посмотреть, как устроились и обжились на новом месте Юрий и Валентина, и, естественно, сразу же последовал вопрос:

— А когда удобней приехать?

— Решайте сами. Хотите, Новый год вместе встретим, под елкой в лесу посидим. Здорово ведь — лес, тишина, снег и настоящая елка!

Так и условились: на Новый год. Не знаю почему, но эта поездка не состоялась. Сейчас не припомню уж, какие причины заставили нас встретить шестьдесят первый дома.

В конце февраля или начале марта пришло письмо от Юры. Укоризненно напоминая, что мы не сдержали слова, не навестили его, он настаивал: на день рождения жду у себя непременно. Писал о том, что Вале скоро придется лечь в больницу, что ему очень кстати будет помощь мамы и что никаких причин отказа он не принимает.

— Надо ехать. Собирай, мать, подарки,— распорядился отец.

Мы проводили родителей, а сами — подвела опять-таки занятость на работе — решили ограничиться поздравительными телеграммами.

Отец прожил у Юры с неделю, кажется.

— Ну как, ничего погуляли? — спросили мы, когда он вернулся домой.

Отец махнул рукой.

— Какое там! Совсем не бывает дома Юрка. Встает и уходит рано, возвращается поздно. Как еще Валентина терпит его?

Он долго не мог успокоиться, все сокрушался:

— И что она за служба такая, когда у человека вроде и дома нет. Два праздника сразу: седьмого внучка родилась, Галя, девятого у него день рождения, а мы и за столом толком не посидели, не поговорили по душам. И товарищи его, другие офицеры, кто к нему заходил, все такие же занятые, беспокойные. Тоскливо мне стало — я и уехал.

Мама задержалась в гостях еще на две недели: Вале, не окрепшей после родов, трудно было одной управиться с детьми.

А когда я двадцать седьмого марта встретил на вокзале маму и привез домой, она с порога, освобождаясь от шали и пальто, сообщила:

— Юра-то наш в дальнюю командировку скоро отправляется.

— В какую дальнюю?

— А уж и не знаю,— вздохнула она,— не назвал адреса. Спрашиваю его: куда, мол, сынок, а он только и намекнул, что, мол, так далеко поеду, как никто еще не ездил.

— Куда же это? — подумал вслух отец.

— При нынешних-то возможностях хоть куда,— вставил я.— Поди, за границу пошлют.

— Тогда куда же? И как это ты не выведала? — укорил маму отец.— Будь я на твоем месте — точно разузнал бы...

Подступились мы к маме с расспросами, но больше относительно предстоящей командировки ничего не могла она сказать.

Задал нам Юра загадку!

И до чего же, думается сейчас, до чего же все-таки слепы и наивны мы были. Недогадливы...

Ведь тогда еще, в дни ее гостеваний у Юры, состоялся у матери с сыном разговор, который на многое мог бы открыть нам глаза.

И состоялся он, кажется, за день или два до рождения Галинки.

В тот день, до самого вечера, мама была в квартире одна. Ни телефонные звонки, ни звонки в наружную дверь не беспокоили ее. Это было немного непривычно, потому он и запомнился хорошо, тот день. Мама приготовила ужин, заскучав, взяла в руки газету.

Юра вернулся поздно. Принял душ. Надев спортивный тренировочный костюм — так он всегда ходил дома,— сел ужинать.

— Что это тебя так увлекло там? — спросил он маму, указывая на газету.

— Да вот, сынок, пишут, что уж вроде и кабину испытали, в которой человек в космос полетит.

— Дела...— неопределенно отозвался Юра.

— А я вот все думаю,— чистосердечно призналась мама,— думаю все: какой же человек согласится в этакую даль полететь? Неужто дурак какой найдется? Ведь это ж шальным надо быть — на такое решиться.

Она не договорила — Юра уронил вилку, отвалился на спинку стула и захохотал. Он смеялся от души и так долго, что мама не на шутку испугалась за него.

— Почему же непременно дурак? — весело полюбопытствовал он.— Дураку, я думаю, в космосе делать нечего.

— Так-то оно так,— не сдавалась мама,— да ведь рассудительный, серьезный человек откажется от этой затеи. Голову-то потерять трудно ли? Вот Мушку с Пчелкой запустили, а они сгорели.

Юра отложил вилку и нож.

— Понимаешь, мама... Любое новое дело всегда связано с известным риском. Сколько летчиков принесло в жертву свои жизни, пока самолеты научились летать. Но ведь авиация нужна людям — не будешь же ты с этим спорить. И космонавтика тоже нужна. Мы уже не можем ограничивать свои знания о Вселенной пределами одной Земли, нам уже тесно на Земле. Не проникнуть в космос, когда есть такая возможность, значит, обкрадывать самих себя. Это и для науки, и для народного хозяйства нужно. А техника космическая у нас, я думаю, надежная. И потом, в ее сооружение государство вкладывает большие средства. Так что дураку, как ты изволила выразиться, космический корабль доверять нельзя. В копеечку станет... Да и велика ли будет нам честь, если мы первыми в мире пошлем обживать космос неумного человека?

— Я это понимаю, сынок, а все же страшно.

Ничем не выдал себя Юра в этом случайном разговоре, не показал матери, что сказанные ею слова могли обидеть его. Впрочем, почему обидеть? Она же от простоты своей, от чистого сердца высказалась...

Справедливости ради нужно напомнить, что в это время Юра и сам еще не знал, кому предстоит стать космонавтом-один.

А провожая маму в Гжатск, прощаясь с нею, Юра все-таки полушутливо намекнул о командировке, причем в такие дали, куда еще никто не ездил.

От этой застольной беседы до прыжка в космос оставалось немногим более месяца. В полях мели снега, но мартовские ветры уже полнились теплым весенним дыханием.

ГЛАВА 11
Апреля день двенадцатый…

«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли.

По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору 65 градусов 4 минуты.

Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя.

С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается двусторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляют 9,018 мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца. С помощью радиометрической и телевизионной систем производится наблюдение за состоянием космонавта в полете.

Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функционируют нормально.

Полет корабля-спутника «Восток» с пилотом-космонавтом товарищем Гагариным на орбите продолжается...»

День этот, 12 апреля 1961 года, пришелся на среду. Для нас, родных Юрия Алексеевича, он начинался так же, как начинались десятки других, будничных дней в году. И конечно же очень скоро стерлось бы в памяти всякое воспоминание о нем, как стираются

без остатка воспоминания о других, ничем не примечательных днях, если бы не полет «Востока».

О том, что корабль-спутник пилотирует летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, мы узнали неожиданно, при совершенно различных обстоятельствах.

Вот теперь и хочется мне припомнить подробности того апрельского дня, рассказать, как мы, родные и близкие Юры, восприняли весть о его полете в космос. Начну с себя.

Иду на работу

Стрелки на часах показывали что-то около пяти.

Я поднялся, заварил чай покрепче и, пока умывался, одевался, завтракал пока, невесело размышлял о том, что обстоятельства складываются, как говорится, хуже некуда. Наше автохозяйство готовило колонну машин для поездки на целину, на весенние посевные работы. Мне тоже предстояло ехать в группе других водителей, уже и направление получено, и командировочные выписаны. Но тут — ах как некстати! — занемогла Маша.

На целину поехать мне очень хотелось, но как оставить дома больную жену? У шофера в дороге главное — нервы, хорошее настроение. А если падает оно на нуль, как падает стрелка на спидометре, когда кончается бензин, тут и гладкая дорога может бедой обернуться.

Позавтракав, я вышел на улицу и столкнулся с отцом.

— Что это ты ни свет ни заря вскочил? — удивился он.

— Да так, заботы. А ты?

— В Клушино иду.

В Клушине бригада гжатских плотников, руководимая отцом, строила новый клуб.

— Далеко пешком-то. Бездорожье сейчас.

— Доковыляю как-нибудь.

Топор и кожаные рукавицы у него заткнуты за солдатский ремень, перепоясавший старенькую телогрейку, шапка-ушанка на глаза надвинута.

Мы выкурили по папиросе и, пожелав друг другу удачи, разошлись. Было еще сумеречно, морозец обжигал щеки, и дорога, застекленная корочкой льда, хрупко крошилась под ногами. «Тумана нет, ветра тоже нет,— мимолетно промелькнуло во мне,— значит, день удастся солнечный».

От чаю ли, недавно выпитого, от быстрой ли ходьбы, но разогрелся я и повеселел. Подумалось, что выезжать дня через три-четыре предстоит, а то и через неделю, и что Маша к тому

времени, должно быть, поправится. Не может быть, чтобы не поправилась. Да и не одна она остается — мои старики рядом, в случае чего, всегда на помощь придут.

В автохозяйстве я появился раньше других водителей и механиков. Подошел к своему «газику». В рассветных сумерках он казался большим и неуклюжим, мирно досматривающим сны зверем. Хлопнул по капоту:

— Давай, старина, начнем гайки довертывать, чтоб надежней, значит...

За работой не заметил, как разошелся день, и лишь когда мне стало по-настоящему жарко, тут только обратил внимание, что солнце уже высоко в небе, а небо чистое, голубое, и нет на нем ни единого облачка.

Пригревает...

Я решил наведаться домой, посмотреть, как там Маша, заодно и перекусить покрепче — чаем-то сыт не будешь.

У ворот автохозяйства встретился с Качановым, нашим начальником. Поздоровались.

— Валентин,— сказал он,— у тебя, я слышал, жена приболела. Так мы попробуем найти кого-нибудь вместо тебя. Только...

— Вот то-то и оно,— перебил я его.— Где сейчас сыщешь водителя?

Придумаем что-нибудь...

— Не надо. Я поеду.

Он еще раз пожал мне руку, угостил папиросой.

Маша, выслушав мои сомнения, разрешила их, не задумываясь:

— Конечно, поезжай. У меня вон и температуры сегодня почти нету. На поправку дело пошло.

Обратно на работу шел я не спеша. Машина в полном порядке, других забот, кроме помощи товарищам, теперь у меня не было.

«Добрая будет весна, хлебная»,— в такт шагам текли мысли. Затишье сменилось легким ветерком, на дороге, в лужицах, раздавленных ногами пешеходов и колесами автомобилей, искрились всеми цветами радуги мазутные пятна. В поле бы сейчас уйти, туда, где резко и пряно пахнет оттаивающей землей, где воздух синий и чистый.

— Папа! — услышал я за спиной.

— Обернулся.

Отчаянно размахивая руками, вдогон за мной бежала моя младшая, восьмилетняя Валюшка, кричала что-то неразборчиво.

Я остановился.

— Что случилось?

— Папа, скорей домой иди. Мама плачет.

— Как плачет? — не понял я. И что за напасть? Только что говорила, что легче ей. Вечно с этими женщинами всякие истории. Неужто я ее расстроил сообщением о том, что еду на целину?

— Сидит у радио и плачет,— тараторила Валя.

Запыхавшийся, переступил я порог дома. Так и есть: жена действительно сидела у приемника, и слезы по ее щекам катились в три ручья.

— Что еще стряслось? — спросил я, наверно, слишком громко.

Она ответила, всхлипывая:

— Юра... Слушай вот... Юра наш... в космосе.

— Что ты мелешь?

Повернул регулятор громкости.

Мы привыкли к голосу Левитана, мы помним и знаем все его оттенки. Левитан не скрывал своей радости. Но из множества сказанных им слов в моем сознании осталось лишь несколько: летчик... Юрий Алексеевич... Гагарин.

Ноги у меня подкосились, я обессилено сел на стул.

— Похоже, что наш Юрка,— сказал почему-то шепотом.

Мы прослушали сообщение ТАСС до конца.

— Похоже, что Юрка. А мама с Зоей знают?

— Знают. Я маме крикнула, чтоб включила радио. Мама, когда услышала, в обморок упала. Еле-еле в чувство привели мы ее с Зоей — она как раз из больницы прибежала.

Пошли к ним.

Мама

Приемник здесь, как и у нас, был включен на полную мощность. Мама и Зоя сидели перед ним, тесно прижавшись друг к другу, и плакали. Маша моя, конечное дело, не замедлила поддержать их. А у меня и у самого комок к горлу подкатывает.

— Что же он наделал, Валя?! — повторяла мама, точно речь шла о провинившемся школьнике.— Что же он наделал?!

— Успокойся, тебе вредно волноваться,— уговаривала ее Зоя, а сама пробовала выпить воды — вода выплескивалась из стакана.

— Вот о какой командировке он говорил. А я-то, старая, неразумная, выходит, дураком его назвала...

— Мама, успокойся же. Хватит тебе...

Она всплеснула руками:

— Боже мой, а как же Валентина все это переживет? Ведь одна она там, ребятишки несмышленые...

— Да уж есть кто-нибудь рядом.

— Нет-нет, я сейчас же поеду в Москву.

До поезда оставалось двадцать минут, а от дома до вокзала расстояние — около трех километров. Не успеть маме к поезду, но — понял я — и отговаривать ее бесполезно. Крикнув, чтобы ждала меня, я бегом бросился в автохозяйство.

А тут тоже толку не добьешься: и водители, и инженеры, и сам начальник автохозяйства — все сбились в толпу у приемника и никого, кроме Левитана, слушать не хотят.

— Машина мне нужна. Срочно! — закричал я в самое ухо Качанову. Он посмотрел на меня, по-моему, не узнал даже, и отвернулся.

Опрометью ринулся я в гараж, рванул дверцу первой попавшейся машины, выжал полный газ. Как гнал я ее, как удерживал баранку в руках, не помню. И... опоздал. Мама не дождалась меня — ушла на вокзал пешком.

Догнал я ее чуть ли не на половине пути. Она бежала, спотыкаясь, шаль свалилась на плечи.

Вот и вокзал, скорее в кассу! Стучим в окошко, а московскому уже дали отправление. Мама схватила билет, бросилась к составу, а тот уже дернулся...

Тут кассирша выскочила:

— Гражданка,— кричит,— где вы? Сдачу с десяти рублей возьмите!..— Билет до Москвы стоил два девяносто.

И смех и грех.

Но нам, признаться, не до смеха было: поезд-то вот-вот уйдет. Тут, к счастью, какая-то женщина подбежала к кассирше, что-то шепнула ей на ухо. Видимо, она, женщина та, знала маму. И кассирша стремглав бросилась к диспетчеру.

Не знаю, что она там сказала, но громыхнул недовольно и замер поезд на рельсах. Железнодорожники помогли маме устроиться в вагон.

А там тоже радио на всю катушку работает.

Мама услышала сообщение и разрыдалась. Пассажиры взволновались: что случилось, кто обидел пожилую женщину? Опять нашелся кто-то из местных, из гжатских,— узнал маму.

— Это Анна Тимофеевна Гагарина, мать космонавта,— сказал.

Кто-то поверил, кто-то не поверил поначалу. Поблизости оказался врач, дал маме какие-то успокоительные таблетки, но таблетки мало помогли. В Можайске, узнав о том, что Юра благополучно приземлился, она снова едва не потеряла сознание.

На Белорусском вокзале незнакомые люди помогли ей сесть в такси, и вскоре мама была уже у Валентины, застав ее в окружении корреспондентов. Нежданный приезд матери космонавта их очень обрадовал.

Корреспонденты

И в Гжатске было полно корреспондентов.

Они заняли все помещение горкома партии, они толпились в стенах родительского дома, заходили ко мне.

Первым у меня побывал посланец нашей «районки» Володя Сиротинин.

...Впрочем, по порядку.

Я подогнал машину к автохозяйству. Ребята, товарищи мои, по-прежнему сидели и стояли у приемника. Я подошел к Качанову.

— Не могу я работать сегодня,— говорю.— Такое состояние...

Он махнул рукой:

— Сегодня всем не до работы. Ступай домой, Валентин.

И мой дом, и родительский были пусты. Я уже хотел идти разыскивать своих, но тут на пороге появился Владимир Сиротинин, корреспондент районной газеты.

— Слушай,— сказал он.— Разыщи, пожалуйста, пару фотографий Юры.

Я машинально достал альбом и несколько конвертов с фотографиями, положил их на стол:

— Забирай, что нужно.

И выскочил на улицу.

Какой-то мальчишка сказал мне, что Маша с девочками у соседей — смотрят телевизор.

В избу соседей, битком набитую, я вошел в тот самый момент, когда на экране демонстрировали портрет Юры.

Теперь у меня не оставалось и тени сомнения в том, что это он, именно он, наш Юрка, взлетел в космос. Что это мой брат, которого я знаю с пеленок, облетел планету.

Беспорядочные, яркие нахлынули воспоминания.

Голодный стол в землянке военных лет, чугунок с мерзлой вареной картошкой, которую мы делили поштучно... Пожар на мельнице и отец, униженный наказанием в комендатуре... Двор, в котором собрали нас перед отправкой в фашистскую неволю. Пронзительно-горячечный Юркин шепот: «Валя, они застрелят тебя, ты убеги от них, Валя...» Коридор ремесленного училища, где преподаватель говорит нам с Тоней: «Хорошего парня привезли, грамотного...»

Я не сдержался и заплакал. Пусть простят меня читатели, но это так — слишком много слез, слез радости, было пролито в тот день. И я не хочу этого скрывать. Плакал не только я — не скрывали слез и люди, которые собрались в той избе у экрана телевизора. Они ведь тоже хорошо знали Юру: и учеником гжатской средней школы, пионером в красном галстуке, скроенном из рубахи деда Тимофея, и ремесленником в черной шинели, и учащимся техникума помнили, и летчиком.

А теперь вот увидели его космонавтом. В избу вошел шофер из горкома партии.

— Валентин Алексеевич, вас товарищ Федоренко просит к себе. Машина ждет.

Николай Григорьевич Федоренко был первым секретарем горкома партии.

Там, в горкоме, были уже и Зоя, и Борис. Борис бросился ко мне:

— Валька! Братишка-то наш, а?.. Отколол номер! А я, понимаешь, работаю себе потихоньку, ни о чем таком не думаю. Вдруг Юлька Удальцова подходит. «Борь,— спрашивает,— твой брат Юрий Алексеевич по отчеству?» Рассмешила! «У моих родителей все дети — Алексеевичи»,— отвечаю ей. «Дурень,— она мне,— иди скорей радио слушай: один из вас, Алексеевичей, в космосе летает». У меня глаза на лоб: «Врешь, Юлька!» — «Соври ты так!» — и побежала с новостью дальше. Тут народ повалил — поздравляют меня...

Николай Григорьевич Федоренко, очень душевный человек, расцеловал нас всех, а потом распорядился:

— Вот вам, ребятки, каждому, по персональному кабинету. И по телефону, тоже персональному. Садитесь и отвечайте на звонки. Вопросы задают такие, что только вы в состоянии ответить на них.

Мы сели к аппаратам.

Звонили беспрерывно, звонили из Москвы, Ленинграда, Киева, Владивостока, звонили из городов, названий которых я прежде никогда и не слыхивал. Звонили из-за границы. Расспрашивали о Юре, родителях, или просто поздравляли, или высказывали восхищение. Пытаясь как-то справиться с этим потоком телефонных звонков, работницы узла связи ввели жесткий регламент на время и предупреждали вызывающих Гжатск:

— Даю вам три минуты.

— Даю вам две минуты.

— Даю вам пять минут...

С ума сойти можно было от этого потока звонков, расспросов,

поздравлений.

Через несколько часов, хотя и не перестали трезвонить телефоны, Федоренко, заметив, что мы здорово приустали и едва в состоянии отвечать, разрешил нам отдохнуть. К телефонам сели сотрудники горкома.

В четыре часа дня с телеграфа принесли сразу восемьдесят телеграмм — наших, советских, и зарубежных, и почти в каждой из них можно было встретить одни и те же слова: восхищены... потрясены... гордимся!.. Работница телеграфа предупредила, что принимать и обрабатывать телеграммы едва успевают и что приносить их будут вот так, пачками, через каждые полтора часа, потому что, в самом деле, невозможно же бегать с каждой отдельной телеграммой.

...Было примерно половина девятого вечера. Из деревушки Ашково позвонили, что отец в пути, через полчаса будет в Гжатске.

Родительский дом осаждали корреспонденты. Сюда же, после звонка из Ашкова, пришли работники горкома партии, Николай Григорьевич Федоренко пришел.

Так вот, о корреспондентах.

Они штурмовали Гжатск весь день, поток их не уменьшился — наоборот, увеличился к вечеру. Они приезжали в машинах и поездах, прилетали на вертолетах. Здание горкома весь день гудело, как взбудораженный улей. Едва Николай Григорьевич позволил нам оставить вахту у телефонов, как мы моментально попали в осаду: журналисты, перебивая друг друга, задавали нам — Зое, Борису, мне — бесчисленное множество вопросов. Мы едва успевали отвечать, расписываться в блокнотах, снова отвечать. Вспышки блицев слепили нас то и дело.

Когда я наконец попал домой, обнаружил на столе пустой альбом и пустые конверты из-под фотографий. Ни единой карточки не осталось. Ясно, что такой груз одному Володе Сиротинину унести было не под силу.

Луч света ударил в окно дома. Среди роскошных «Чаек» и ЗИЛов остановился видавший виды горкомовский «газик». А через несколько секунд в дверях своего дома появился отец. Вспышки блицев — их было много — ослепили его...

Отец

Итак, ранним утром, засунув за пояс кожаные рукавицы и топор, отец пошел в Клушино.

Дорога — не ближний свет: четырнадцать верст, да с больной-то ногой, да по распутице. А еще переправа через

холодную реку, где после недавнего ледохода мутна, нечиста пока вода. Хорошо, если лодочник на месте.

Шел отец не торопясь, берег силы. Вот и Ашково осталось за спиной, вот и Фомищино миновал. У крайней избы его окликнул знакомый мужичок.

— Куда ковыляешь, Алексей Иванович?

— Да все туда же, в Клушино,— охотно вступил в разговор отец.— Клуб совхозу строим, чтобы, значит, к Первомаю войти в него можно было.

— Не забываешь родной корень-то?

— Как забудешь...

Отец обрадовался случаю поговорить с давним знакомым — примерно одних лет были они с тем колхозником и помнили друг друга сызмальства. Поговорить, по папироске выкурить, отдохнуть заодно.

— Что новенького в районе слышно?

— Да с утра вроде бы ничего не было...

— То-то и я смотрю, идешь ты, мол... А моя баба от соседей возвернулась, говорит, человека в космос послали, по радио, мол, передавали. И по всем приметам выходит, говорит она, что твой сынок, Алексей Иванович.

— Чего только не набрешут,— безразлично ответил отец, не очень-то и прислушиваясь к болтовне приятеля и не все по глухоте своей в ней понимая.

— Вот и я говорю: пустое мелют. А заприметил тебя в окошко — дай, думаю, осведомлюсь. Ты-то уж должон знать.

— Хорош табачок у тебя. Благодарствую. Ну да ладно, пошел я.

Он сделал несколько шагов — приятель крикнул вслед:

— Так не запустили, говоришь?

Отец досадливо отмахнулся.

— И то хорошо,— утешился друг детства.— Пойду бабу свою успокою.

У Затворова предстояло переправиться через речку Алешню. Лодочник оказался на месте.

— Продрог я, ожидаючи тебя, Иваныч,— с намеком обратился он к отцу.— Хоть солнце сверху и греет, а на воде-то оно все равно зябко.

— Не беда, сейчас согреемся.

Так у них сложилось: с отца за перевоз не деньгами лодочник брал, а, по собственному его выражению, «натурой». Достал отец из кармана телогрейки припасенную четвертушку водки, лодочник, в свою очередь, похвастался парой соленых огурцов и краюхой хлеба.

Разлили.

— Ну, за сынка, Алексей Иванович. По единой, чтобы ему, значит, легче леталось.

— Чего мелешь-то? — строго спросил отец.

Лодочник смутился.

— Да ведь как же? Думаю, радость у тебя. Почитай, за минуту, как тебе подойти,— вон и весло еще не обсохло — людей на тот берег переправлял. Говорили, мол, Гагарин Юрий Алексеевич, майор, в космосе летает.

— В космосе летает? Вишь ты...— удивился отец.— Отчаянный, должно быть, парень.

— Да ведь сын твой, Алексей Иваныч.

— Какой еще сын? Выдумал — сын! Майор, говоришь? А мой в старших лейтенантах ходит, и до майора ему еще хлебать-хлебать... И был я у своего недавно — ничего такого... подозрительного... не приметил. Однако все же приятно, если Гагарин. Давай за него, давай-давай, не задерживай.

— На доброе здоровье!

Выпили, закусили, через Алешню переправились.

Вскоре и Клушино на пригорке объявилось.

В избу, где квартировали и столовались плотники и порог которой только-только переступил отец, ввалился взмыленный председатель сельсовета Василий Федорович Бирюков. Не дав отцу опомниться, бросился обнимать.

Отец возмутился:

— Ты чего меня, как девку, лапаешь?

— Я уже в седьмой раз сюда прибегаю! — кричал Бирюков.— Все нет и нет тебя. Федоренко названивает то и дело, требует разыскать. Вертолет с корреспондентами прилетал, трещотка чертова! Всю скотину поразогнал... Пошли скорей!

— Куда идти-то? — Отец очень не любил пустую суету, напрасную спешку.— Куда идти, спрашиваю?

У Бирюкова — кстати, тоже с детских лет приятель отца — глаза стали круглыми:

— Сдурел ты, что ли, на старости лет, Алексей Иванович, или притворяешься дураком? Сын в космос слетал и вернулся, Федоренко грозится голову с меня снять, если тебя не найду, а ты спрашиваешь, куда собираться. В район, конечно!

Тут уже пришла очередь отца изумляться.

— Сы-ын? — протянул он растерянно.— А ты правду говоришь?

— Посмотрите на него, люди добрые!

— Сын? Значит, Юрка. Юрка, значит...

Плотники, обступившие их во время этого малосвязного

разговора, наперебой поздравляли своего бригадира. Кто-то намекнул шутя, что, мол, не грешно и пригубить по случаю.

— Не надо,— строго сказал отец.— Не надо. Я и так хуже пьяного. Точно обухом по голове стукнули.

Он вдруг низко, в ноги, поклонился всем:

— Спасибо вам, люди добрые.— Голос у него прервался.

— Да полно тебе, Алексей Иванович.

— Чего ты, отец, право? — заговорили плотники.

— Уйдите, ребятки, уйдите на момент,— выпроваживал мастеровых из избы Василий Федорович.

До Затворова отец добирался верхом на лошади, там, по бездорожью, ехал на тракторе «Беларусь», а у деревни Ашково встретил его высланный Федоренко горкомовский «газик».

Когда «газик» остановился на Ленинградской, у дома, здесь было полно машин и еще больше народу. Земляки, завидев отца, закричали:

— Ура Алексею Ивановичу!

— Ура отцу космонавта!

Но Федоренко, не давая ему опомниться, подхватил его под руку и потащил «на растерзание» корреспондентам.

Правительственная телеграмма

Он застыл на пороге, ослепленный вспышками фотокамер, растерявшийся, беспомощный. А когда фотокорреспонденты исстреляли весь запас пленки, к отцу бросились другие, из журналистского корпуса — с блокнотами и автоматическими карандашами в руках, с портативными магнитофонами.

На все вопросы отец, совершенно сбитый с толку, непривычный к такому скоплению народа, твердил одно и то же:

— Спасибо, спасибо вам. Я всех детей в уважении к работе старался воспитать.

— Да ты успокойся, Алексей Иванович, успокойся. Слетал Юра хорошо, приземлился тоже хорошо.

Федоренко обнял отца, отвел в сторону, что-то сказал журналистам, и те на несколько минут оставили их в покое. Отец воспользовался этим временем, чтобы снять с себя телогрейку и сменить рабочую рубаху на синюю, сатиновую.

— А где мать? — спросил он у меня.

— Утром в Москву проводил.

— Эх, досада какая... Не сидится ей на месте-то... Она бы с ними поговорила, с этими, из газеты которые... А я что скажу? Не умею я, как нужно-то...

В это время, около одиннадцати вечера, принесли срочную

правительственную телеграмму: родителям и родственникам космонавта приготовиться к выезду в Москву, машины уже в пути.

Машины подошли точно в полночь, но, как ни настаивали прибывшие на них товарищи, как ни уговаривали журналистов разойтись, корреспонденты покинули дом только в третьем часу ночи.

Гора свалилась с плеч. Измотанные вконец, чертовски усталые, охрипшие, мы — впервые со вчерашнего утра — присели за стол, чтобы что-то перекусить.

А еда валилась из рук, кусок стрял в горле.

— Юра-то, поди, теперь сыт и не догадывается, какая здесь кутерьма,— пошутил Борис.

Потом наскоро оделись в праздничное и погрузились в машины.

Было пять часов утра, пять утра нового дня — 13 апреля. Сумеречно, но тихо, и день снова обещал быть хорошим.

По дороге один офицер, находившийся в машине, рассказывал, что Москва 12 апреля ликовала весь день. Толпы народа стихийно собирались на улицах, шли на Красную площадь. Шли с плакатами, на которых было написано:

«Ура, мы первые!»

«Космос наш!»

«Привет Гагарину!»

В Москву приехали в девять утра. Нас разместили в одной из гостиниц, где уже находились Валентина с девочками и мама. Тут же мы увидели многих своих родственников.

До встречи с Юрой на Внуковском аэродроме оставались еще сутки, и надо было хорошенько выспаться, набраться сил.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
КОСМОНАВТ ГАГАРИН

ГЛАВА 1
Приземление

«До» и «после»…

Среда 12 апреля 1961 года, подобно водоразделу, разломила время надвое. В обиходе нашей семьи прижились, укоренились такие, к примеру, понятия: «Это было до Юриного полета» или «Это случилось после Юриного полета». Огненная борозда, пропаханная в небе «Востоком», чертой легла и в живой человеческой памяти. По одну сторону этой черты остались детство и отрочество в Клушине, лишения военных и послевоенных лет, годы учебы и работы, поиски своего места в жизни... По другую — возникла необходимость заново осмыслить прожитые годы, заново — я не преувеличиваю — привыкать к своей фамилии.

Впрочем, внешне в нашем быту мало что изменилось. После торжественной, праздничной встречи Юры в Москве мы благополучно вернулись в Гжатск. Мама, как и прежде, вела домашнее хозяйство, нянчила внучек. Отец плотничал. Я шоферил. Сестра и брат тоже не сидели без дела — всяк на своем месте трудился. Но ритм жизни стал иным. Двери в наших домах, особенно в родительском, уже почти не закрывались. Организованные, с экскурсиями, и неорганизованные, стихийно, приходили и приезжали люди — из самых разных уголков страны, самых различных возрастов: от пионера до пенсионера. Им хотелось воочию увидеть, где, в каких стенах рос и учился первый космонавт, хотелось услышать рассказы тех, кто близко знал его. Не скрою, все мы люди, все мы, как говорится в шутку, человеки, и на первых порах такое внимание льстило, было приятно, но со временем стало тяготить. Однако мы не имели никакого морального права отказать этим людям, закрыть перед ними дверь... Это дома. А на работе — то же самое. Если раньше, что греха таить, иной раз мог позволить себе поблажку, сделать что-то спустя рукава, то теперь и думать об этом не смей. Живой пример в семье, и при случае тебе не замедлят напомнить о нем. Что там ни говори, а трудно и хлопотно это: состоять в близком родстве с человеком, чья известность шагнула за порог родной избы.

А что сам Юра?

Он, припоминаю кстати, рассказывал: в те мгновения, когда ракета с кораблем отрывается от Земли, нагрузки на космонавта

возрастают в десятки раз. Скажем, американский астронавт Алан Шепард во время первого своего «суборбиталыюго» полета по баллистической кривой в течение нескольких секунд весил 900 килограммов... Покорители звездных сфер — мужественные и тренированные люди, умеют выдерживать непосильные тяжести.

Но думается, нагрузки эти — не самое страшное. Куда тяжелее груз славы, ожидающий космонавта по возвращении на твердую землю: лавина признаний, шквал восторгов, восхищение и любопытство, гордость и зависть, «крещение» аплодисментами и «крещение» многочисленными, подчас коварными, вопросами на пресс-конференциях.

Теперь, вглядываясь в минувшее, я думаю, что Юра с достоинством нес этот тяжкий груз. Ранняя слава не вскружила ему голову, не возвысила его над товарищами, над людьми. Ему мало досталось жить после полета — всего семь лет, и погиб он молодым, в возрасте любимого им Валерия Павловича Чкалова. Но до последней минуты своей жизни он напряженно работал: учился и защитил диплом в академии, тренировался по программе, готовил к полетам молодых космонавтов и руководил полетами, писал книги, выполнял обязанности депутата Верховного Совета СССР и члена ЦК ВЛКСМ. И был при всем при том простым, доступным для всех, открытым человеком, заботливым семьянином, отцом двух дочерей...

Как Валерий Павлович Чкалов мечтал «облететь вокруг шарика», так и наш Юрий Алексеевич мечтал о полетах на другие планеты и верил, что непременно примет в них участие, и каждодневно готовил себе к этому...

Но я снова увлекся, ушел вперед. Вторая часть книги заканчивалась тем, что утром 13 апреля мы приехали в Москву. До встречи с Юрой на Внуковском аэродроме оставались сутки... Открывая новую главу (и новую часть, которой не было в предыдущем издании повести), я хочу напомнить читателям кое-какие подробности о тех минутах, когда «Восток» с космонавтом на борту приземлился на поле близ деревни Смеловки, что в Терновском районе Саратовской области.

«За вами другие пойдут...»

1

Жена лесника Тахтарова сажала в огороде картошку. Тут же, у межи, пасся теленок, возле играла Рита — шестилетняя внучка Тахтаровой. День был горячим, работала женщина с самого утра,

притомилась и думала о том, что вот доведет до конца еще одну грядку, и хватит: пойдут они с внучкой домой, молока холодного выпьют, отдохнут в тенечке.

В это самое время Рита закричала:

— Бабушка, смотри, смотри!..

Женщина, встревоженная криком, подняла голову. Через поле шел к ним человек в скафандре невиданной, ярко-оранжевой расцветки. Повинуясь безотчетному чувству, Тахтарова взяла внучку за руку и двинулась навстречу незнакомцу. Но чем ближе подходила, тем медленнее делались ее шаги: вспомнились вдруг рассказы о заокеанских самолетах с летчиками-шпионами, которые летают над нашей землей. Правда, летать безнаказанно им не удается: наши ракетчики зорко стерегут границы страны. Может, и этот загадочный человек со сбитого шпионского самолета? Бог весть, что у него на уме...

От Юры не ускользнула робость, овладевшая женщиной. Он на ходу снял с себя гермошлем и, размахивая им, крикнул:

— Не бойтесь, товарищи, я свой!

Подошел ближе, поздоровался.

— Как вас зовут?

— Анна,— ответила Тахтарова.

— Добрая примета,— улыбнулся Юра.— Мою маму тоже зовут Анной.

Анна Акимовна Тахтарова пригласила космонавта в избу — отдохнуть с дороги, перекусить. Юра отказался, сослался на то, что очень спешит. Спросил только, возле какого населенного пункта находится и где он может найти машину, чтобы скорее добраться до телефона, сообщить о приземлении.

— Да машин тут пропасть. Во-он поблизости механизаторы работают,— показала Анна Акимовна,— так у них и мотоциклы, и машина бортовая есть.

А механизаторы — кто бегом, на своих двоих, кто на транспорте — уже спешили к ним. Они, как рассказывали после, слышали по радио сообщение о запуске космонавта и заметили спускаемый аппарат еще в воздухе, когда он, прицепленный к стропам парашютов, мягко падал на землю.

Обступив Юру, механизаторы радостно поздравляли его, тянулись пожать руку, обнять. Кто-то из них, помоложе возрастом, недавний солдат, думать надо, обратился к нему официально — «товарищ майор». И Юра весело улыбнулся в ответ — понял, что ему, пока был на орбите, присвоили внеочередное воинское звание.

Иван Кузьмич Руденко, бригадир колхозный, вспоминал годы спустя:

— Нам и верилось, и не верилось, что натурально космонавта Гагарина видим. По радио — за малое перед тем время — передавали: мол, над Африкой пролетел. А он — нате вам! — уже на нашем поле обеими ногами стоит. Утвердился, значит, и улыбается нам навстречу. Подбежали мы ближе — руку для приветствия протянул: «Давайте, ребята, знакомиться...»

Мы на том поле, где «Восток» приземлился, ячмень сеяли,— вспоминал бригадир Руденко.— И Юрий Алексеевич поинтересовался, как нам работается, какие у нас успехи. Сказали ему, что по полторы нормы в день даем. «Молодцы!» — одобрил он. А меня больше всего потрясло, что стоял он и разговаривал с нами так по-свойски, простецки так, будто вовсе и не был минуты назад там! В космосе!

2

Не развеялась еще и пыль из-под колес машины, в которой уехал с колхозного поля Юрий Алексеевич, как механизаторы вкопали на месте приземления «Востока» столбик с дощечкой: «Не трогать! 12.04.61.— 10 ч. 55 м. моск. врем.».

Позже здесь по предложению трудящихся города Энгельса был воздвигнут обелиск.

Мне рассказывали, что каждый день у этого памятного знака бывает множество людей. Молодожены едут сюда из Дворца бракосочетания — положить к обелиску цветы.

Вот и Рита, внучка Анны Акимовны Тахтаровой, тоже выросла, вышла замуж и теперь уже своей маленькой дочке Оксанке рассказывает о том, как она — первой на нашей земле — увидела на колхозном поле космонавта Гагарина.

3

Вечером в доме на берегу Волги, где Юра отдыхал под наблюдением врачей, Сергей Павлович Королев сказал ему:

— Спасибо, Юра,— и, растроганный, обнял космонавта.

Юра смутился.

— Да за что же мне-то спасибо? Это вас, Сергей Павлович, и других ученых за все труды-старания благодарить надо, а я что...

— Как это что?! — вроде бы даже рассердился Генеральный конструктор.— Дорогу в космос людям вы открыли, теперь за вами другие пойдут...

Минет несколько месяцев, и в этом же самом двухэтажном

доме на берегу Волги Юра, прилетев с Кубы, радостно поздравит с благополучным приземлением космонавта-два Германа Титова.

Космонавт — почетный колхозник

В январе 1965 года Юра приезжал в Саратов на встречу выпускников техникума, который отмечал четверть века с момента своего существования.

Конечно, гостевание на саратовской земле не ограничилось только стенами индустриального техникума. Юра выступил перед рабочими на заводе технического стекла, встречался с пионерами, с воинами, ездил в колхоз имени Тараса Григорьевича Шевченко, на поле которого приземлился его «Восток». Тут, на торжественном собрании в клубе, Юре вручили трудовую книжку колхозника за номером 805. Редкая для колхозника специальность значилась в графе «Профессия»: летчик-космонавт... Но суть не в профессии — в другом. Документ этот очень примечателен сам по себе: сын колхозного плотника и колхозной доярки, сам познавший в детстве и отрочестве соленую тяжесть крестьянского труда, первым из людей преодолевший силу земного притяжения, Юра всю жизнь хранил в себе привязанность к земле, через всю жизнь пронес уважение к людям труда. Колхозное поле взрастило и вскормило его, люди колхоза по праву числили его в своих рядах...

В этот свой приезд в Саратов Юра очень хотел увидеть бывшего своего преподавателя физики Москвина: он помнил его увлекательные уроки, помнил занятия физического кружка, на одном из которых и сам выступил с докладом о ракетных двигателях и межпланетных путешествиях в свете учения Константина Эдуардовича Циолковского. Брат расстроился, не увидев Николая Ивановича на вечере в техникуме. Выяснилось, что старый учитель тяжело болен. И тогда Юра попросил передать ему свой портрет с такой надписью:

«Дорогой Николай Иванович!

Сердечное спасибо Вам за науку и знания. Все мы гордимся тем, что прочные, хорошие знания получили от Вас.

Желаем Вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего».

Вместе с Юрой под этим автографом поставили свои подписи и другие выпускники техникума.

ГЛАВА 2
Радость встречи

В гостинице

Юра пользовался гостеприимством генерала Стученко, выступал перед учеными с рассказом о поведении «Востока» на орбите, о собственном самочувствии на борту корабля, подвергался тщательным медицинским осмотрам и вряд ли там, на берегу Волги, догадывался об участи, уготованной его близким.

Как я уже сказал, в девять утра 13 апреля мы прибыли в Москву. Автобус остановился возле гостиницы. Здесь, в номере, увидели мы маму и жену Юрия с дочками.

Мама рассказала, что сразу же после сообщения ТАСС о запуске космического корабля с человеком на борту Юрину квартиру, как и родительский дом в Гжатске, во множестве атаковали журналисты. Валя и без того волновалась, переживала за мужа, и нужно было кормить Галю, и не было никакой возможности уединиться, перевести дыхание. Тогда и догадался кто-то отвезти Валю с дочками в гостиницу, где предстояло жить и нам.

У нас за плечами остался нелегкий день, мы провели бессонную ночь, и сколько волнений еще предстояло! Следовало бы всем отдохнуть с дороги, но — честное слово! — никто не хотел спать. Бывают, наверно, в жизни каждого человека моменты наивысшего напряжения всех духовных и физических сил, моменты такой эмоциональной приподнятости, что буквально не ощущаешь усталости, живешь на едином вдохновении... Вот такое состояние и переживали мы утром 13 апреля. Только двухлетнюю Лену и месячную Галю не тревожили заботы взрослых: им еще предстояло вырасти и осознать, что совершил их отец накануне.

Мама поведала нам и о своей одиссее. О том, как вышла она из вагона на Белорусском вокзале и кто-то из попутчиков — спасибо им, добрым людям! — проводил ее на стоянку такси, о чем-то там говорил с водителем. И водитель, что называется, с ветерком домчал маму до нужной станции, до дверей Юриной квартиры, и наотрез отказался взять деньги за проезд. «Вы только попросите кого-нибудь из друзей вашего сына, чтобы позвонили моему начальству,— сказал водитель, называя номер таксопарка. — А то не поверят, что я вез мать космонавта, скажут, заливаю...»

В таксопарк, конечно, позвонили.

Комнаты, в которых нас поселили, были завалены экстренными выпусками газет. То и дело приносили новые. Полет человека на «Востоке» славили строки стихов, Юру уподобляли Икару, чаще всего глаз спотыкался на рифме «Гагарин — парень»... О новом достижении советской науки и техники с восторгом отзывались и рядовые рабочие, колхозники, и маститые ученые. Радио изливало бравурные марши и песни, преимущественно авиационные. А с газетных полос смотрел на нас Юра — такой знакомый, родной, улыбчивый. Нам не терпелось увидеть его, обнять.

Во второй половине дня стало известно, что встреча космонавта назначена на завтра, предположительно на тринадцать часов.

К вечеру гостиница угомонилась: усталость все-таки пересилила нас, заставила лечь спать. И это было хорошо, потому что предстоял новый день — не менее хлопотный и трудный.

Во Внукове

Я впервые увидел Внуковский аэродром, его громадность поразила меня.

На здании аэровокзала висел огромный — во всю стену — портрет космонавта.

Нас, родных и близких Юрия Алексеевича, пригласили на трибуну, где уже находились руководители партии, члены правительства, представители дипломатического корпуса.

Ярко-красная ковровая дорожка лежала на поле аэродрома, разрезая его надвое. Кто-то сказал нам, что длина дорожки сто метров и что впервые выбран такой цвет: обычно в торжественных случаях расстилались голубые или зеленые ковры.

Странное чувство скованности и неловкости охватило меня, когда поднялся я на трибуну. Рядом стояли люди легендарные, чьи имена помнились с детства, чьи портреты видел я еще на страницах школьных учебников: Климент Ефремович Ворошилов, Анастас Иванович Микоян. «Какую большую жизнь они прожили, — подумалось мне.— Создавали партию, совершили революцию, пережили со страной все невзгоды, лишения, войны, а вот теперь — встречают космонавта».

Я видел волнение отца и матери. Разве думалось им когда-нибудь, что придется стоять вот так — в кругу самых видных людей страны, под любопытными взорами зарубежных дипломатов, под прицелами многочисленных фото- и телеобъективов?

Я, кажется, понимал и состояние Валентины Ивановны. Ей,

первой из женщин Земли, достался нелегкий жребий, такая выпала участь: проводить мужа в космос, на орбиту планеты, пережить бесконечные сто восемь минут тревоги, сомнений, страха, услышать о том, что полет прошел нормально, и вот теперь — жить напряженным ожиданием встречи.

Над аэродромом, в окружении реактивных истребителей МиГ, появился и пошел на посадку Ил-18. Ровно в тринадцать часов он остановился у ярко-красной ковровой дорожки. Военный оркестр грянул авиационный марш: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...» Открылась дверца в корпусе самолета, по трапу спустился Юра и строевым шагом пошел к трибуне. Одет он был, заботами Андрея Трофимовича Стученко, в новую форму: фуражка со сверкающей эмблемой, шинель «с иголочки», майорские погоны.

В синем небе над Внуковым плыли сотни разноцветных шаров. Люди, пришедшие встретить космонавта, затаили дыхание: неправдоподобная сгустилась тишина. И тут, к своему ужасу, увидел я, что на ботинке у Юры шнурок развязался. Надо же такому случиться! «Наступит — упадет,— стремительно пронеслось в голове.— В небе не споткнулся, а тут — на тебе! И смеху будет, и позору не оберешься...»

Мне хотелось как-то помочь брату, как помогал, бывало, в его детстве, когда ломались у него лыжи или — совсем мальчуганом — не мог он спуститься с дерева, слезть с высокого забора. Нестерпимо хотелось помочь, но ведь не крикнешь на весь аэродром, чтобы попридержал шаг, наклонился, завязал этот проклятый шнурок.

Юра, должно быть, и сам почувствовал, что не все ладно у него с ботинком, но шага не замедлил — шел все так же строго и упруго. Только лицо его окаменело, резче обозначились скулы. (Теперь, годы спустя, когда я смотрю кинопленку, запечатлевшую этот его церемониальный марш, вижу — в замедленной демонстрации — каких усилий стоило ему не наступить на этот шнурок. И вспоминаю его признание, что от одной мысли о возможной оплошности там, на ковровой дорожке, его в жар бросило. Растянуться на виду у всего мира...)

К счастью, завершилось все благополучно. И вот он уже стоит у трибуны, рука под козырек, и над полем аэродрома разносится его звонкий голос: «Первый в истории человечества полет на советском космическом корабле «Восток» двенадцатого апреля успешно завершен. Все приборы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Чувствую себя отлично. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства... Майор Гагарин».

Перед тем как назвать свое новое воинское звание и фамилию, Юра сделал небольшую паузу: еще два дня назад ходил он в старших лейтенантах и боялся оговориться по привычке.

Сразу же после рапорта он попал — в который раз за эти двое суток — в горячие объятия. Переходил из одних в другие, счастливый, ошеломленный. Расцеловался с отцом, с матерью, припал лицом к плечу жены. Подмигнул мне, вспомнив любимое свое словцо, спросил шепотом: «Нормально, а?» «Как учили»,— ответил я его же фразой, а на губах, чувствую, вкус соли. Да что там! Слез радости никто не скрывал, даже легендарный маршал Ворошилов.

Потом Юру представляли дипломатам, аккредитованным в нашей стране. Знакомясь с космонавтом, каждый называл себя, говорил слова приветствия, поздравлял. И вот тут как раз, во время этой церемонии, произошла комическая и несколько неловкая история. Жена одного африканского дипломата, когда Юра приблизился к ним, стремительно сорвала со своего пальца обручальное кольцо и вложила в протянутую для приветствия руку космонавта. Все замерли, ожидая возможной неприятности. Африканец на какие-то доли секунды растерялся, но — как истинный дипломат — быстро сыскал выход из положения: овладев собой, на глазах у всех крепко поцеловал жену. На этом, как говорится, инцидент был исчерпан. Кольцо Юра тут же вернул хозяйке. А товарищи по Звездному, вспоминая позже эту историю, весело шутили над братом: ты, мол, был близок к тому, чтобы осложнить международные отношения...

На Красной площади

После не очень долгих по времени торжеств в аэропорту поехали на Красную площадь, где был назначен митинг. Машины двигались по улицам, запруженным толпами людей. В глазах рябило от флагов, плакатов, транспарантов. Лозунги отличались лаконичностью и запомнились надолго: «Мы — первые в космосе!», «Гагарин, ура!», «Наша взяла!», «Чур, я второй!»... Москвичи спешили на Красную площадь, тут и там звенели гармоники, плясали и пели на мостовых.

«Вот так в сорок пятом было, в день победы»,— сказал наш водитель.

Митинг на Красной площади длился более трех часов — не уложился в рамки загодя разработанного сценария. Да и в каком сценарии можно предугадать это ликующее, не знающее устали шествие людей, желающих увидеть и услышать космонавта?! В колонне демонстрантов прошли молодые летчики. Поравнявшись

с Мавзолеем, они вдруг подхватили на руки одного офицера из своих рядов, подняли над головами. Юра улыбнулся, помахал летчикам рукой. Мы, конечно, ничего не поняли: мало ли кто и как выражает свою радость, свой восторг. А позже стало известно, что эти молодые офицеры, лейтенанты и старшие лейтенанты — все из отряда космонавтов, и над головами демонстрантов проплыл в те минуты тот, кому предстояло выходить на околоземную орбиту вторым. Герман Титов.

Когда наконец мы смогли покинуть трибуны, нас проводили в Кремль. А Юрий Алексеевич, сказали нам, пошел в Мавзолей: до этого дня ему не приходилось еще видеть Владимира Ильича...

Потом он присоединился к нам, и — на какое-то время — остались мы одни, в семейном своем кругу. Наперебой рассказывали Юре о том, как услышали о его полете, что пережили в этот день. И он не умолчал о своих ощущениях в космосе. Но — как ни был он взволнован, какие чувства ни испытывал — заметил, что не все гжатчане встречают его. И спросил, почему не видит он Машу — мою жену, почему нет Дмитрия — мужа Зои? Я объяснил, что Маша приболела и приехать не смогла, а Дмитрий задолго до полета уехал в командировку.

— Жаль,— огорчился Юра.— Я так хотел всех вас увидеть, так надеялся...

— Сынок,— тронул его за локоть отец.— А я ведь никак не верил, что это ты над Землей летаешь. Мне говорят, твой сын, Алексей Иванович, майор Юрий Гагарин, а я оспариваю: мой-то, мол, в старших лейтенантах числится, до майора ему, как медному котелку, служить и служить.

Юра весело рассмеялся:

— А что я тебе, папа, месяц назад говорил, а? Говорил, что услышишь о моем полете...

Мы поняли, о чем идет речь. Когда в марте отец и мать приехали к Юре, он усиленно готовился к полету. И отец, затосковав в городской квартире от ничегонеделания, собрался восвояси. Юра, улучив минуту, проводил его на Белорусский вокзал. На перроне, прежде чем войти в вагон, отец отвел сына в сторону, зашептал с таинственным видом:

«Чувствую, сынок, что ты тут, возле Москвы, при серьезном деле, а при каком — никак в толк не возьму. Ты уж мне-то, старому солдату, откройся, чем занимаешься? Слово даю, никому и намеком не обмолвлюсь».

Юра улыбнулся:

«Я тебе, папа, уже объяснял: испытываю новую технику. Авиационную».

«А летать ты на этой технике будешь?»

«Может, и буду»,— неопределенно пообещал тогда еще кандидат на полет в космос.

Поняв, что большего от сына не добьется, отец сокрушенно махнул рукой:

«Ладно, про военную тайну я сам понимаю. Нельзя — значит, нельзя. Больше вопросов нет, а просьба имеется: коли полетишь — над Гжатском лишний кружок сделай. Мы с матерью и догадаемся, что это ты, выйдем на крылечко, рукой тебе помашем. Тебе-то ничего не стоит, а нам будет приятно».

Там, на перроне, Юра не имел права на признание, закончил разговор ни к чему вроде бы не обязывающей фразой. Днями позже он сказал маме о том, что собирается «в командировку, куда никто не ездил...». Вот и завершилась она, эта командировка!

Взаимным рассказам нашим, наверно, не было бы конца, но незаметно подоспело время правительственного приема в Георгиевском зале. В самом начале приема Юре вручили Золотую Звезду Героя Советского Союза. Высокая награда обрадовала его, не меньше обрадовало и сообщение о том, что наград удостаиваются рабочие, инженеры и ученые — создатели его «Востока».

* * *

Поэт Борис Жаворонков рассказывал мне, что 14 апреля 1961 года приехал в столицу по поручению рязанских литераторов: он должен был передать в дар космонавту узелок земли с родины Евпатия Коловрата и Сергея Есенина и коллективно написанные по случаю стихи. Должен-то должен, но — попробуй пробейся сквозь людской заслон, сквозь легионы, заполонившие Красную площадь. И вечером Борис Иванович занес подарки в редакцию «Правды», все с той же просьбой: передайте, если представится возможность, космонавту.

Я знаю, что в редакции к его просьбе отнеслись с вниманием и пониманием. И знаю другое: Жаворонков в тот день был не единственным ходоком от наших градов и весей. Может, именно тогда, в пятницу 14 апреля, и было положено начало всем тем коллекциям, которые украшают сейчас витрины «космических» музеев...

И еще об одном необходимо вспомнить. По первоначальным наметкам, на послеполетный отдых космонавту отводилось трое суток. Но едва специалисты-медики убедились, что здоровье у

Юры в норме, сроки эти сократили: велико было нетерпение увидеть и услышать его въяве…

Зоя, Борис и я прожили в столице пять суток: познакомились с товарищами Юры, смотрели Москву, посещали музеи и театры. А потом настало время уезжать… Родители задержались на большой срок.

ГЛАВА 3
В гостях…

Рукопожатия друзей

Газеты тех дней, полные пристального внимания к нашим достижениям в космосе, публиковали огромное количество писем и телеграмм. На планете, кажется, не было уголка, где не услышали бы о триумфальном полете «Востока». Люди самых различных национальностей, возрастов, вероисповеданий, социального положения слали приветствия и поздравления Центральному Комитету нашей партии, правительству, непосредственно космонавту — с лаконичным адресом: «СССР, МОСКВА, майору Юрию ГАГАРИНУ».

Во многих письмах и телеграммах содержались приглашения посетить ту или иную страну. Приглашали и частные лица, и общественные организации.

«Сперва наш Юра сверху на планету подивился, теперь, чую, пойдет по ее дорожкам колесить»,— сказал мне в те дни Борис. И я согласился с братом: «Похоже на то».

Вскоре вернулись от Юры отец с матерью, подтвердили: готовится в заграничное путешествие.

И пошли-замелькали они — зарубежные маршруты: только за названиями стран следить успевай. В апреле — Чехословакия. В мае — Болгария. На июнь, июль, август выпали Великобритания, Польша, Куба, Бразилия, Канада. Дальше — Индия, Япония, африканские страны. Все материки, казалось, хотели обменяться рукопожатием с человеком, который любовался ими через иллюминаторы космического корабля, народы всего мира жаждали заключить его в свои объятия.

Теперь, когда я бываю в кабинете Юры в Звездном или в музеях, посвященных его памяти, смотрю на подарки и сувениры, привезенные им из тех поездок за рубеж, то вспоминаю невольно и его рассказы о впечатлениях от той или иной страны. Не все, конечно, но многое удержалось в моей памяти: Юра, и я уже говорил об этом, умел рассказывать так ярко и образно, что пережитое им, услышанное от него становилось частицей и твоей собственной жизни.

Я приведу здесь две-три истории из самых памятных мне. А предварить их хочу Юриными словами. «Везде, где посчастливилось мне побывать,— рассказывал Юра,— люди встречали меня очень сердечно. Особенно простые люди, рабочие

и крестьяне. И это как раз доказывает, что народы всего мира могут жить в мире и дружбе».

Ну вот, а теперь — о поездках...

На пути в злату Прагу

Чехословакия была первой из тридцати стран, которые посетил Юра.

Среди многих памятных реалий осталась от той поездки книга, подаренная космонавту Героем Советского Союза Павлом Михайловичем Михайловым, командиром экипажа Ту-104. На титульном листе этой книги — она называется «10 000 часов в воздухе» — Михайлов сделал такую запись: «С самыми теплыми чувствами в память о первом заграничном рейсе от летчика-земляка. Сегодня Вы у меня пассажиром на Ту-104, и, кто знает, может быть, скоро я у Вас буду пассажиром при полете на Луну».

Салон самолета, в котором летел Юра, был полон пассажиров, представляющих самые разные страны: Чехословакию, Индию, Италию. Были там и наши, русские люди. Космонавта конечно же сразу узнали, и началось столпотворение: от желающих заполучить автограф невозможно было отбиться... Михайлов, всерьез опасаясь, что будет нарушена центровка самолета, и сжалившись, пригласил Юру в кабину, предложил занять место второго пилота, взять в руки штурвал. Более получаса брат, знакомый только с управлением истребителей, самостоятельно вел могучий лайнер.

И тут я должен сделать еще одно отступление. Лучшего подарка Юре Павел Михайлович Михайлов при всем желании сделать не мог бы. Отлично помню, что нескончаемая череда поездок за границу выбила Юру из привычного ритма, лишила возможности летать на самолетах, и он болезненно переживал эту ситуацию. Летчик по натуре, по характеру своему, он любил летать и желал летать постоянно, и никакие запреты и ограничения не могли стать помехой ему в осуществлении этого желания.

Наверно, он и со штурвалом Ту-104 справился неплохо, потому что Михайлов не поскупился на похвалу: «Хотите, Юрий Алексеевич, зачислим вас в наш экипаж? Для начала — вторым пилотом...» Шестью годами позже Юра будет гостить в Вешенской, у Михаила Александровича Шолохова. И когда кончится срок гостевания, за ним прилетят на «Мораве» — небольшом самолете чехословацкого производства. И снова пилот доверит штурвал Юре, чтобы он, прощаясь с писателем, сделал несколько кругов над станицей, покачал крылами над домом

Михаила Александровича.

Но это будет позже. А в тот день, 28 апреля 1961 года, когда Ту-104, проплыв над Прагой, пошел на посадку, с крыши самого высокого дома космонавту приветственно махал цилиндром трубочист. По народному поверию, это означало пожелание счастья, радости и благополучия на многие годы.

Чехословакия была не только первой из тридцати стран, которые посетил Юра. Она, если не ошибаюсь, стала и первым зарубежным государством, удостоившим его высокой награды — Золотой Звезды Героя Социалистического Труда Республики.

В долине роз

Полный восторженных впечатлений, вернулся Юра из пятидневного путешествия по Болгарии. Сердечность, с которой там его встречали, не поддается описанию. Он ходил по улицам Софии, Пловдива, Варны, по улицам других городов и поселков, и люди узнавали «другаря Гагарина», подходили пожать руку, зазывали в гости — отведать домашнего хлеба, пригубить сливовицы.

Он не раз вспоминал о том, каким уважением окружена в Болгарии память о русских солдатах — героях Шипки — и память о бойцах Великой Отечественной войны. К ногам воспетого в песнях «Алеши» — памятника советскому воину в Пловдиве — Юра положил охапку пламенеющих роз.

Так вот, о розах. С ними связан эпизод, пожалуй, единственный, о котором Юра, вспоминая поездку в Болгарию, ни разу не пожелал рассказать. Я узнал о нем, что называется, из третьих уст.

В знаменитой Казанлыкской долине машина космонавта шла по дороге, усыпанной лепестками роз. А едва он вышел из машины, крестьянки преподнесли ему розы — яркий, пышный букет.

Казанлыкская долина — единственная в своем роде и славится на весь мир. Розовое масло, которое производят здесь,— незаменимый продукт в парфюмерной промышленности. А сколько затрачивается труда, чтобы вырастить эту розу! Когда она цветет, работницы выходят на плантации задолго до рассвета: надо успеть собрать как можно больше лепестков, пока не коснулись их жаркие лучи солнца, не выпили из них масла. Легко сообразить, какое это трудоемкое занятие: в предрассветных сумерках за короткое время собрать несколько килограммов лепестков. Вот любопытные, поражающие воображение цифры: для того чтобы получить один килограмм масла, надо собрать и

обработать три тонны лепестков.

Работа на плантациях роз — а они не так-то малы, их в Казанлыкской долине около десяти тысяч гектаров — не поддается никакой механизации: нельзя доверить машинам хрупкие, нежные лепестки. Только нелегкий и такой необходимый ручной труд. Руки женщин, занятых этим трудом, исколоты шипами, темны и огрублены, как, в общем-то, всегда темны и огрублены руки крестьянок, руки наших матерей.

В тот момент, когда Юре передавали букет, одна из женщин вдруг быстро наклонилась и поцеловала его руку.

Как он смутился! Едва ли не до слез. Догадываюсь, какое потрясение пережил он в эти мгновения. По всем человеческим понятиям, надо бы наоборот: руки этих женщин целовать.

Никогда, никому не рассказывал Юра об этом случае. Нужно ли объяснять почему...

И болгары увенчали полет «Востока» наградой, вручив Юре орден Георгия Димитрова и Звезду Героя.

Исполнение мечты

Иногда, слушая Юру, вспоминал я нашего дядю Павла и его чудесные рассказы о дальних странах, о диковинных заморских чудесах. Вспоминал и о том, как в детстве мечталось нам вырасти и своими глазами увидеть весь этот необъятный, сказочный мир.

Юре повезло: мечта исполнилась, многие из чудес, да еще каких диковинных, увидел он воочию.

Вот еще несколько картинок, иногда наполненных символикой, а подчас довольно курьезных.

В Германской Демократической Республике было. На городской площади Юра стоял в окружении немецких граждан. Вдруг подбежал какой-то мальчуган и, протянув к Юре руки, подал ему белоснежного голубя. Юра поблагодарил мальчугана и прижал птицу к груди. Случившийся поблизости человек с фотоаппаратом проявил расторопность, и вскоре весь мир обошел этот снимок: весело смеющийся космонавт и голубь. Распластав крылья, птица доверчиво приникла к человеку.

А вот и еще одно «чудо», но совершенно иного порядка. В Индии, на пути в президентский дворец, дорогу кортежу машин преградила корова: она лежала посреди площади, и хозяева огромной страны, включая его превосходительство президента, не смели пальцем шевельнуть, чтобы прогнать ее. Нельзя, священное животное: обидишь ее — бога прогневишь. Так и стояли машины с пассажирами, пока священная буренка вылеживалась. Чуть ли не через час корова сжалилась над людьми, соизволила подняться

и, махнув хвостом на прощанье, величественно удалилась.

«За это время,— смеясь, рассказывал Юра,— я на своем «Востоке» успел бы облететь вокруг шарика».

Не менее занятная история случилась в одной из африканских стран. Когда понадобилось преодолеть какое-то расстояние, и гостям, и хозяевам предложили занять места в бронированных автомобилях. «Зачем? — удивился Юра.— Везде, где мне приходилось бывать, я ездил в открытой машине. Мне нравится видеть людей». Ему объяснили, что дорога, по которой они поедут, затеряна в джунглях, что не исключена возможность встречи с пигмеями, на дикий нрав которых полагаться не приходится: могут обстрелять из луков, а стрелы у них, как правило, отравленные. Брат был вынужден подчиниться. Поехали. А солнце припекало вовсю, по-африкански, дышать в броневике нечем. Не знаю уж каким образом, но уговорил Юра сопровождающих — опустили пуленепробиваемые стекла. Тут и увидел он этих самых пигмеев: в набедренных повязках, с копьями и луками в руках, они недвижно стояли вдоль дороги, и лица их были свирепо-отчужденны. «Мне ничего не оставалось делать, как улыбаться им,— рассказывал Юра.— Смотрю, и они понемногу-помаленьку заулыбались в ответ, и вся свирепость вроде как слиняла с их лиц. Добрые такие, тихие, симпатичные. Вот тебе и дикий нрав!.. Люди они, обижать их не надо...»

Фотографии, вырезки, из газет, сувениры... Все напоминает о тех днях.

Вот золотая медаль с выбитой на ней надписью: «Вместе мы отольем лучший мир». Дар английских рабочих-литейщиков. Они, гордясь тем, что в юности Юра тоже учился на литейщика, приняли его и почетным членом своего профсоюза... В Лондоне Юра посетил Хайгетское кладбище, возложил на могилу Карла Маркса венок из красных и белых гвоздик: «От майора Юрия Гагарина»... Космонавта приняла королева. Некоторые зарубежные недоброжелатели высказывали тогда недовольство тем, что коммунисту, посланцу страны большевиков оказываются почести на самом высоком уровне. Королева ответила недоброжелателям, и, надо сказать, не без юмора: мол, сделайте и вы то, что сделал этот русский коммунист, и вы удостоитесь таких же почестей.

Вот «тоссуты» — старинная обувь из бересты. Вручая их Юре, финские рабочие сказали: «Наденьте их, когда полетите на другие планеты... В них вам мягко будет ходить на непривычном грунте».

Коньяк — память о встрече и беседе с Морисом Торезом. Бутылку Юра не хотел открывать — так и стоит она в его квартире. А часы, тоже подарок Тореза, он надел на руку в

последние дни марта 1968 года.

...Не стану утомлять читателей перечислением всех стран, в которых побывал Юра: их, повторяю, тридцать, и у каждой — свои нравы, свои обычаи, традиции, свое солнце над головой и свои кушанья на столе. Но было и общее: жадное любопытство, огромный, неподдельный интерес к жизни нашей Родины, которую и представлял космонавт в этих поездках.

ГЛАВА 4
…И дома

«Буду завтра!»

Минули недели, месяцы. Понемногу привыкли мы к мысли, что да, в самом деле причастен наш Юра к полету на «Востоке». Улеглось волнение, вызванное семейной поездкой в Москву, волнение от встречи с ним на Внуковском аэродроме, от нашего пребывания в Кремле. Как и прежде, занимались мы каждый своим делом: я шоферил в автохозяйстве, отец достраивал клуб в Клушине, Борис трудился на радиозаводе «Динамик», Зоя — в поликлинике.

И ждали, ждали все мы, когда наконец Юра навестит Гжатск. А он все не ехал — другие, очень важные заботы не пускали его.

О том, где он сейчас, что с ним, мы узнавали из газетных сообщений. Космонавт Гагарин, вещали заголовки, вернулся из Чехословакии... Сердечная встреча в Болгарии... Юрий Алексеевич навестил родное училище в Оренбурге... Майора Гагарина приветствует Калуга — город, где прожил свою жизнь Константин Эдуардович Циолковский.

Впрочем, не только газетные сообщения питали нас, наше воображение: Юра не забывал послать с дороги письмецо или шутливую открытку в конверте, чаще — открытку. Непременно с видами тех мест, которыми в настоящее время любуется, с пестрой, затейливой маркой. По белому полю — несколько четких строк автоматическим карандашом, что жив, здоров, что обнимает всех.

Каждая такая весточка — праздник в семье.

И маленький Гжатск терпеливо ждал своей очереди, ждал приезда своего ставшего всемирно знаменитым земляка. На Ленинградской улице, через дорогу, как раз напротив старого родительского дома, строился новый — двухкомнатный.

Мы знали, что Юре не терпится приехать домой. И родителям очень хотелось, чтобы он успел к новоселью.

И так случилось, что, когда новый дом уже был готов к заселению, Юра позвонил маме:

— Буду завтра,— сказал он.— Часа в три, в начале четвертого.

Телефонистки, слышавшие разговор, не удержали его в тайне. Через час о предстоящем приезде Юры говорил весь город. Молодежь, среди которой было немало друзей его детства,

преисполнилась намерением встретить машину на магистрали Москва — Минск и внести космонавта в город на руках, как когда-то, полтора столетия назад, наши предки на руках внесли в Гжатск победителя французов Михаила Илларионовича Кутузова... Утром местное радио объявило о том, что в шестнадцать часов в городском парке состоится митинг, посвященный встрече с космонавтом.

Город обрядился в красный ситец.

В час дня парк был уже переполнен.

Мы находились в новом доме, когда набежали с улицы ребятишки, закричали:

— Дядя Юра едет!

Обгоняя друг друга, побежали мы на дорогу.

— Вот он, в первой машине.

Легковые машины остановились у ограды. Федоренко, который вместе с другими руководителями района был в это время у нас, схватился за голову.

— Эх, и встретить не успели как нужно!.. И митинг, митинг-то на четыре часа назначили...

Юра расцеловался с родителями, обнялся с секретарем.

— Не грусти, Николай Григорьевич, это мой звонок подвел тебя — мне и отвечать. Митинг, раз уж назначили, непременно проведем. А что приехал я раньше — так это маленькая военная хитрость.

Двор был забит так, что яблоку негде упасть. Пришли товарищи Юры. С барабанным боем и горном, под знаменем примаршировал пионерский отряд, с букетами красивых цветов появилась стайка нарядно одетых девчат.

— Хоть здесь митинг затевай,— сказал Федоренко.

Знакомые спешили поздороваться с Юрой, девушкам непременно хотелось сфотографироваться и заполучить автограф, пионеры приглашали на свой сбор.

— А вы из какой школы? — спросил Юра.

— Из вашей, где вы учились.

— Обязательно приду...

Наверно, нет смысла подробно рассказывать здесь о том, какую волнующую встречу устроил Гжатск своему земляку — об этом в свое время было очень много написано. Я остановлюсь лишь на отдельных, особо примечательных моментах.

Папа вернулся с аэродрома. Октябрь 1963 г.

Ю. А. Гагарин. 18 августа 1962 г.

Юрий Алексеевич и Валентина Ивановна. 1963 г.

На охоте в родных местах

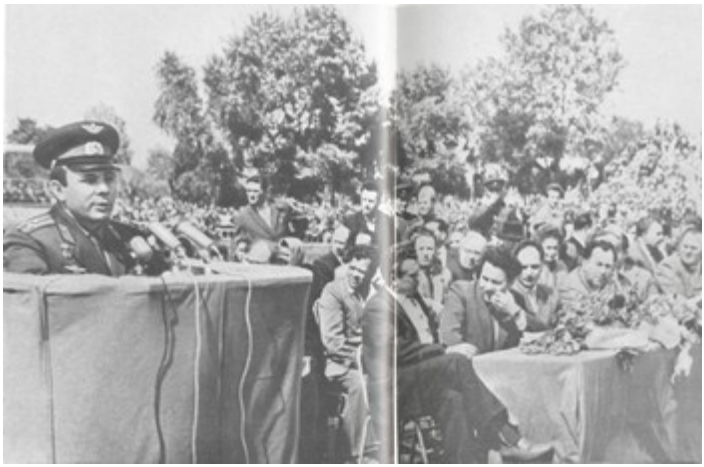
Ю. А. Гагарин. Мытищи. Февраль 1965 г.

Ю. А. Гагарин и В. И. Гагарина в гостях у родственников. Рядом с космонавтом племянник Юра. 1965 г.

Он любил детей, и дети любили его

Юрий и Валентин Гагарины. Февраль 1965 г.

В гостях у теток: Юрий Алексеевич Гагарин, Ольга Тимофеевна Матвеева и Мария Тимофеевна Дюкова. 1965 г.



Космонавт выступает перед земляками

Ю. А. Гагарин и А. А. Леонов. 1968 г.

Юрий Алексеевич Гагарин. Весна 1967 г.

На избирательном участке

В день открытия памятника

Диспут о боге

Чуть схлынул людской поток — мама пригласила Юру и

приехавших с ним товарищей отобедать.

— Надо подкрепиться перед митингом,— уговаривала она.

Но не тут-то было. Едва сели за стол, пришел Борис.

— Юра,— сообщил он,— там к тебе делегация божьих старушек препожаловала.

Юра подошел к окну. У ограды в самом деле стояли старухи — десятка полтора их было. В темных шалях, несмотря на жару, сгорбленные, опираясь на палки, стояли и смотрели они на стены дома, и стены, казалось, вот-вот раздвинутся, разойдутся в стороны под пронзительными взглядами их выцветших глаз. Было какое-то странное несоответствие между этим ликующим, солнечным днем и черными, похожими на тени, старухами.

Юра узнал их.

— Да это же наши бабушки! — воскликнул он.— С нашей улицы... Вон и тетя Маня, Мария Петровна Петрова... К ним нельзя не выйти — обидятся.

Когда он стремительно выбежал на крыльцо — старушки дружно, как по команде, перекрестили его.

— Здравствуйте,— весело сказал Юра.— Что же это вы тут стоите? Заходите в дом.

— Да нам и тут хорошо...

— Солнышко старые кости греет...

— Домом после полюбуемся, Тимофеевна дозволит...

— Мы, внучек, на тебя полюбоваться пришли.

Подталкиваемая подружками, вышла вперед тетя Маня Петрова.

— Юра, сынок, ты скажи нам: видел ли ты его?

— Кого?

— Кого... Ну, его... Господа бога нашего,— решилась наконец тетя Маня.— И как он допустил тебя туда?

Юра громко рассмеялся:

— Нет, не видел, бабушки, и думаю, вы только не обижайтесь, но думаю я, что его совсем в природе не существует.

Старушки смущенно зашептались.

— А что, Юрушка,— опять вступилась в разговор тетя Маня, — что это ты, спросить мы тебя хотим, фуражечку совсем не снимаешь?

— Извините,— теперь уже смутился Юра, не понимая, к чему задан этот вопрос: может, в невежестве укоряют его старые люди. — Извините, в форме я — положено так. Но так и быть...

Он быстро сдернул фуражку, бросил ее на крыло машины. И тут случилось то, над чем мы после долго хохотали. Мария Петровна быстро подошла к нему, подняла руку и дернула прядку волос на его голове.

— Что ты делаешь, тетя Маня? — с притворным ужасом закричал Юра.— Ведь больно же!

Мария Петровна растерялась до такой степени, что даже расплакалась.

— Юрушка, сынок, ты уж прости меня, старуху неразумную. Нам ведь, по темноте нашей, чего только не наговорили. Что наказал тебя господь, без волос оставил, что парик ты носишь, из шерсти собачьей сделанный. А ведь волос-то у тебя свой, настоящий.

Мы уже давно вышли из комнаты, стояли на крыльце, и, когда тетка Маня сказала это, грянул хохот.

— Наговорили тебе, а ты поверила,— весело рассмеялся и Юра.— Да кто, кстати, наговорил-то, где он, выдумщик этот?

Тетка Маня уже оправилась от смущения.

— Кто ж его знает, от кого первого слыхано было. Может, и сами мы это придумали. Газет-то — старенькие мы, видим плохо — не читаем вовсе, а вот сойдемся так, посидим на завалинке, погреемся— до чего только не додумаемся... Выходит, неправда все?

— Выходит так.

— А ты, Юрушка, не сумлевайся. Я теперь от кого байки про тебя услышу, так тому и скажу: неправда все это. Сама с Гагариным толковала — сосед, мол, он мне, и сама убедилась, что остался он таким, каким с детства его помню. Ни один волос не упал с головы. А вот про бога с батюшкой посоветуюсь. Трудно так сразу-то... Шестьдесят пять лет на белом свете живу, в церковь хожу и богу молюсь. А ты говоришь, не увидал его...

Юре, видимо, по душе пришелся этот разговор со старушками.

— Знаете, бабушки,— весело пообещал он,— вот чуть-чуть подучимся летать — и вашего батюшку в космос пригласим. Пусть сам убедится, что к чему. А захотите — и вы полетите.

Тетя Маня разошлась вовсю:

— Я чего? Была бы я помоложе, нешто не полетела бы? Да с тобой, Юрушка, хоть на край света...

— Истинную правду Петровна говорит,— дружно поддержали ее другие старушки.

Много позже Юра говорил, что в той огромной почте, которую получил он по возвращении из космоса, были сотни писем от недавних верующих, от тех, кто, под впечатлением полета, отрекался от своих былых воззрений.

Народу спасибо!

Митинг в городском парке открылся в точно назначенное секретарем горкома время.

Юре, когда он вышел на трибуну, минут десять не давали слова выговорить. Люди размахивали плакатами, флагами, транспарантами, кричали:

— Слава первому космонавту — нашему земляку!

— Да здравствует советская наука!

— Юрию Алексеевичу — ура!

— Юра, молодец, прописал Гжатск в космосе!

Кое-кто и подначивал:

— Гагарин, не зазнавайся смотри!

— Юра, старых друзей не забывай!

Напрасно Юра поднимал руку, прося тишины,— трудно было успокоить взбудораженную толпу. И тогда Юра привлек к себе своего учителя, Льва Михайловича Беспалова, обнял его и что-то сказал. Тотчас же стало тихо.

— В том, что я сделал, дорогие товарищи,— начал Юра,— я не вижу ничего особенного. На моем месте всякий поступил бы так же. Я только выполнял волю своего великого народа, который учил меня, который готовил меня в этот полет. И народу, вам, землякам моим, всем советским людям хочу сказать я великое спасибо. И еще большое спасибо моим учителям. Вот рядом со мной стоит Лев Михайлович Беспалов, преподаватель физики. Он первый привил нам, школьникам, любовь к этой удивительной науке, первый открыл нам Циолковского. И кто знает, не будь в моем детстве такого учителя, может, и не стал бы я космонавтом.

И Юра снова обнял Льва Михайловича, расцеловался с ним.

Среди собравшихся было не мало учеников Беспалова, да и вряд ли нашелся бы в Гжатске житель, который бы не знал этого скромного, беспокойного учителя. Можно представить, какая овация вспыхнула после этих Юриных слов.

Он подробно рассказал о том, как перенес полет, что чувствовал и переживал в кабине космического корабля, рассказал, с каким дружелюбием встречали его трудящиеся в зарубежных поездках, ответил на десятки вопросов. В конце концов митинг превратился в дружескую, не будет преувеличением сказать, задушевную беседу земляков, в беседу, которая длилась несколько часов подряд.

Из парка Юра возвращался, взяв под руки родителей. Отец и мать несли в руках цветы, и я заметил, как неудобно, неловко чувствует себя отец с букетом. «Вот еще морока,— наверно, думает он.— Топор-то куда сподручней...»

Робел отец, смущался, хмурил лицо. Таким и остался на фотографиях, запечатлевших его и маму — вместе с Юрой — в

тот день.

А огромная толпа гжатчан провожала их до самого дома и долго не расходилась еще.

— Завтра удерем на рыбалку,— шепнул мне Юра.

— Идет. Снасть готова.

И рано утром в луга, на Гжать махнули мы.

Какие замечательные ребята!..

Поздненько вернулись мы с рыбалки, но на следующий день Юра поднялся очень рано — еще и следы от утреннего стада на дороге не выбило, не затянуло пылью.

— И чего не спится? Чего вскочил как угорелый? — сердито выговаривала ему мама.

— Не простил бы себе — проспать такое утро. Отец-то, думать надо, давно уже на ногах?

— Так ему, старику, что... У стариков сон беспокойный. Кур кормит.

Юра выпил кринку молока.

— Космическая пища. Понимаешь, мама, сегодня я должен перед школьниками выступать. Волнуюсь чего-то...

— И-и, выступишь. Много ли им надо...

— Много, много, мама. Волнуюсь ведь, а? Вот штука.

Позвонил Лев Михайлович, сказал, что в школе нет подходящего помещения, а встретиться с космонавтом хотят учащиеся и других школ, и потому встреча состоится в городском Дворце культуры.

Юра положил трубку.

— Вот видишь, сколько их будет. Растерзают они меня.

Он с особенной тщательностью гладил брюки и рубашку, заглянул в зеркало — ладно ли висят ордена.

— Ну, пошел я...

Мы столкнулись с ним на пороге.

— Понимаешь, Валентин, встреча во Дворце культуры, а я все же в школу хочу зайти. Хочется в своем классе за партой посидеть.

— Проводить тебя?

Он улыбнулся чуть смущенно.

— Ты, Валь, лучше прямо во Дворец приходи. Не обижайся только — блажь такая накатила: хочу побыть в классе один, совсем один.

Он шел в школу, рассчитывая, что в этот ранний час — не было еще и восьми — она пуста, что никого, кроме сторожа, он там не застанет. И ошибся — школа гудела от ребячьих голосов,

пионеры в белых рубашках и красных галстуках сновали из класса в класс. Давно ли сам он был таким — и юрким, и шустрым, и застенчивым? Завидев его, ребята закричали восторженно и радостно, обступили сразу и повели в учительскую. А учительская тоже переполнена.

— Я так и думал,— сказал ему Лев Михайлович,— так и думал, что не усидишь ты дома, придешь раньше. Но, оказывается, не один я так думал.

Лев Михайлович провел Юру в физический кабинет. В маленькой комнате, и без того тесной, повернуться негде было от обилия приборов.

— Кое-что за эти годы приобрели,— рассказывал Лев Михайлович.— Кое-что ребята сами сделали. А это вот узнаешь?

Он вытащил откуда-то из-за шкафа модель самолета с бензиновым моторчиком — одну из тех моделей, что двенадцать лет назад мастерили они, шестиклассники, под наблюдением учителя.

— Все возвращается на круги своя,— сказал Юра и долго держал игрушечный самолетик в руках. Кто знает, о чем думал он в эти минуты, кто знает... Лев Михайлович рассказывал, что больше в физическом кабинете не обменялись они ни единым словом.

Посидел он и за партой в своем бывшем классе, в одиночестве посидел.

...Потом была торжественная линейка у Дворца культуры, где Юре, почетному пионеру, повязали красный галстук, а когда линейка кончилась, ребята стремительно ринулись в зал. Никакие уговоры и окрики вожатых, никакие призывы к дисциплине и порядку не могли удержать их на месте — все спешили устроиться в первых рядах, поближе к сцене, к президиуму. К космонавту поближе.

По-моему, Юра даже немного оробел, когда увидел великое множество раскрытых, устремленных на него ребячьих глаз — это нетерпеливое предвкушение близкого разговора с человеком, на которого теперь так хотелось походить всем мальчишкам и девчонкам.

— Ну что я должен сказать им? — развел он руками, обращаясь к Беспалову.— Ведь их громкие слова не убедят, надо какие-то особенные найти.

— Ты не волнуйся,— пытался успокоить его Лев Михайлович. — Что и как говорить, сейчас станет ясно. Ребята такой народец — сами подскажут. У них к тебе тысяча вопросов.

Так оно и вышло: вопросов у ребят оказалось столько, что, если бы привести все их здесь, если бы и Юрины ответы на них

привести, много новых страниц прибавилось бы в книге.

У меня сохранилась стенографическая запись этой беседы Юры с пионерами, но она, к сожалению, оставляет желать лучшего — слишком уж суха, чрезмерно документирована. Лучше я попробую рассказать все так, как мне запомнилось.

Вот поднимается с места мальчуган лет десяти-одиннадцати, заикаясь от волнения, спрашивает:

— Юрий Алексеевич, а вам страшно было в космос лететь?

Зал негодующе гудит. Ребята несогласны: разве может чего-нибудь бояться космонавт?

— Во дал! — слышатся голоса.

— Сядь, Санек, не болтай глупости...

Юра — он вышел из-за трибуны, стоит у самого края сцены — улыбается, поднимает руку, призывая ребят успокоиться.

И говорит то, чего большинство никак не ожидало услышать.

— Пожалуй, страшновато было, ребята. Я думаю, что людей, которые ничего бы не боялись, на свете нет. Тут ведь что главное: уметь перебороть в себе страх. Так вот, когда мне стало страшновато, я сказал себе: стоп! Успокойся! Возьми себя в руки! Проверь, как ты подготовился, как подготовлена техника. Раз ты идешь на дело, которое очень нужно Родине, значит, не имеешь права, не должен бояться. Вы согласны со мной, ребята?

— Согласны,— дружно отвечает зал.

И новые сыплются вопросы:

— Юрий Алексеевич, как можно стать героем?

— Каким должен быть настоящий человек?

— Кому из героев или великих людей вы подражаете?

Юра, что называется, разговорился — обстоятельно отвечает на каждый вопрос и непременно с шуткой, с какими-нибудь веселыми подробностями. И ребята вместе с ним дружно смеются каждой шутке, а беседа становится совсем товарищеской.

— Вы были пионером, Юрий Алексеевич?

— А как же! Был, конечно, был. И знаете, ребята, все самое лучшее в моем детстве связано с этими годами. У нас очень хорошая организация была. Мы и в художественой самодеятельности выступали, и в дальние походы ходили, и сено убирать помогали колхозу. А еще — строили модели планеров и самолетов, читали вместе книги о Чкалове, о летчиках-героях. Тогда, ребята, и задумал я стать летчиком. Из вас многие хотят быть летчиками?

— Многие,— слышны голоса.

— Все хотим! — кричат из зала.

Юра улыбается. Конечно, в этот день всем ребятам, кто пришел на встречу с ним, хотелось обязательно стать летчиками.

— Есть замечательная мысль,— вполголоса говорит мне Лев Михайлович.— Надо создать школу юных космонавтов, и Юрия Алексеевича попросить шефствовать над нею. В Гжатске такая школа должна быть обязательно. Как думаешь, согласится Юра взять шефство?

— Вам виднее,— отвечаю я.— Ваш ученик, все-таки... Думаю, согласится. А вы спросите у него сейчас. При всех спросите... Тут-то он не сможет отказать...

— Так и сделаем,— хитро щурит глаза Беспалов.

Подняла руку худенькая девочка в веснушках — она сидела в первом ряду.

— Юрий Алексеевич, можно вас спросить: а мы... а женщины в космос будут летать?

Вот когда наступила в зале тишина. По-моему, не только девочки — сверстницы пионерки, задавшей вопрос, но и взрослые наставницы их, вожатые отрядов и дружин, с волнением ждали, что же ответит космонавт. Ждали ответа, затаив дыхание, и мальчики. Только один, побойчее других, не выдержал:

— Еще чего выдумали!.. Девчонки — в космос!..

— А я уверен, что полетят. Наверняка полетят,— ответил Юра.

Ох какие после этого загремели в зале аплодисменты, как долго не утихали они.

А на вопрос, о чем он мечтает, Юра ответил:

— О многом. Мечтать должен каждый. Владимир Ильич Ленин призывал учиться мечтать, потому что без мечты нет движения вперед. И главная моя мечта — еще и еще летать в космос.

Встреча со школьниками, с красногалстучной ребятней высветлила его изнутри. Я смотрел на Юру и видел, как по-хорошему взволнован и растревожен он.

Мы возвращались домой, и он не уставал повторять:

— Какие замечательные ребятишки растут, какие великолепные мальчишки и девчонки!

Он очень любил детей.

Опережая события, скажу, что школа юных космонавтов, мысль о которой родилась во время этой встречи во Дворце культуры, вскоре была создана в Гжатске. Руководил этой школой Лев Михайлович Беспалов — первый «летный» наставник Юры.

И сохранились десятки любительских фотографий, на которых Юра снят в окружении юных «космонавтов». Теперь уже эти ребята окончили и среднюю школу, и институты. И как знать, может быть, кто-то из них сейчас уже на пути к тем тропинкам в Звездном городке, по которым ходил наш Юра.

А вот в Клязьму, в дом своей тетки Марии Тимофеевны, Юра попал раньше, нежели в Гжатск. Было это, вспоминает Надя Щекочихина, второго мая, то есть сразу же по его возвращении из Чехословакии.

День стоял хороший, теплый, легкие облака там и тут пятнали небо... Надя сидела в комнате — кормила годовалого сына. Домашние работали во дворе — вскапывали землю под грядки. Вдруг раздался крик:

— Надя, приехал! Юра наш приехал!

Надя тотчас выбежала во двор.

Он не один приехал — с Валентиной и, что сразу бросилось всем в глаза, одет был в гражданское: легкое габардиновое пальто, популярные в то время остроносые туфли.

Кто-то не удержался — заметил вслух: — Юра, туфли-то на тебе какие модные!

— Да вот, пришлось надеть,— явно чувствуя себя не в своей тарелке, тихо отозвался он и, смущенный направленными на него взглядами, сбросил пальто, выхватил у кого-то из рук лопату, с маху воткнул ее в землю.— А ну, кто хочет силами помериться?

Каждый квадратный сантиметр крохотного участка, каждый уголок во дворе дома были знакомы ему до мелочей: ремесленником, десять — двенадцать лет тому назад, усердно вскапывал он эту же землю... И теперь Юра ожесточенно налегал на лопату, рискуя испортить модные ботинки. Однако у родственников трудовой энтузиазм космонавта одобрения не вызвал: им не терпелось увести его в квартиру, усадить за стол, тем более что день — праздничный, и так хочется послушать о полете на «Востоке». Двенадцатого апреля видели его на экране телевизора, четырнадцатого — встречали во Внукове, но то все — издали, на расстоянии. А тут — рядом, собственной персоной.

Снедаемые жадным любопытством, отняли у Юры лопату, под руки повели в избу.

Однако укрыться в четырех стенах не удалось. Слух о том, что в поселок приехал космонавт, с быстротой молнии обежал все улицы и переулки. Тут многие знали Юру, помнили его и в гимнастерке ремесленника, и в черной шинели учащегося индустриального техникума, и в тужурке военного летчика...

Перед крыльцом теткиного дома собралась огромная толпа: все хотели увидеть и услышать космонавта, ведь не прошло еще и трех недель после полета. Какие-то добры молодцы прикатили к дому — под веселые подначки и понукания — громадный камень. И где они разыскали такой? Юрия попросили подняться на этот,

как в шутку выкрикнули из толпы, «постамент» и сказать речь.

Он и сказал о том, что благодарен Клязьме за то тепло, которым был одарен в своем детстве и отрочестве.

Слушатели были в восторге, но, разумеется, речь показалась им чересчур лаконичной. Посыпались вопросы, все те же — о самочувствии на орбите, о том, когда полетит следующий, и о том, сколько у нас космонавтов, и годится ли его «Восток» для новых полетов?

— Годится,— с уверенностью ответил Юра.— К такому выводу единодушно пришли ученые, знатоки, и об этом написано во всех газетах. Космонавтов у нас достаточно — об этом тоже в газетах пишут, и мой «Восток» — не единственный корабль, пригодный для выхода на орбиту.

После этого выступления атаковали Юру любители автографов. За стол он садился усталый, но шутить не перестал.

— Голодный я, боюсь, не прокормите.— И, вздохнув, признался: — Там, на орбите, и думать не мог, что будет все это: митинги, речи, выступления. А зачем оно? Мы же работаем, как все работают. Надо бы потише, поскромнее...

Подмигнул Александру — мужу Нади:

— Щавелем с грядки будешь угощать? Или цветами?

И все за столом рассмеялись, поняв, о чем идет речь. На одной из грядок домашнего огорода каждую весну поднимался, ярко зеленел щавель. И однажды, случилось за год до полета в космос, Юра и Валя рвали этот щавель, а Саша взял да и сфотографировал их. В апреле 1961 года снимок опубликовала одна газета, снабдив его таким примерно лирическим текстом: может, и там, на орбите Земли, космонавту вспомнилось, как во время отдыха собирали они с женой цветы... А рвали-то не цветы — рвали щавель в суп.

Да так ли уж это существенно: цветы или щавель?

ГЛАВА 5
Командир отряда

В кругу товарищей

Мне частенько приходилось наезжать в Звездный при жизни Юры. Нередкий гость в этом городе я и сейчас.

Космонавты, как правило, люди честные, открытые, щедрые на проявления чувств. Когда и где ни встречался бы я с ними, вижу, каким уважением, какой любовью окружено в их среде имя Юры, память о нем. И сказывается это порой в самых вроде бы незначительных, неброских на первый взгляд деталях.

Вот лежат в витрине музея погоны майора. Обычные, ничем не примечательные знаки отличия летного офицера. А ведь это те самые погоны, что красовались на плечах брата, когда он шел по ярко-красной дорожке во Внуковском аэропорту. Те самые, холодок которых, припав к плечу мужа щекой, ощутила в тот день Валентина Ивановна. Те самые, на которые упали радостные слезы матери... Позже, получив очередное звание, Юра подарил эти погоны Алексею Леонову. А когда и Алексей Архипович стал подполковником, он, как эстафету, передал их Валерию Рождественскому — молодому тогда космонавту из военных моряков, кандидату на очередные полеты и очередные воинские звания.

Будучи командиром отряда космонавтов, Юра трогательно заботился о своих товарищах, его занимало буквально все: быт космонавтов, нравственная атмосфера в семье, успехи в учебе и технической подготовке. Но забота эта простиралась и дальше, выходя за рамки уставных требований, служебных обязанностей. Неистощимый на веселую, озорную выдумку человек, он многое делал для того, чтобы скрасить товарищам трудности в работе и подготовке к полетам. И сейчас в Звездном с улыбкой вспоминают праздник посвящения в космонавты... Было так. В отряд как раз прибыло пополнение — группа молодых авиаторов. Растерянные немного, ошеломленные тем, что приблизились к кругу стольких знаменитостей, но, в общем-то, славные молодые люди. Тут и осенило кого-то из «старичков», что сломать барьер отчужденности, сгладить неловкость в общении, пригасить застенчивость в ребятах поможет какая-нибудь веселая церемония. Вспомнили о бассейне. Позаимствовали в театре костюмы, бутафорский реквизит. Юре поручили роль морского царя Нептуна, царицу вызвался сыграть Николай Федорович,

партработник, человек не то чтобы склонный к полноте — довольно-таки полный. Другие старички, то бишь космонавты первого набора, составили свиту морских владык, вырядясь один страшнее другого. «Молодых», предупредив, чтобы оделись соответственно, пригласили в бассейн, и — началась кутерьма! Свита схватила под руки одного из кандидатов в космонавты, подтащила к Нептуну, восседавшему на троне с трезубцем в руках.

— Поведай нам, отрок,— постукивая трезубцем, вопросил Нептун,— а каковы волосы у Вероники?

«Молодой» оказался сообразительным.

— У какой Вероники? — в свою очередь полюбопытствовал он.— Назовите фамилию, и я отвечу, какие волосы у этой Вероники.

Перехитрить старичков, однако, не удалось.

— Вероника — созвездие,— строго объяснил с высоты своего трона владыка морей.— Следовательно, волосы у Вероники — звездные. Знать сие надлежит твердо. Что будем делать с отроком, как накажем его? — обратился Нептун к свите.

— В воду, купать!

— Пусть с вышки прыгнет! — загремело в ответ.

Повелитель океанов торжественно поднял руку, указуя на вышку, и, подталкиваемый бутафорскими вилами царевых слуг, новичок покорно двинулся навстречу своей судьбе — прыгать с пятиметровой высоты. В тот день все молодые прошли крещение — никто не миновал купели: кого-то просто, под смех и шутки, раскачивали и швыряли в воду, кого-то приговаривали к прыжкам с вышки, к нырянию. Зато в отряде молодые космонавты сразу же стали своими людьми.

Внимателен был Юра не только к подчиненным по работе, к младшим товарищам: чуткость его, кажется, не знала границ. Вот еще одна деталь. Валентина Ивановна вспоминает: как-то — далеко не в первый раз — наведался к ним Сергей Павлович Королев. Играл с девочками, слушал музыку и признался вдруг, что хочет приобрести магнитофон.

— Ты, Юра,— сказал Сергей Павлович,— вижу, понимаешь толк в таких вещах. Посоветуй, что купить, какой марки? Надо, чтобы музыку не искажал...

Юра любил Королева, как может любить сын отца. И, желая сделать ему приятное, пообещал, что достанет редкостный, необыкновенный экземпляр магнитофона. Увы, не успел: Сергей Павлович внезапно умер. И Юра, потрясенный его неожиданной смертью, вспомнил, терзаясь, и свое не выполненное по случайности обещание.

— Ах как нехорошо получилось, как скверно,— переживал он. — Дал слово — и не сделал...

Дал слово — и не сделал!... Представляю, как это угнетало его, потому что жизненным правилом у брата было такое: коли обещал — умри, а сделай. Помню, однажды в пути забарахлила его машина. Юра поднял капот, принялся за ремонт. Подошли люди из городка. Космонавта узнали. Женщина, не очень уже молодая, измученная, стала рассказывать ему, как трудно растит она детей — одна, без мужа, а тут еще с жильем неувязка, не дают ей жилья, в конец очереди отодвинули. Юра внимательно выслушал женщину, записал ее имя и адрес. «Непременно разберусь»,— пообещал. Через какое-то время я спросил, чем закончилась история этой женщины. «Все в порядке,— ответил брат. — Правду она говорила: нашелся бюрократ — обидел ее с квартирой. Но сейчас она уже новоселье справила...» Он явно доволен был тем, что удалось разобраться в этой запутанной истории, что финал у нее благополучный. Я продолжал наседать: «А если бы тебя не одна женщина остановила на той дороге, если бы десять, сто. Ты со всеми стал бы разбираться?» Он, искренне удивленный, ответил вопросом на вопрос: «А как же иначе? Они, эти люди, избирали меня в Верховный Совет, верили как депутату. Не могу я их обмануть...»

Увлекающийся, неравнодушный к литературе и театру человек, Юра от души радовался, когда открывал в ком-либо из своих товарищей своеобразную «изюминку», талант. Любил Павла Поповича за веселость нрава, за мастерское умение рассказывать живо, с юмором. Поддерживал Алексея Леонова в его тяготении к живописи. И когда вышел в свет альбом рисунков Алексея Леонова и Андрея Соколова, Юра написал в предисловии: «Сейчас все больше художников пытаются отобразить в своих произведениях тему проникновения в космос человека. Но, пожалуй, мало кому из них удалось так близко подойти к космосу, как это сделали авторы публикуемых здесь рисунков. Секрет такой близости прост: автор части рисунков — космонавт Алексей Леонов, первый в мире человек, который вышел из космического корабля в открытый космос, сам стал на некоторое время спутником Земли. Его коллега — художник-фантаст Андрей Соколов, посвятивший свое творчество «изображению космоса»... Необыкновенные пейзажи, увиденные космонавтами и переданные в рисунках А. Леонова, имеют не только познавательное, научное или эстетическое, но и глубокое философское значение. Они показывают, как необычайно многообразна и ярка природа, как расширяются наши представления о Вселенной по мере проникновения в космос

человека. В альбоме реальность и фантазия идут вместе. Без фантазии немыслимо движение вперед. И в рисунках молодого художника Андрея Соколова фантазия как бы не отрывается от реальности...»

Теплым напутствием предварил Юра и цикл сонетов на тему о человеке и космосе, созданный известным украинским писателем Леонидом Вышеславским.

«Дорога в космос открыта Гагариным»,— сказал весной 1961 года Сергей Павлович Королев. Сказал, вкладывая в эти слова, по всей вероятности, свой, особый смысл, потому что всем нам хорошо известно, сколько великих умов открывали эту дорогу. Кибальчич, Циолковский, Цандер, Королев!.. Да разве назовешь всех? Но вот то, что Юра первым из землян преодолел притяжение планеты — это факт неоспоримый.

Потом по этой дороге, торя ее, расширяя, уверенно пошли другие космонавты.

В этой главе мне и хочется рассказать о том, как складывались отношения Юры с товарищами, как строилась его жизнь в Звездном — и на работе, и во внерабочее время. Рассказать в той мере, в коей дают мне на это право собственные мои наблюдения...

Мужество

Самолет обретал крылья в конце прошлого — начале нынешнего столетия. Слабые они в ту пору были, ненадежные, и большое требовалось мужество от летчиков, чтобы поднимать в воздух те самолеты. Имена первопроходцев неба запомнились нам, как запоминаются стихи из детских лет. Овеянные неизбывной славой имена: Нестеров, Арце-улов, Уточкин, Российский, Чухновский... Чтобы водить современные самолеты, отвага и хладнокровие требуются не меньшие, а познания — гораздо больше, нежели те, которыми могли похвастать деды: на голом энтузиазме тяжелую машину от бетонки не оторвешь. Но может ли кто сегодня с такой же уверенностью назвать несколько имен выдающихся летчиков — наших с вами современников? Навряд... Что прежде было уделом одиночек — и тяготы профессии, и людское признание — ныне поделено между тысячами. Профессия авиатора стала массовой, широко доступной, и растаял, сошел на нет ореол романтичности вокруг нее. Это не значит, конечно, что летчик-виртуоз, мастер не будет выделяться среди остальных. Талант рано или поздно заявит о себе — такова логика жизни.

Видимо, и в те, может быть, не столь уже и отдаленные

времена, когда обитатели нашей планеты станут «летать в космос по профсоюзным путевкам», профессия космонавта утратит свою притягательную загадочность. Это, думается, неизбежно. Всего лишь два десятилетия минуло с момента запуска первого искусственного спутника Земли, а число землян, побывавших в заоблачных сферах, превысило цифру восемьдесят. И вряд ли даже самый любознательный школьник, из тех, что спит и во сне себя видит в скафандре и гермошлеме, в состоянии назвать поименно все эти восемь десятков героев. Но, как имена самых первых из первых летчиков, врезаны в нашу память имена космонавтов первого набора.

Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Терешкова, Быковский, Комаров, Беляев, Леонов...

Здесь мне хочется рассказать об одном из добрых товарищей брата — о Павле Беляеве. Не знаю почему, но уже не первый год не дает мне покоя такое ощущение души, что о мужестве, о самообладании и выдержке этого человека не все еще сказано в нашей космической литературе. Что где-то и как-то, непонятным образом, но оказался он в тени.

Подобно Владимиру Комарову, тогда, в год образования отряда, Беляев выделялся из круга молодых и веселых лейтенантов и возрастом, и званием: и лет побольше, и чин повыше. По заслугам: за плечами у Павла Ивановича остались многолетняя служба в авиации Тихоокеанского флота, с отличием законченная Военно-воздушная академия...

Не припомню такого случая, чтобы Юра во время наших встреч назвал мне фамилию космонавта, еще не летавшего. Но зато после того, как его товарищ возвращался из космоса, брат рассказывал о нем много и охотно. А рассказать ему было что! Всех, кто выходил на орбиту вслед за ним, провожал он на космодроме, разве только Германа Титова не смог: гостил на Кубе... И не только провожал своих друзей Юра — готовил их к полету, делясь своим опытом первооткрывателя. И поддерживал с ними связь с Земли... Вспоминая, например, о том, как осваивали программу предстоящего полета на «Востоке-3» и «Востоке-4» в 1962 году Андриян Николаев и Павел Попович, Юра говорил с улыбкой:

— Андриян вообще-то из молчунов, слова не выжмешь, а тут одолел вопросами. И меня и Германа. Таким дотошным оказался. С ним трудней, чем на иной заграничной пресс-конференции, оказалось.

Имена Павла Беляева и Алексея Леонова люди услышали в марте 1965 года во время полета «Восхода-2». Беляев пилотировал корабль, Леонов — первым в мире! — совершил

выход в открытый космос.

Годы подготовки к полету, однообразие тренировок, число которых выражается многозначной цифрой, бесконечность ожидания — все это само по себе подвиг. Подвиг, если жизнь и работа складываются нормально. А Беляеву не повезло на самом старте: во время тренировки, приземляясь с парашютом, сломал ногу. Перелом был сложным, двусторонним. И случилось это за недели до полета Юры. Космонавтов, повторю, в то время было немного, каждый на счету, а тут попал в беду один из самых подготовленных.

Товарищи навещали Павла Ивановича в госпитале, приносили фрукты, книги, утешали, обнадеживали. Больше, чем от физической боли, страдал Беляев от непоправимости случившегося.

— Не хотел бы выбывать из строя — признался он однажды Юре.

Врачи готовили Беляева к сложной операции, предупреждали, что летать после этого он уже не будет. И тут сам Павел Иванович проявил упорство: настоял на другом методе лечения.

— Под нагрузкой,— предложили медики.— Сломанные кости, есть шансы, срастутся, но это долго и мучительно больно.

— Пусть долго и больно, лишь бы летать,— ответил Беляев. За словом «летать» видел он и свое будущее космонавта — будущее, о котором пока не догадывались и врачи.

Он выдержал все: месяцы лежания на госпитальной койке, невыносимые страдания, долгое одиночество в ночи, когда палата пуста, а тебя терзает бессонница... Выдержал — и вернулся в отряд.

Ему и было доверено командовать экипажем «Восхода-2», пилотировать корабль, из отсека которого — в миры Вселенной, в пропасть, в ничто — бесстрашно шагнул Алексей Леонов. Шагнул на высоте пятисот и скорости двадцать восемь тысяч километров в час. Двенадцать упоительных минут плавания в открытом космосе. Двенадцать минут наедине с клубящейся пустотой, с вакуумом. Леонов вышел из кабины корабля над Черным морем, а вернулся в кабину над Сахалином, то есть за безумно короткое время преодолел из края в край все пространства нашей необъятной Родины.

«Восход-2» приземлился 19 марта в двенадцать часов две минуты в районе города Перми.

Планета ликовала: человек смог, покинув корабль, пребывать в необозримых пространствах Вселенной, смог вернуться в свой небесный дом. Следовательно, не так-то уж страшны эти бездонные глубины, следовательно, в будущем можно будет

обжить их, сделать полезными Земле.

За бурей восторгов, за взрывом ликования мало кто придал значение лаконичным строкам из сообщения ТАСС: «Посадка произведена командиром корабля полковником Беляевым с использованием ручного управления».

А за строчками этими скрывалась полная драматизма картина.

«Восход-2» завершил программу полета, когда отказала система ориентации корабля, что, в свою очередь, вывело из строя систему автоматического спуска.

На связи с «Восходом» был Юра.

— Готовьтесь ко второму варианту посадки. Как учили,— не растерялся он, передал команду Беляеву.— Сейчас государственная комиссия передаст, на каком витке начать посадку.

«Второй вариант» и был вариантом ручного управления.

На радиосвязь с «Восходом» вышел Сергей Павлович Королев. Сказал несколько ободряющих слов космонавтам и разрешил посадку на ручном управлении. Все, кто был на командном пункте, замерли в ожидании: столько раз отрабатывалась на тренажерах система ручного управления, но — только на тренажерах... В космосе такая заминка — впервые. Сейчас вся надежда — на умение Беляева, на крепость его нервов.

И Беляев показал самое высокое мастерство: на девятнадцатом витке вручную сориентировал корабль и посадил его. Полет закончился благополучно.

Завидное мужество проявил Павел Иванович — и тогда, после неудачного прыжка с парашютом, и в космосе. Мне приходилось слышать порой наивные, а иногда и далеко не безобидные суждения, вроде таких: «Космонавту что? Сел и полетел, автоматика работает. Вернулся на твердую почву — тут тебе слава, ордена, внимание всеобщее...»

Пусть те, кто, быть может, верит, еще в эти россказни, попробуют поставить себя на место Павла Ивановича Беляева, прожить такую жизнь, какую прожил он...

Позывной «Чайка»

Сперва Юрию Алексеевичу, а вскоре и Герману Степановичу, едва появлялись они на народе, все чаще задавали один и тот же вопрос: «А полетит ли в космос женщина?» Спрашивали об этом не только мечтательные школьницы и экзальтированные пенсионерки... К тому времени в космосе произошло много важных событий: первый спутник — советский, первый человек в

космосе — советский, первый многочасовой полет на «Востоке-2» опять же русским парнем совершен. Потому, наверно, и зрело такое — коллективное, что ли,— желание, чтобы и первой женщиной — командиром звездного корабля стала наша соотечественница.

Дыма без огня не бывает. Энтузиасты мечтали — ученые думали. И их воображение занимало воздействие космической среды на женский организм.

Весной 1962 года в Звездный прибыла группа девушек — кандидатов в космонавты.

Времени для занятий отводилось им в обрез: девчат уже на следующее по прибытии утро отправили в классы, в залы для тренировок. К их чести, занимались девушки с таким прилежанием, что по теории вскоре мало в чем уступали мужчинам. А осваивать управление кораблем на тренажерах помогало им то обстоятельство, что все они были спортсменками, совершили не по одному десятку парашютных прыжков.

Упорство и прилежание девчат были объяснимы: им так хотелось слетать в космос. Но и среди самых талантливых учениц особой настойчивостью отличалась ярославская ткачиха Валентина Терешкова.

Ее работоспособность — в классе, на тренажерах, на спортплощадке — не укрылась от Юры. Понравилось и ее жадное внимание к лекциям преподавателей, к его и Германа рассказам о космосе. И когда однажды зашла речь о том, кому из девчат в первую очередь можно будет доверить штурвал звездного корабля, Юра сказал главному конструктору:

— Пожалуй, лучше всех подготовлена к полету «Чайка».

— Какая «Чайка»? — удивился Королев.

— Валя Терешкова,— рассмеялся Юра.— Так мы с ребятами ее прозвали.

— А почему именно «Чайка»?

Не знаю... Может, потому, что с Волги она, а там чаек много... Красивая птица...

Сергей Павлович, подумав немного, согласился:

— А что — позывной подходящий. «Чайка»! Надо подумать.

11 августа 1962 года в небо поднялся «Восток-3», ведомый Андрианом Николаевым. Сутками позже на орбиту вышел «Восток-4» с Павлом Поповичем на борту. «Правда» на первой полосе опубликовала статью, подписанную Юрой: командир отряда космонавтов подробно рассказывал о своих товарищах, чьи имена только услышал мир, писал о том, как велико значение первого группового полета в космосе.

Минули месяцы, и на орбиты, проложенные Николаевым и

Поповичем, вышел второй групповой десант космических кораблей. Вывели их пятый и шестой «Востоки» — Валерий Быковский и Валентина Терешкова. И снова мир потрясен: женщина в космосе! «Впервые в истории человечества!», «У советских небесных братьев появилась звездная сестра», «Восток-6» ведет женщина — первая на земле женщина-космонавт» — такими и подобными им заголовками пестрят страницы зарубежных газет. «Женщина в космосе — где это слыхано, где это видано? Раньше у нас, в Германии, да и в других странах считали, что женщины умеют только рожать и воспитывать детей»,— на страницах газеты «Известия» делится своими мыслями знаменитая немецкая писательница Анна Зегерс. «Женщина в космосе! Какая ошеломляющая новость! — вторит ей Эжени Коттон, популярная деятельница международного женского движения. И добавляет: — ...Я бы тоже хотела полететь в космос от радости... Беспримерный подвиг Валентины Терешковой является венцом всех достижений наших замечательных советских подруг».

И снова в газетах появляется статья Юры «Девушка из нашего отряда», организованная и распространенная АПН. Первый космонавт писал о Терешковой:

«Я знаю эту чудесную девушку немногим более года, но мне кажется, что мы знакомы с детства. Она... могла быть моей соученицей в ФЗУ, сидеть рядом на скамье в индустриальном техникуме, потому что она — наша современница. Когда Валя пришла к нам, мы все ее очень полюбили: не только летчики, инструкторы, но и наши жены. Она вошла в нашу жизнь, как входят в родную семью,— просто, без рисовки, с твердым желанием усвоить уже сложившиеся традиции и, если удастся, внести нечто новое, свое...

Внимательная и упорная, она не скрывала своего огорчения при неудачах, но не поддавалась настроению...

Космонавт — это не только смелость, на одной удаче далеко не уедешь. Космонавт — это знание, умение. Я много наблюдал за ней на занятиях в классе... Ей трудно было постичь ракетную технику, изучить схемы и оборудование корабля. Но она упорно трудилась, много отдала учебе личного времени, занимаясь по вечерам. Не стеснялась обо всем спрашивать у преподавателей, у космонавтов, уже летавших и еще не летавших...»

Угас день 16 июля 1963 года — день запуска «Востока-6», наступило утро семнадцатого. И этот день сошел на нет, а «Восток-6» все так же плыл над Землей, и в эфире время от времени звучало: «Я — «Чайка»! Самочувствие отличное, системы корабля работают нормально...»

Звучал позывной, подаренный Валентине Владимировне Юрой.

Букет гвоздик

В апреле шестьдесят седьмого Юра с Валей и дочками приехали в Рязань. Брат сам был за рулем «Волги», немного заблудился: вместо улицы Ломоносова попал на улицу своего имени — Гагарина. Там спросил дорогу у милиционеров, и, хотя был в цивильном и глаза упрятаны за светозащитными очками, милиционеры узнали его. Сразу же с кем-то связались, к моему дому Юра подъехал, сопровождаемый эскортом милицейских машин, и через порог первым переступил опять же не он — милиционер. Я как раз сидел обедал.

— Желаете видеть брата? — строго спросил милиционер.

— Какого? — не понял я, выскакивая из-за стола. А Юра уже стоит за спиной у блюстителя порядка, смеется громко:

— Что, Валентин Алексеевич, напугали мы тебя? Признайся, не ждал...

И, проходя в комнату, предупредил:

— Вырвался вот ненадолго, примешь? На день, от силы — на два. Работы — непочатый край...

Слова эти несказанно огорчили и меня, и жену, и дочерей, которые очень любили своего дядьку. Я понимал, что уговаривать бесполезно, но все же невесело пошутил...

— Работа не волк...

Знаю, знаю: в лес не убежит,— весело перебил меня Юра.— Оправдание для тунеядцев, для лодырей.— И, сразу став серьезным, сказал:— Намечается у нас вскорости одно дело, я должен быть там, на месте. Ну, а пока я здесь — давай прикинем, как поплотнее, с толком прожить эти дни.

О приездах Юры в Рязань мне предстоит рассказать отдельно. Тут оговорюсь только, что прогостил он в нашем доме недолго, к тому же из Москвы поторопили его с возвращением, и уезжал он, запомнилось, серьезным, озабоченным. Спешил навстречу тому «делу», о котором обмолвился в первые минуты нашей встречи.

Как стало ясно чуть позже, он имел в виду полет Владимира Комарова на «Союзе-1».

Нужно сказать, что Сергей Павлович Королев, отличаясь постоянной ровностью в отношении ко всем космонавтам, не жалуя, во всяком случае внешне, кого-либо из них особой любовью, питал явные симпатии к Владимиру Михайловичу Комарову. Не берусь судить досконально почему, но некоторые

свойства характера космонавта позволяют найти ответ на этот вопрос. Комаров — военный летчик, инженер с академическим образованием — был опытнее, старше большинства своих товарищей по отряду, отличался ровностью натуры, пытливым, аналитическим складом ума. Главный конструктор неоднократно вслух высказывал мысль о том, что если на первом этапе освоения Вселенной корабли в небо могут поднимать космонавты из числа вчерашних летчиков-истребителей, то в недалеком будущем космические полеты станут делом ученых. Потому-то Сергей Павлович так настойчиво рекомендовал Юре и его товарищу учебу в академии. Потому и ценил и отличал Комарова, видя в нем талантливого инженера, человека с явными задатками ученого.

Примечательно: еще до того как подняться Юре на «Востоке», главный конструктор предупредил Комарова, что на него будет возложена особая, и очень серьезная, миссия в освоении космоса.

Брат тоже не просто уважал — любил Владимира Михайловича. «Какой красивый человек,— восхищался он.— Ему все к лицу: рабочий комбинезон, шлем летчика, скафандр космонавта...» Они дружили, хотя и не были ровесниками: оба рожденные в марте, но с разницей в семь лет... Случалось, что Юра, став слушателем Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, забегал по вечерам к Комарову: «Беда, Володя: задачку тут нам подкинули — никак не разгрызу...»— «Давай попробуем,— спешил на помощь Комаров.— Знаешь небось: ум хорошо, а два лучше... »

В октябре 1964 года Владимиру Комарову вместе с ученым Константином Феоктистовым и врачом Борисом Егоровым и довелось осуществить ту серьезную миссию, о которой задолго до того говорил главный конструктор: двенадцатого числа они подняли в суточный испытательный полет «Восход». Это был совершенно новый космический корабль, во многом отличный от своего предшественника «Востока»: трехместный, с массой сложных приборов на борту, с резервной тормозной двигательной установкой, способный к мягкой посадке на Землю. То есть корабль обладал многими качествами, о которых можно было сказать так: подобное достигнуто впервые. Впервые, кстати говоря, команда работала в нем без скафандров. Впервые космонавты не испытали огромной перегрузки при взлете, и это позже объяснили тем, что для каждого члена экипажа рабочие кресла были отлиты строго по форме тела.

В течение суток, пока «Восход» был на орбите, Юра не покинул пункта управления даже для того, чтобы освежиться коротким сном. Он поддерживал постоянную связь с Комаровым,

радовался тому, что «Восход» послушен не только автоматическому, но и ручному управлению: Владимир Михайлович ориентировал корабль по Земле, по Солнцу, по звездам — все получалось отлично.

Позже, когда космонавты вернулись в Звездный, Юра жадно расспрашивал Комарова именно об этом — о переходе с автоматического на ручное управление. Его занимала каждая мелочь, даже, казалось бы, самая несущественная, потому что он и сам собирался в новые полеты и постоянно готовил себя к этому — и в теории, и физически. Да, тут я о мелочах... «В космосе мелочей не бывает,— приходилось слышать от брата, и не единожды слышать.— Никаких: существенных или несущественных. Космос — дело серьезное».

Небесное путешествие «Восхода» с тремя исследователями на борту и для привыкших к сенсациям специалистов оказалось явлением незаурядным. Известный американский астронавт Скотт Карпентер сделал следующее заявление в печати: «Я не был бы слишком поражен, если бы два человека были посланы наверх, но три — да! Это великий подвиг. Русские, кажется, всегда делают то, чего мы не ожидаем». Академия наук Соединенных Штатов Америки подчеркнула в поздравительной телеграмме, что успешный запуск космического корабля с тремя членами экипажа является новой эрой в исследовании космоса.

Пятью месяцами позже именно на «Восходе» с порядковым номером 2 и совершили свой беспримерный полет Павел Беляев и Алексей Леонов, полет, увенчавшийся выходом человека в открытый космос.

...И вот апрель 1967 года — теплый, солнечный. Это было время, когда расцвета достигли не только пилотируемые человеком корабли, но и мощные станции, летящие в заоблачных высотах по заданной программе. В феврале 1966 года на Луне, в районе Океана Бурь, опустилась автоматическая станция «Луна-9». И мы, живущие на Земле, впервые увидели панорамные снимки с поверхности вечного спутника нашей планеты. В апреле искусственным спутником Луны становится автоматическая станция «Луна-10», чуть позже выходят на ее орбиту «Луна-11» и «Луна-12». В декабре мягкую посадку на Селене совершает «Луна-13». Целый каскад сложнейших аппаратов, подчиненных воле человека!... В том же году станции «Венера-2» и «Венера-3» достигают пределов одноименной планеты, помогая приоткрыть завесу тайны над этим загадочным, издавна волнующим воображение человека небесным телом.

Увы, радость побед в космосе омрачалась тяжестью потерь: в январе 1966 года не стало Сергея Павловича Королева. Однако

дело, начатое им, продолжалось. Свидетельством тому был «Союз-1» — сверкающий солнцем на стапелях корабль совершенно новой конструкции.

Испытать его и предстояло полковнику инженеру Владимиру Михайловичу Комарову, опытнейшему из опытных.

И снова Юра находился на пункте управления, и снова разговаривал со своим товарищем. Владимир Михайлович докладывал с орбиты, что корабль ведет себя превосходно, системы управления — автоматическая и ручная — работают безотказно.

На девятнадцатом витке, выполняя команду с Земли, Комаров включил тормозную установку. И вскоре связь с ним оборвалась... Космонавт погиб почти у самой земли: отказала парашютная система.

...Бывают люди, которых невозможно не любить. Именно к таким относился Владимир Комаров: его запомнили, его окружили всенародной любовью еще в те часы, когда находился на орбите «Восход». Гибель Владимира Михайловича оплакивала вся страна.

Юра стоял возле урны с прахом героя, в кругу своих товарищей-космонавтов, и никто из них не скрывал слез. Что вспоминалось в эти минуты Юре? Может, долгие часы предполетной подготовки, занятия в классах и на тренажерах. А может, короткий разговор перед последним взлетом Комарова. «Знаешь, почему нас в космосе так тянет на Землю?»— спросил Владимир. Михайлович. «Почему?» — «Дети... Наши дети ждут нас на Земле...»

Многим, наверно, запомнилось, как к скорбной урне подошла немолодая женщина с букетом алых гвоздик. Это была вдова Валерия Павловича Чкалова — Ольга Эразмовна...

А жизнь продолжалась. Полет Комарова на «Союзе», оплаченный так дорого, не прошел бесследно. Именно на «Союзе» были совершены многосуточные путешествия в космосе. Именно «Союз-19», один из серии, ведомый Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым, совершил в июле 1975 года стыковку с «Аполлоном», экипаж которого составляли Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон...

* * *

Заключая эту главу, хочу напомнить, что и в должности командира отряда Юра, наравне с другими космонавтами, посещал классы и занимался на тренажерах: сам учился по

обязательной для всех программе и других учил. В эти же годы был он слушателем академии и с отличием защитил диплом: было это 18 февраля 1968 года, в канун 50-летия Советских Вооруженных Сил, и Юра очень рад был тому, что совпали два праздника — День Советской Армии и его личный... Вел он и большую общественную работу. То есть, если хотите, трудился — на твердой земле — с космическими перегрузками.

И, сверх всяких норм, находил время для литературы, не только для чтения — для писания книг тоже.

ГЛАВА 6
У Шолохова

1

В 1967 году Юра гостил в Вешенской, у Михаила Александровича Шолохова. Стояла та пора, которую обычно называют «макушкой лета»: июль, знойные, с раскаленным добела солнцем в зените, полудни, коротко обрубленные тени деревьев, парная вода в тихом Дону.

И получилось так — кто-то не без умысла устроил,— что в то же самое время к Шолохову, по инициативе ЦК комсомола, приехала группа молодых писателей. Наших, отечественных, и из социалистических стран. Юра сразу оказался в обществе людей веселых и любознательных, общение с которыми доставляло ему откровенное удовольствие. Да и разницы в возрасте меж ними не ощущалось: молодые литераторы в большинстве своем были сверстниками Юры.

Михаил Александрович, встретив космонавта, заключил его в объятия, расцеловал и, отступив на шаг-другой, хитровато щуря глаза, заговорил словами старого Тараса из незабываемой повести Гоголя:

— А ну-ка, повернись, сынку, дай поглядеть на тебя — богатыря небесного...

Эти слова, ласковое внимание писателя растрогали Юру. Столько светлого и доброго в нашей семье связано было с именем Михаила Александровича Шолохова, со страницами его книг.

Первой из шолоховских книг вошла в наш дом «Поднятая целина». Не скажу теперь точно, откуда, с какой полки — библиотечной ли, магазинной — попала она к нам. А было это, думается, поздней осенью или зимой 1947 года, вскоре после моей демобилизации из армии. Память рисует мне такую картину. Вечер, тихий свет керосиновой лампы плавает в избе, не доставая углов. Юра с Борей сидят за столом, готовят уроки на завтра. Обстановка для занятий не очень-то подходящая: в избе грохот, перестук молотков — хоть уши затыкав, падают и падают удары на примитивные наковальни из обрубков рельсов. Время тяжелое, засуха и неурожай голодом прокатились по стране, а жить-то надо. И не просто жить — надо кормиться. Семья у нас немаленькая, эвон сколько ртов... А тут отец — то ли вызнал где, то ли услышал от кого, но заявился однажды с новостью: мол, на

базаре большим спросом пользуются металлические цепи — покупают их привязывать скотину, собак. Раздобыл батя мягкой проволоки, наладил паяльник, втянул меня в компанию, и застучали мы молотками — целую неделю куем эти треклятые цепи, вяжем звенышко к звенышку, чтобы в воскресенье снести товар на рынок. «На выручку прикупим картошки, а то и муки — тогда оживем,— вслух мечтает отец.— Мальцов наших подкормим малость, а то смотреть на них больно: одни уши торчат».

Приходит с работы мама и, наскоро перекусив, садится в стороне от ребят, но поближе к столу, к свету лампы. В руках у нее, вижу, какая-то книга. Мама раскрывает ее, углубляется в чтение.

У нас с отцом своя грамота: все стучим молотками, и в голове уже звенит.

И вдруг я слышу не то приглушенное, сдавленное всхлипывание, не то короткий смех. Смотрю на маму: лицо ее грустно. От бати тоже не ускользнуло: задержал в воздухе поднятую с молотком руку.

— Ты чего, Нюш?

— Да как же, Лень,— отрывается мама от книги.— Занятно уж очень. Шолохов, читаю вот, про то время пишет, как колхозы создавали, про тридцатые годы. Там, на Дону, точь-в-точь все, как у нас в Клушине или в Шахматове, было.

— А как же иначе? Везде оно одинаково. Слезы-то чего точишь?

— Да так,— замялась мама.— Шаночку вот вспомнила.

— Какую еще Шаночку?

В мамином голосе — отчетливый укор отцу:

— Забыл ведь уже... Тебе-то, конечно, твой топор дороже коровы был. А была бы Шапочка теперь у нас — нешто знали бы мы голод?

И, не столько к отцу, сколько к нам — ко мне, к Юрке с Борисом адресуясь, рассказывает мама, что, когда поженились они с отцом, родственники с той и другой стороны, объединив усилия, подарили им телку. Со временем выросла из той телки корова Шаночка: столько давала молока, что ни у кого в селе больше не было, а уж такой ласковый и понятливый нрав имела — ни в сказке сказать, ни пером описать...

— Бывало, в горькую минуту приду к ней, припаду к боку ее теплому, выговорюсь, выплачусь— на душе и полегчает,— вспоминала мама.

— А сколько мячиков из ее шерсти тебе, Валентин, да Зое скатано было. Тогда ребятня только в такие мячики и

забавлялась, в самодельные... Вот Шолохов-то про то же самое пишет, про то, как тяжко мужику да бабе со скотиной было расставаться, на общественный двор ее вести... Понимает крестьянскую душу.

— А Шаночку тоже отвели? — почему-то шепотом спрашивает Юра: он сидит над развернутой тетрадью, опустив ручку в пузырек с чернилами, а мыслями, конечно, там, в тех годах, куда увлекла нас своим рассказом мама.

— Отвели, сынок,— вздыхает она.— А как иначе? Всем миром голосовали за колхоз, миром и постановили: собрать животину на общем дворе. Жаль было, а понимали: не сломав старую жизнь, новой не построишь. Федор Бирюков, сосед наш клушинский, его тогда в председатели выбрали, как раз меня встретил, когда я Шаночку на колхозный двор вела. «Что, Анна,— интересуется,— поди, всю ночь в подушку проревела?» — «Проревела,— отвечаю, — угадал ты...» — «А чего угадывать, моя баба тоже всю ночь глаз не сомкнула, опухли, как и у тебя...— Федор мне. И предлагает: — А чтобы тебе дальше не реветь, ступай ты, Анна, дояркой на артельный двор, все к своей красавице ближе будешь».— «А и пойду»,— согласилась. Так и закрепилась на ферме, прикипела к этому делу.

— Помню и я Шаночку,— признается отец, запаливая самокрутку.

И снова мы звеним по наковальням, а мама медленно переворачивает страницу за страницей, читает «Поднятую целину». И вдруг заливается неудержимым смехом.

— Ой, Щукарь-то, Щукарь,— приговаривает.— Вот старичок — совсем как наш дед Калугин. Тот тоже весь мир потешал. Надо же, как совпадает.

Отец ворчит недовольно: хватит, мол, тебе, не отрывай нас от работы.

Воскресным утром, свалив слабо потинькивающие цепи в осьминный мешок, кряхтя и сгибаясь под его тяжестью, отец уходит на рынок. Возвращается к вечеру, аккуратно свернутый мешок несет под мышкой.

— Продал цепи? — радостным криком встречает его Бориска: надеется на гостинец.

— Черту лысому они нужны, твои цепи! — бранится отец.— Шупать — шупали, а купить ни единая душа не пожелала. Нет, плотницкое дело надежнее, теперь меня не проведешь.

— А где же они, цепи-то?

— В яму помойную выбросил.

У отца всегда так: резать — только наверняка.

Насупленный, туча тучей сидит на скамье, дымит махоркой.

Расстроен неудачей, тоскует от безделья: руки за эти дни привыкли к ежевечернему занятию, а сейчас вот — нет им занятия. После ужина вдруг говорит матери:

— Нюш, где там эта книжка-то? Ну, про колхозы, читала ты еще...

— «Поднятая целина», что ли?

— Она самая... Давай-ка мы ее семейно прочтем.

Зрение у отца слабое, да и грамоте не шибко учен, поэтому читать книгу выпадает на нашу долю: матери, мне, Зое, если не задержится на работе. Юра тоже подключился — читал вслух и с уроками спешил разделаться загодя, чтобы не пропустить ни страницы из захватывающего шолоховского повествования.

Дальше — как в той цепи, звенышко к звенышку лепили. Одолев «Поднятую целину», всякими правдами и неправдами искали «Тихий Дон». Хорошей книжкой разжиться в то время было так же трудно, как и сейчас. Печатали-то меньше. Но одно для меня несомненно: книгами, этим хлебом духовным, соседи, просто знакомые делились в то время охотнее, нежели это случается ныне. Почему? Может, по той простой причине, что недоставало хлеба насущного. А может, и по той, что тогда, в пору лишений, вскоре после завершения тяжелейшей из войн, с особой обостренностью ощутили мы потребность в правдивом писательском слове...

Раздобыли мы и «Тихий Дон» и тоже читали вслух, семьей (я уже говорил, что как раз в эти годы — Юра учился в пятом-шестом классе — чтение по кругу, вслух заменяло нам все: театр, которого вовсе не было в городе, кино, которое шло от случая к случаю, телевизор, о возможности существования которого мы тогда и не догадывались). Читали, и отец приговаривал, завороженный:

— Гляди-ка, гляди, все по правде, и у нас в гражданскую то же самое творилось.

А однажды, взволнованный, разговорился:

— Про мятежи вот Шолохов пишет, про судьбу Григория Мелехова... У нас-то, в восемнадцатом, когда кулаки да попы долгогривые мятеж организовали и Ивана Ивановича Сушкина убили, такая же история приключилась. Меня да братца Савелия тоже в кулацкое войско мобилизовали, как и всех прочих крестьян, от подростков до стариков. Силком, под ружьем погнали. Савелий-то уже мужиком был, женатый, а я мальчонка, по шеснадцатому году. Собрали нас, войско голоштанное, со всех деревень и загнали в дырявый сарай. Подкулачников в сторожа к нам приставили, а они изгаляются над нами, грозят: мол, утром в церкви на верность нашему делу присягнете — тогда освободим,

в строй поставим. Надеялись, значит, на церковную присягу. Только зря надеялись: ночь пришла — всем дорогу указала. «Тут, братец, паленым пахнет, можно и головы не сносить,— сказал мне Савелий.— Давай-ка, Ленька, в бега налаживаться». Отодрали мы доску с глухой стороны сарая и ушли. За нами и остальные разбежались, потому что не с руки нам, нищете, голи перекатной, кулаков поддерживать. Хоронились мы по овинам, пока не подавили их...

Так в послевоенные годы вошел в нашу жизнь Михаил Александрович Шолохов. Не просто вошел, полюбился, а больше: сгладил долгие и голодные вечера, сблизил всех, открыл нам в биографиях родителей то, чего мы при других обстоятельствах, может, и не узнали бы никогда.

Со временем прикоснулись мы и к «Судьбе человека» и тоже, сами пережившие ужас фашистской неволи, поняли и почувствовали всю трагедию Андрея Соколова и все величие его души.

Помню, заезжий корреспондент поинтересовался у мамы, кому из современных литераторов отдает она предпочтение.

— Михаила Александровича Шохолова люблю,— не раздумывая ответила мама.— Всех, о ком писал он, по именам-отчествам помню, как близких родственников или дорогих соседей. Люблю за правду.

Мне неизвестно, делился ли Юра с Михаилом Александровичем воспоминаниями детских лет. Как-то не догадался в свое время спросить... Знаю, что в те дни, которые прожил брат в Вешенской, они часто и надолго оставались вдвоем, с глазу на глаз — писатель и космонавт, что вместе купались в Дону, рыбалили, уходили в степь любоваться закатом. Конечно, о чем-то самом задушевном, самом сокровенном беседовали они.

Когда Юра уезжал, прощались когда, Михаил Александрович снова обнял его:

— Береги себя, Юра, очень прошу, береги. Нужен ты людям, всем нам очень нужен...

2

Я уже, кажется, говорил, что в Юре жил пристальный, жадный интерес к миру литературы, ко всему, что связано с ним. Вовсе не случайно получал он хорошие и отличные оценки за изложения и сочинения, знал наизусть множество стихотворений, не случайно курсантом в Оренбургском училище бывал на занятиях

литературного объединения.

Став космонавтом, он и сам ощутил тяжесть пера, тяжесть писательского труда. Несколькими изданиями увидела свет его книга «Дорога в космос», созданная с помощью корреспондентов «Правды» Н. Денисова и С. Борзенко. В периодической печати постоянно публикуются статьи, подписанные командиром отряда космонавтов полковником Ю. Гагариным. Он активно участвует в журнале «Авиация и космонавтика», редактируемом Германом Титовым, входит вместе с ним в общественный совет журнала «Молодая гвардия». Кстати, Герман Степанович Титов, рассказывая о первом знакомстве с Юрой, вспоминает и его шутку: «Значит, тебя Герман зовут? — спросил он.— А меня Юрий. Давай переквалифицируемся из летчиков в писателей,— весело предложил брат.— А псевдоним я уже придумал, один на двоих: Юрий Герман...» Дружит он, Юра, и с литераторами — знаменитыми и вовсе не знаменитыми, охотно откликается на приглашения выступить в писательском клубе. Наконец, 25 марта 1968 года, за два дня до гибели, ставит свое имя на гранках книги «Психология и космос», написанной в содружестве с ученым В. И. Лебедевым.

Мне доводилось слышать, что известные писатели не отрицали литературного дарования в Юре, убежденно говорили о том, что он должен, обязан писать. Знаю, видел я не раз, как радовался он каждой своей публикации, как охотно дарил свою книгу знакомым и малознакомым людям.

Нет сомнения в том, что встреча и знакомство с Шолоховым оставили заметный след в Юриной душе, что, возможно, и утвердил бы он себя в литературной работе. Но время, безжалостное время: так мало оставалось его в запасе. Считанные месяцы ...

ГЛАВА 7
Два дня в Звёздном

«Очень о всех соскучился…»

Глубокой ночью пробудил меня длинный телефонный звонок. Снял трубку с аппарата.

— Междугородная,— предупредили со станции.— Вас вызывает...

И вслед за тем в трубку ворвался такой знакомый, звонкий голос. Юра!

— Валентин,— звал он,— я только что из дальних далей возвернулся. Ты извини за поздний звонок, но очень я о вас всех соскучился и хочу видеть. По такому случаю объявляю сбор ближайших родственников у себя на дому. Тебе звоню вот, сейчас дам знать и Зое с Борисом. И чтобы никаких отказов, отговорок, а то знаю я вас — тяжелы на подъем стали... Как, принимаешь?

— С чего такая спешка? — запротестовал я.— С нашими желаниями и возможностями ты должен считаться, а?

— Желания у нас одинаковые: увидеть друг друга, а я, повторяю, очень по вас соскучился. Серьезная причина, как мыслишь? — Голос брата, просящий и требовательный одновременно, переполнял трубку, будто бы не дистанция в две с лишним сотни километров разделяла нас, а тонкая фанерная перегородка.— Опять же, мой день рождения вовремя не отпраздновали — так давай задним числом отметим. А если на работе препятствия возникнут — что хочешь делай, изобретай: убеждай, отпрашивайся, возьми отпуск за свой счет, наконец.

И Машу с племянницами не забудь привезти... Ну?

— Сдаюсь,— уступил я его напору.— В Гжатск звонить не надо, пусть себе спят спокойно. Наши и заводские интересы совпадают: завтра я еду туда в командировку. А оттуда — к тебе. Жди! Всех, кого смогу, прихвачу, разумеется...

Маша не смогла подмениться на работе, и у дочерей в школе заканчивалась третья четверть, так что ехать досталось мне одному. Утром 23 марта были мы с Борисом в квартире Юры в Звездном. Вместе с нами приехал наш племянник Юра — сын Зои и Дмитрия.

Оказалось, что Валентины Ивановны тоже нет: приболела, лежит в больнице, а за девочками присматривает ее сестра Мария.

Юра, донельзя обрадованный тем, что его затея с нашим

приездом хоть в какой-то степени удалась, долго извинялся, что день у него все-таки будет занят: предстоят важные встречи, серьезные разговоры, по этой причине на какое то время он вынужден оставить нас.

— А вы, ребятки, не смущайтесь,— с извинительной и доброй улыбкой приговаривал он.— Плохо, конечно, что Вали дома нет — занять вас некому... Так вы сами! Походите по городку, посмотрите, как растем, строимся мы. Обидеть вас никто не обидит — люди здесь добрые, да и знакомых у вас много. Поесть-попить захотите — все найдете на кухне и в холодильнике. Распорядитесь, как пожелаете. А уж вечером мы отпразднуем нашу встречу. Идет? Тогда до вечера!

Уехал Юра.

Позже мы узнали, что в этот день навещал он по своим делам различные учреждения, разговаривал со многими людьми, а затем заехал в больницу и «похитил» из палаты жену. Разумеется, «кража» была совершена не без ведома главного врача.

— Чуткий и отзывчивый оказался человек,— шутил брат, переступая порог квартиры.— Разрешил Валентине самоволку на двое суток.

Так где ты все-таки пропадал? — полюбопытствовал я.

— Когда — сейчас? Катал Валентину по Белокаменной. Весна, воздух пьяный, люди идут, идут — туда, сюда. Много людей...

— Ты не понял меня. Где ты пропадал почти целый месяц? Опять тайна?

— Почему же? Был на космодроме и жил там. Спутники запускали. В газетах сообщалось об этом... Да что мы все о работе, о делах? Давайте к столу, братцы. Ближе, тесней! Валя, где ты шампанское прячешь?

Взял за локти племянника, легонько подтолкнул к столу.

— Что-то ты робеешь, тезка. Смелей надо, смелей. Александр Васильевич Суворов говаривал, что смелость города берет. А ты, слышал, в училище собираешься, погоны примерить хочешь.

Племянник зарделся:

— Собираюсь.

— Так вот, помни о Суворове.

Шумным, беспорядочно веселым — с шутками, со смехом, с песнями — получилось у нас то застолье. Первый тост предложил было Юра за встречу, а мы настояли на другом — за именинника: четырнадцать дней тому назад там, на космодроме, исполнилось ему тридцать четыре года. Валентина Ивановна подарила мужу великолепное охотничье ружье — тульское, автоматическое.

— Скоро опробуем,— пообещал Юра, расцеловав жену. Глаза

его сияли радостью и счастьем.

«Приеду охотиться…»

Они с какой-то резкой отчетливостью отложились в памяти, те двое суток, что провели мы тогда в Звездном. Наполненные праздничной суетой, приподнятостью, они все же не были выходными, праздными днями в жизни Юры: то и дело приходили по делам работы люди, чаще, чем следовало бы, напоминал о себе телефон.

— Куда ж тут денешься? — разводил руками брат и спешил на звонок: у двери ли, по телефону ли.

Внезапно группой нагрянули журналисты из «Огонька». С сотрудниками этого журнала дружба у Юры была давняя, принял он их сердечно. Впрочем, принимать по-другому и не умел... За разговором, за воспоминаниями о том, как сам слетал в космос, как летали в космос товарищи, заметил вдруг, что фотокорреспондент «Огонька» настраивает объектив, прицеливаясь снять его.

— Э нет, так дело не пойдет,— запротестовал Юра.— Расходовать пленку положено с толком. У меня в гостях братья, племянник, сестра жены. Когда-то еще соберемся так, все вместе? Давайте-ка лучше сообща и увековечимся.

И сам, отставив стул, принялся энергично рассаживать нас, то и дело справляясь у фотокорреспондента:

— Так удобно будет? Все в кадр войдут?

Из гостиной перекочевали на балкон — там тоже фотографировались, а потом долго стояли, любуясь деревьями в недалеком лесу, вдыхали запахи талого снега.

— Люблю весну,— сказал Юра.— Дружная она в этом году, напористая...

Снова вернулись в гостиную, и Юра затеял профессиональный разговор с фотокорреспондентом о достоинствах аппаратов, линз, объективов. Показал какую-то диковинную машинку заморского производства. «Великолепная камера, Юрий Алексеевич,— похвалил фотокорреспондент.— Сказочные снимки делает. В умелых руках ей цены нет!» — «Рад бы вам подарить, да нельзя — самому подарили,— пошутил Юра. — В Японии дело было. В отпуск поеду — с собой возьму, обновить чтобы...»

Ближе к вечеру снова прозвенел звонок у двери — как-то на особинку прозвенел, с веселой залихватской удалью.

— Чую, Архипыч идет,— определил Юра, и определил безошибочно: на пороге, одетый в спортивный костюм, с

непонятным свертком в руках, возник Алексей Архипович Леонов. А непонятный сверток в его руках оказался чехлом к тому самому ружью, которым по случаю дня рождения осчастливила мужа Валентина Ивановна. В чехле, при детальном разглядывании, какой-то изъян обнаружился, и Леонов, мастер на всякого рода поделки, взялся его устранить, а теперь вот принес свою работу.

Одевали ружье в чехол — за этим занятием брата и Алексея Архиповича снова взял в объектив фотокорреспондент. А разговор со сравнительных характеристик «Востока», «Восхода» и «Союза» перекинулся — и это понятно: вон как весна за окном играет! — на темы охотничьи.

— В Клепики поедем, Алексей,— предложил Юра.— Заглянем к Валентину в Рязань, обяжем его пристать к нам — и в Клепики!

— Но мы же на лодке собирались, вниз по Волге,— возразил Леонов.

— В Клепики!.. Знаешь, что за край: леса, озера... Жемчужина, диво дивное!

Я знал, что в Клепиковском районе нашей области космонавты уже не единожды охотились и рыбачили, знал, что и Юра приезжал с ними, и обрадовался: значит, вскоре снова свидимся.

— Вам жить веселее,— не без грусти пошутил Борис.— А я вон-он где буду, в стороне...

Юра положил руку на плечо ему:

— Тебя, брат, телеграммой вызовем. Слово!

Леонов не хотел уступить.

— Юра, у нас же уговор был: сорок пять суток на лодке.

— Хорошо,— согласился Юра.— Две недели жертвуем Рязани, месяц — Волге-машутке. Идет?..

Двадцать четвертое марта было воскресным днем. Во время обеда Юра признался:

— Кончаются праздники, братцы. И Валю я должен сегодня в больницу вернуть, и сам с утра на работу выхожу. Мне тут полетать немного предстоит, на пару с инструктором. А вы вот что: поживите-ка еще. Освоились, не чужие. Я вас по вечерам навещать буду, а то говорили, вспоминали, а не все еще вспомнили. Эх, жаль, отец с мамой не приехали...

— Я, Юра, сегодня уезжаю, мне тоже с утра на работу,— сказал я.— А почему ты с инструктором летаешь?

Он нахмурился:

— Программой предусмотрено. И, если честно, с этими разъездами-путешествиями порастерял малость навыки. В авиации как в балете: работают ежедневно. Но инструктор у меня, ребята...— Тут он снова оживился.— С ним не захочешь, а

полетишь. Из штурмовиков, Владимир Сергеевич Серегин. Героя в войну получил!

Кивком показал на потолок. Или выше?..

— Надеюсь, что скоро опять...

Не договорил, но и так понятно: собирается в новый космический полет.

Потом он проводил меня на станцию. Ждали электричку на платформе, и я напомнил о сказанном накануне:

— Так приедешь охотиться?

— Не только охотиться... Мне после этих тренировочных полетов отпуск обещают, так я погостить к тебе приеду. Дней на десять — двенадцать. Примешь?

— Юрка!..

— Ладно-ладно... Это вот тебе в залог. И на память.

Он снял с запястья часы, вложил в мою руку.

— Носи на здоровье.

— Погоди, а ты как же?

— У меня есть. Мне Морис Торез знаешь какие подарил? С годовым заводом,— по-мальчишески похвастался Юра. И слегка смутился: — Да ведь я тебе их показывал.

— Показывал.

Подошел электропоезд, и мы обнялись с поспешностью, и я вскочил в вагон. Двери захлопнулись, отрезая нас друг от друга. Прижавшись лицом к стеклу, я видел, как Юра шел по перрону и прощально махал рукой.

Его часы и сейчас лежат на столе в моей комнате. Время от времени я завожу их и долго наблюдаю за бегом стрелок по циферблату. И тотчас память рисует мне Юру на перроне станции с поднятой в прощальном взмахе рукой...

Во вторник, 26 марта...

Вечером в воскресенье он отвез жену в больницу. В понедельник навестил ее в палате, затем встречался с учеными и конструкторами — разговор шел о будущем космических кораблей, вечером выступал перед работниками Московского горкома партии. Утром во вторник Юра снова заехал к жене. Валя как раз приняла процедуры и вышла в садик.

— Как девочки? — спросила Валя.

— В норме. Здоровы, веселы, с теткой не ссорятся.

Валю его визит приятно удивил. Накануне по дороге в больницу Юра говорил, что будет очень занят: предполетная подготовка, другие дела...

— Где ты время выкроил — заглянуть ко мне? Грозился

стороной проехать...

Он улыбнулся:

— Выкроил. Урезал на несколько минут важную встречу... Между прочим,— вспомнил,— вчера гранки подписал.

Он имел в виду гранки книги «Психология и космос», написанной в соавторстве с В. Лебедевым и подготовленной к печати в «Молодой гвардии». Редактор в телефонном разговоре вызвался доставить гранки в Звездный, но Юра запротестовал: зачем утруждать кого-то, ему на машине легче будет заскочить, дела-то — на считанные минуты...

Посмотрел на часы, поднялся.

— Поеду. Теперь завтра заглянуть постараюсь...

...Однажды на пресс-конференции один иностранный журналист спросил брата:

— Не устали ли вы, Гагарин, от той известности, которую получило ваше имя после 12 апреля 1961 года? Теперь, наверное, вам обеспечен отдых до конца жизни...

Я вспомнил этот эпизод в связи с тем, что подхожу к самым трагическим страницам своего повествования. Как-то и от одного из соотечественников довелось услышать: зачем-де рвался Юрий Алексеевич в небо? Отдыхал бы себе, пожинал лавры...

Что тут можно ответить? Пожалуй, Юра сам с исчерпывающей полнотой объяснил свою неуемную жажду к работе, свой постоянный порыв в небо, в полет.

— Отдыхать? — возразил он тому иностранному журналисту. — У нас в Советском Союзе все трудятся, и больше всего самые известные люди. Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда — а их тысячи — стараются работать как можно лучше, увлекая других своим личным примером...

ГЛАВА 8
Последний день

Чёрная весть

Мне из дому на работу не так-то уж и далеко: перехожу полотно железной дороги, а за ним асфальт городской улицы начинается. В среду, 27 марта 1968 года, улицы Рязани, по крайней мере главные, были чисты и сухи: весна и лопаты дворников оттеснили снег на обочины — за решетки оград, за проволоку декоративного кустарника, в скверы. Котлованы, вырытые под фундаменты новых домов, были полны вязкой, дегтяной грязи.

Вот и проходная радиозавода. Привычно достаю пропуск, затем иду по длинному и гулкому коридору и оказываюсь в цехе, на своем участке. И люди, которые окликают меня, приветственно машут руками, и ряды станков и оборудование, на котором мне предстоит работать,— все знакомо до мелочей, до деталей: что там ни говори, а — с момента переезда из Гжатска в Рязань — пять годиков уже здесь отработано.

«Почему вы не остались в Гжатске, а переехали в Рязань?» — спросили меня в одной школе, во время выступления перед пионерами. Что тут ответить? Причин для переезда было много. Работать шофером я уже не мог — начали подводить зрение и слух, и надо было приобретать какую-то новую специальность. Тут земляк один, с послевоенных лет обретающийся в Рязани, письмо прислал: хвалил город, особо подчеркивал, как быстро поднимается в нем промышленность, как много в нем техникумов и вузов. Подумали мы с женой, поразмышляли: в Гжатске, кроме маломощного «Динамика», заводов в ту пору не было, а «Динамик» в кадрах не нуждался. И дочери подрастают — поди, в институты захотят. «Что ж, поедем в Рязань»,— сказала Маша. Так в шестьдесят втором и состоялось наше переселение. Гжатск оставляли не без грусти, но и Рязань сразу всем по душе пришлась...

Операции, которые освоил я на радиозаводе, не из простых: делаю лампы для хитроумных машин. Вот она, красавица, у меня в руках — пока еще заготовка, полуфабрикат, и моя задача — довести ее, как говорят у нас в цехе, до ума, вдохнуть в нее жизнь.

Каплями стекает металл с лезвия электрического паяльника, искрятся, посверкивают округлости тонкого стекла. Мысли — о привычном. О том, что через два-три дня получим зарплату, и это

будет весьма кстати. О том, что близится 12 апреля, и уже сейчас, в преддверии Дня космонавтики, нет отбоя от школьников, разрывают на части: зовут выступить на сборах отрядов, дружин, в классах — рассказать о Юре, о его товарищах, с кем посчастливилось мне познакомиться. Если на откровенность, то в соседней школе, в той самой, где учится Валентина, моя младшая, я уже шепнул, что вскорости, Юра приедет в Рязань. Пусть потолкует с ребятами...

Кто-то кладет руку на мое плечо. Выключаю паяльник, оглядываюсь: начальник цеха.

— Добрый день,— говорю.— Случилось что?

Он кивает в ответ на приветствие, как-то странно смотрит на меня и уходит, не сказав ни слова. Чудак человек!

Я снова включаю инструмент. Серебрится расплавленный металл, пламя, отражаясь от стекла, колет глаза.

— Валентин Алексеевич...— слышу за спиной. Оборачиваюсь: Вера Адоян, наша работница. Рядом Люда, старшая дочь. Она недавно пришла на завод, трудится монтажницей.

Глаза у обоих заплаканы.

— Юра погиб, Валентин Алексеевич,— говорит Адоян.

— Папа, по радио передали: дядя Юра погиб... разбился.

С грохотом выпадает у меня из рук лампа, я теряю сознание...

Как ни больно мне, но я должен восстановить в памяти весь этот день, весь черный день 27 марта 1968 года. Восстановить в той его части, которая относится к Юре.

Неделя за неделей, месяц за месяцем кропотливо собирал я по крупицам все, что привелось услышать от товарищей брата, от очевидцев катастрофы, что удалось почерпнуть из печатных источников.

Таким образом и сложилась в воображении картина этого мартовского дня.

Ну, а что касается нас, меня и семьи, то мы сразу же выехали в Звездный.

Пометки в календаре

Так каким образом складывался для Юры тот роковой день?

Проснулся рано, энергично — физические упражнения всегда в удовольствие ему были — сделал зарядку. Умылся. Позавтракал.

Заглянул к девочкам.

Дочери спокойно спали, и дыхание их было ровным и чистым. С задумчивой улыбкой постоял он над их кроватками.

Затем прошел в рабочий кабинет. Там на листках

настольного календаря загодя сделаны были записи на весь предстоящий день. Наскоро просмотрел их:

«10.00 — тренировочные полеты.

17.00 — редакция журнала «Огонек». Круглый стол. Надо выступать.

19.00 — встреча с иностранными делегациями. ЦК ВЛКСМ».

Разумеется, календарь отражал только незначительную часть из множества дел, которыми Юре надлежало заняться. А о том, как невероятно много было этих дел, свидетельствует такой штришок: первоначально вместо встречи в редакции журнала планировалась поездка к Вале. Но встречу нельзя, невозможно было отменить, и слово «к Вале» он вынужден был зачеркнуть.

А что на завтра, на четверг, 28 марта?

Пометил: 1) обязательно (!) навестить Валю; 2) выступить во Дворце съездов по случаю 100-летия со дня рождения А. М. Горького.

«Для Вали и сегодня надо найти несколько минут. Непременно!» — подумал он... А во Дворце съездов как раз и предстояло ему произнести речь о несокрушимом духе горьковского «Буревестника».

Достал из конверта и бегло просмотрел письмо, сообщающее, что он избран членом-корреспондентом Датской ассоциации астронавтики, и билет, свидетельствующий о принадлежности к этой ассоциации, действительный до 1999 года.

— Щедры на сроки,— вслух сказал он и вложил билет между листками календаря.

Под окном посигналил автобус.

— Иду,— откликнулся Юра, хотя конечно же внизу никак не могли услышать его.

В прихожей надел на себя кожанку.

...Может, что-то и не так. Может, сначала к девочкам зашел, а потом завтракал на кухне... Не знаю, да и никто не знает.

Мне утро, начало этого дня видится именно таким.

Дорога в зону

На аэродром космонавты ездили автобусом.

Юра энергично сбежал по лестнице, радуясь весне, солнцу. Больше всего, пожалуй, радуясь предстоящему полету.

Никто не знает, и теперь не дано узнать, о чем он думал в эти минуты. Возможно, вспоминал тот печальный период в своей жизни, когда ему запретили было летать на самолетах. Не по состоянию здоровья, нет, а именно в силу того, что он — космонавт №1… Юра очень переживал. «Я же летчик, боевой

летчик, был и останусь им,— говорил он.— А мне крылья оборвать хотят, музейный экспонат из меня делают, мумию при жизни...» «Да не расстраивайся ты, Юра,— уговаривала жена.— Все будет хорошо». «Как же хорошо? — возражал он.— Я готовлю к полетам других, а сам не летаю. Нет, это ненормально...» «Может, я чем-нибудь помочь сумею? — предлагала Валя.— Пойдем вдвоем попросим, чтобы разрешили тебе полеты...» — «Ну уж знаешь, это никуда не годится, чтобы ты за меня ходатайствовала... Сам добьюсь...»

Ходил на приемы, высиживал часы в передних, пока в высоких кабинетах взвешивали его судьбу: разрешить летать, нет?

Добился!

Без неба не мыслил своей жизни.

Может, об этом он вспоминал, спускаясь к автобусу, а может, о жене, о дочках думал.

Вошел в машину, поздоровался с товарищами, сел.

— Поехали!

Но, буквально через какие-то метры, попросил водителя остановиться. Извинился:

— Я быстро, ребята. Пропуск дома оставил.

Обычно молчаливый, Андриян Николаев запротестовал:

— Брось, Юра, поехали. Тебя весь мир в лицо знает, и контролеры в зоне никогда не спрашивали у тебя пропуска.

— Я мигом вернусь,— повторил Юра.— У контролеров дисциплина военная, зачем же дурной пример подавать?

Вернулся он действительно очень быстро.

— Теперь порядок.

Автобус выкатил на шоссе.

...В десять часов девятнадцать минут самолет с Владимиром Серегиным и Юрой на борту взмыл в весеннее небо.

В соседнем квадрате

Алексей Архипович Леонов рассказывал, что в этот день с молодыми, не летавшими еще космонавтами занимался парашютными прыжками в соседнем квадрате. Расстояние, отделявшее их от зоны полета, было незначительно: хорошо прослушивался шум двигателей взлетавших с аэродрома и заходящих на посадку самолетов.

Он, Леонов, взглянул на часы, когда поднялась машина Юры и Владимира Серегина: 10.19.

Наблюдая, как молодые возятся с парашютами, вспомнил шестидесятый год, разговор с Королевым. Тогда Сергей Павлович объявил им, незадолго перед тем съехавшимся из разных

воинских частей к новому месту работы:

— Через год вы у меня полетите в космос.

Уверенность, с которой главный конструктор произнес эти слова, поразила летчиков. Кто-то, когда выходили от Королева, усомнился вслух:

— Видывал я, братцы, оптимистов, но этот, пожалуй, хлеще всех будет.

Юра живо обернулся:

— А я Сергею Павловичу верю. Должны полететь.

Прав оказался, что верил. И взлететь первым как раз ему выпало.

Еще вспомнил Алексей Архипович неоконченный спор с Юрой. Двадцать пятого вновь пикировались они друг с другом, выбирая вариант будущего отпуска: то ли для начала в Клепики поехать, поохотиться, то ли сразу на Волгу податься. «Я брату обещал приехать...» — настаивал Юра.

Тут что-то с погодой случилось: плотные облака закрыли небо, прыгать с парашютами стало невозможно. Алексей Архипович отдал команду возвращаться домой, а сам машинально взглянул на часы, подумал: «Сейчас Юра с Володей должны заходить на посадку. Что-то не слышно их...»

И тут докатилось издали эхо взрыва.

Потом, на аэродроме, инженер сказал ему, что Владимир Серегин и Юрий Гагарин не вернулись из полета и что горючее кончилось у них двадцать минут назад. А он, Леонов, никак не мог поверить в несчастье. Не укладывалось в голове, что возможно оно.

Валя

Жены летчиков не могут быть спокойными в те минуты и часы, когда их мужья в полете, в небе.

Валя не исключение.

Возможно, больничная обстановка угнетала ее или сознание того, что Юра отправился в полет после долгого перерыва, но в этот день она не находила себе места в палате.

Вечером, не вынеся тяжести одиночества, набрала номер домашнего телефона.

Занято!

Снова и снова крутила она диск аппарата, а отвечали ей короткие гудки. Занято, занято, занято...

Наконец догадалась позвонить соседям. Те ответили с какой-то поспешностью, что Юра еще не вернулся, но дома все благополучно, а девочки как раз укладываются. Телефон же не

отвечает потому, что испорчен.

Утром телефон снова не работал.

А потом открылась дверь в палату, вошли Валентина Терешкова, Андриан Николаев и Павел Попович. Один вид их все сказал Валентине Ивановне.

— С Юрой несчастье? Что? Когда?

— Вчера утром...

Месяц март…

В Звездный приехали родители, брат, сестра.

Я держал маму под руку — она едва стояла на ногах — и вдруг услышал сквозь сдавленное рыдание:

— Какой он месяц — март... Дал Юру и взял его...

Или это не тогда — во время другой встречи сказала она? Не знаю наверняка.

...Потом были похороны, была великая печаль народа.

«Мой папа»

О том, каким был Юра в семье, лучше всего сказала в незатейливом своем школьном сочинении младшая его дочь — Галя. Название сочинения вынесено в заголовок, а текст — вот он:

«Я была совсем маленькой. И вдруг я осталась одна, без папы и мамы, с тетей Марусей, маминой родной сестрой. Лену взяли с собой к морю, а меня — побоялись, уж очень там было жарко. Я страшно обиделась и очень переживала. А папа с мамой у моря тоже скучали без меня и решили меня взять к себе. Через день, ночью, папа прилетел домой. Я так и бросилась к нему: папа, папочка. Я крепко схватила его за руку и не отпускала его от себя, хотя папа объяснил мне, что прилетел за мной. И так проспала всю ночь, держась за папину руку. А утром были мама, Лена, море, солнце и веселый, озорной, любимый мой папа. Весело нам было с ним. Мы с ним плавали до буйка, хотя я плавать не умела, а ездила у него на спине, держась за шею. Иной раз мы так расшалимся, что мама сердилась на нас, а я все равно не отходила от папы, и за это в шутку папа звал меня «прилипалой».

ГЛАВА 9
Бескорыстие

Память людская

...Самолет упал на землю и стал вечным камнем в земле,— сказал космонавт Леонов. Вскоре над этим камнем, отлитым из металла и последнего дыхания летчиков, захороненным в топкой, болотистой почве, лег другой, с надписью, что на месте гибели космонавта и его товарища будет поставлен памятник.

Каждый год мы ездим сюда, на владимирскую землю, и в день 27 марта — это уже традиция, и в другие дни... Вот она, лесная поляна близ деревни Новоселово, что в нескольких километрах от Киржача. Смешение елей и берез вокруг. Верхушки деревьев украшены скворечниками: из года в год строят и по всему лесу развешивают птичьи домики местные школьники, и как многоголосо поют-заливаются в летние дни благодарные птахи. Далеко окрест слышны их песни...

Поляна... Ступишь на нее — и сразу печалят взгляд деревья, те, что поближе к воронке, те, что по-сиротски склонились над ней: верхушки их обрублены, на такие скворечник не повесишь.

В тот страшный день шестьдесят восьмого, услышав о катастрофе, тотчас приехал на эту поляну Александр Иванович Муравьев, первый секретарь Киржачского райкома партии. Он увидел изуродованные страшным взрывом деревья, увидел зияющую рану на земле — свежевырытую воронку, место падения самолета. Подчиняясь порыву, Муравьев опустился на колени и горстями принялся собирать землю от закраин воронки. Влажные комочки почвы обжигали пальцы, как будто впитали в себя и жар человеческих сердец, и тысячеградусную температуру горящего металла: такое было у Муравьева ощущение.

Землю он привез домой.

Летом того же года мы впервые приехали сюда, приехали, как и условились загодя, из разных мест, но к одному и тому же часу, мама с Зоей и Борисом, я с женой и детьми.

Приехала и Валентина Ивановна. Она, кстати, к тому времени уже бывала здесь.

Страшно было мне за маму. В каждом из нас жила, постоянно и болезненно напоминая о себе, тяжесть невыносимого горя, но горе матери и вовсе необъятно, и как-то она выдержит это испытание, это свидание с могилой Юры?

Александр Иванович Муравьев встретил нас на поляне.

Мама долго стояла над воронкой, низко склонив голову, а потом, никому ни слова не сказав, медленно обошла поляну и, глядя себе под ноги, ступая тихо, с осторожностью, скрылась за деревьями.

Мы следили за ней на расстоянии, стараясь не упускать из виду. А она недалеко ушла — вернулась через малое время.

— Вот... собрала...

На раскрытых ее ладонях лежали рваные куски металла. Дюраль, изрезанный и разбросанный взрывом. Быть может, Юра прикасался к нему, ощущал его тревожный холодок.

Валя подошла к матери, обняла, желая успокоить. Да как успокоить-то? Они же стояли, прижавшись друг к другу. Сердце к сердцу...

Возвращаясь из лесу в тот приезд, остановились на какие-то минуты в Киржаче, в райкоме партии. И Александр Иванович, который попросил об этом, принес из дому шкатулку и отдал ее матери.

— Тут земля... Юрина...— тихо сказал он.— В тот самый день у воронки собрал...

— Спасибо, сынок,— бережно принимая шкатулку, поклонилась ему мама.

Через семь лет, в 1975 году, ту воронку опоясало кольцо из черного гранита, и пятиконечная звезда навеки обозначила место последнего приземления Юры и Владимира Серегина. Над звездой взметнулась вверх стела из красного гранита, похожая сразу и на лопасть пропеллера, и на крыло самолета.

На открытие мемориала народу собралось великое множество: родные, космонавты, летчики, жители окрестных сел и деревень, приезжие из Москвы, Владимира, Киржача, из других городов. Погода была не из лучших: и ветер, и облака застилали небо — как тогда, в час катастрофы.

Упало белое полотно, открывая стелу с барельефом Юры и его товарища. Прозвучали залпы салюта... И люди пошли к памятнику, возлагая живые цветы на черное гранитное кольцо, и поток их, казалось, будет бесконечен.

Первыми букеты алых гвоздик оставили на граните мама, Валентина Ивановна и жена Владимира Серегина.

А земля, собранная Муравьевым, находится сейчас в музее, в родном нашем городе.

Память народа, память людская, человеческая...

Время быстротечно, а память строга: не всякое деяние и не всякое имя отбирает она, чтобы, сохранив в себе, пронести через годы, озарить их светом жизнь других поколений.

Юру помнят.

Вскоре после трагедии родной наш город стал называться Гагарином.

Были назначены пенсии родителям космонавта, жене и детям.

В Звездном и в Гагарине открыли музеи, поднялись на постаменты его изваяния в бронзе и граните.

Его именем названы улицы, школы, корабли.

О нем слагают песни.

Помнят Юру и в своем отечестве, и за пределами его.

Память эта представляется мне глубоко бескорыстной.

И не вправе я промолчать о ее проявлениях, заключая рассказ о такой стремительной и такой короткой жизни брата.

Продолжить начатое…

Я уже говорил о том огромном воздействии на умы людей, о воздействии на психологию, на образ мышления, оказанном первым космическим полетом человека.

В несметном количестве писем, полученных в свое время Юрой, встречаются удивительные. Читать их без волнения невозможно. Такое, например, от соотечественника:

«Я полз по мерзлой земле от деревни Большая Береза до лесу — один километр — восемь часов. И за это время стал седым. Это нужно было для Родины, для победы.

Я склоняю свою седую голову перед тобой, Юрий!

Майор Дубровин Валентин Иванович, пенсионер.

г. Львов».

А вот пронзительное по силе чувства письмо, написанное Анной — Марией Козас, маленькой жительницей французского города Фюмель:

«Дорогой Юрий!

От всего сердца тринадцатилетней девочки посылаю Вам это письмо. Я очень взволнована. Не могу себе представить, что Вы обогнули нашу добрую мать Землю. Сколько должны были увидеть! Вам повезло! Мне очень хотелось быть на Вашем месте... Я хотела бы быть русской. Я хочу посетить вашу страну. Но, увы! я только дочь рабочего-ремесленника ...

12 апреля — это дата, которую я никогда не забуду. Мы все были взволнованы. Мама плакала, когда услышала Ваш голос с неба... Мы счастливы, что вы, русские, были первыми в космосе.

В полдень мы увидели Вас по телевидению. К нам пришли наши соседи, чтобы увидеть Вас. Все говорили — я нахожу, что они вполне правы,— что Вы — Человек века. Браво! Мы

восхищаемся вашей страной».

Письма в адрес брата, в адрес других космонавтов, если опубликовать их все, составят огромные тома.

А вот еще одно доказательство популярности советских успехов в космосе. Социологи уже давно обратили внимание на тот бесспорный факт, что самым частым именем для новорожденных в 1961 году было это: Юра. Вспоминается, как иллюстрация к сказанному, случай, который произошел в шахтерском городе Ровеньки. В тот день, когда столица встречала космонавта, в местном роддоме увидели свет шесть мальчиков. И их матери, не раздумывая долго, не дожидаясь согласия отцов, единодушно заявили, что назовут младенцев одним и тем же именем: Юрий. Подобные картины можно было наблюдать и в Москве, и в Гжатске, и в Рязани... Да что там наши, советские города и села! Юноши, нареченные Юрами, именно в те дни нареченные, живут в Японии и в Индии, в Шри-Ланка и на Кубе, в Португалии и в Австралии...

Потрясение и скорбь, вызванные трагической гибелью Юры, тоже оставили памятные вехи о себе. Образ Юры живет в сознании человечества, воплощаясь, как сказал поэт, в пароходы, строчки и другие долгие дела...

В 1971 году сошел со стапелей и стал флагманом советского научного флота турбоход «Космонавт Юрий Гагарин». Оснащенное новейшими достижениями электроники, оптики и радиотехники, судно пока не имеет себе равных. Достаточно сказать, что водоизмещение этого одиннадцатипалубного корабля равно сорока пяти тысячам тонн, мощность главной машины — девятнадцать тысяч лошадиных сил, что, благодаря специальным подруливающим устройствам, он способен пришвартоваться в любом порту без помощи буксиров. На каком бы меридиане ни находился «Космонавт Юрий Гагарин», он поддерживает постоянную связь с Центром управления на территории страны. Системы, которыми оборудованы его лаборатории, позволяют с исключительной оперативностью и точностью решать самые сложные задачи, когда с тверди космодромов уходят в заатмосферные дали спутники, орбитальные станции, космические корабли.

Оно и трогательно, и глубоко символично, сочетание имен, присвоенных эскадре научно-исследовательских судов: «Академик Сергей Королев», «Космонавт Владимир Комаров», «Космонавт Юрий Гагарин». Судьбы людей, когда-то носивших эти имена, так тесно были связаны в жизни...

Мама по приглашению команды гостила на турбоходе, передала в дар морякам, в дар корабельному музею личные вещи

Юры, книги о нем. Они, моряки, часто пишут ей, и мама отвечает па письма...

Советские люди, выезжая за границу, в разных уголках земного шара встречаются со знаками внимания к его имени.

В Париже, как известно, есть площадь, названная в честь города-героя Сталинграда... А глубокой осенью 1969 года в коммуне Романвилль — пригороде, входящем в «красный пояс Парижа», состоялось волнующее торжество по случаю присвоения новому кварталу имени Юрия Гагарина. По признанию мэра коммуны, живут в этом квартале преимущественно рабочие, пролетарии, и политические их симпатии в подавляющем большинстве — на стороне коммунистов, на стороне будущего Франции.

Быть может, как раз руками этих рабочих создавалась та сложнейшая аппаратура, которую, по взаимной договоренности наших и французских ученых, поднимали в космос советские спутники...

Летчик-космонавт Геннадий Сарафанов был в Алжире. И там, в городе Тиарет, во дворе школы, носящей имя Юрия Гагарина, открывал памятник ему. Есть в этой школе и музей, посвященный Юре, а специальными дипломами — тоже его имени — награждаются лучшие из учеников... Осенью 1976 года в Италию с визитом прибыли корабли нашего Военно-Морского Флота, в гости к морякам пришел рабочий Рафаэль Риберти. Он рассказал, что после полета Юры его семья от имени сына Джузеппе послала подарок детям космонавта — игрушки.

— Мы и не думали даже, что получим ответ,— волнуясь, рассказывал Риберти.— Нам просто хотелось выразить чувство восхищения отвагой и открытой душой этого русского парня. И вдруг приходит письмо из Советского Союза.

И Рафаэль Риберти с гордостью показал морякам письмо Юры. Вот оно:

«Уважаемый товарищ, Леночка и Галочка горячо благодарят за прекрасный подарок, который вы, Джузеппе, прислали для них. Сердечно желаю доброго здоровья, счастья и успехов. Всего наилучшего семье и благодарю за внимание.

С дружеским приветом Гагарин»

— Дороже реликвии в нашем доме нет,— сказал Рафаэль Риберти. И добавил, тоже с нескрываемой гордостью: — А Джузеппе вырос и стал коммунистом. Как Юрий Гагарин, как отец...

Известны случаи прямо-таки поразительные. Наш советский журналист в Анголе попал в хижину бедного, неграмотного крестьянина. И увидел на стене хижины цветной портрет Юры,

вырезанный из какого-то издания.

— Вы знаете, кто это? — любопытства ради поинтересовался журналист.

— Знаю,— уверенно ответил хозяин хижины.— Он — хороший, добрый человек.

— А как его зовут? Что он сделал?

Крестьянин пожал плечами.

— Что сделал — не знаю, но плохого он сделать никому не мог: у него такая честная, прекрасная улыбка...

Я говорю об этом, вспоминаю все это сейчас не затем, чтобы лишний раз подчеркнуть: смотрите, мол, какой он был хороший человек, наш Юра! Нет... Юра был живой человек и, как всякий живой человек, имел в своей натуре и достоинства, и недостатки. Какие-то качества проявлялись в нем сильнее, какие-то — приглушенней, он постоянно работал над собой, над своим характером.

А уважение к его памяти — это прежде всего уважение к нашему народу, сыном которого он был, уважение к научной мысли и техническому гению народа.

Вспоминая свой полет на «Востоке», Юра говорил:

«Пересекая западное полушарие, я подумал о Колумбе, о том, что он, мучаясь и страдая, открыл Новый Свет, а назвали его Америкой, по имени Америго Веспуччи, который за тридцать две страницы своей книги «Описание новых земель» получил бессмертие... Подумав об Америке, я не мог не вспомнить тех парней, намеревавшихся ринуться следом за нами в космос. Почему-то я предполагал, что это сделает Алан Шепард».

Он не ошибся в своем предположении: Алан Шепард действительно взлетел вслед за ним... А четырнадцать лет спустя первый американский астронавт комментировал на телевидении совместный полет «Союза» и «Аполлона». «Для меня,— говорил он с экрана,— этот полет является великолепным примером, помогающим донести до сознания моих соотечественников, что космические исследования служат интересам всего человечества, как бы ни искажали эту истину некоторые скептики. Русские удачно назвали свой космический корабль «Союз» — он выражает суть совместного эксперимента, идею сотрудничества наций во имя прогресса и мира».

Миллионы американцев, пристально следя за экранами телевизоров, услышали: в ту минуту, когда «Союз» и «Аполлон» пошли на стыковку, Алан Шепард — в неистовом восторге! — по-русски произнес знаменитое гагаринское:

— Поехали!

Они «поехали» — навстречу друг другу, два земных посланца

на орбите, и, глядя оттуда, с той небесной высоты на нашу планету, русские и американцы вновь могли убедиться в том, о чем впервые вслух сказал Юра: Земля наша велика, но она прекрасна, наша Земля, и жить на ней надо в мире и согласии.

Любопытно, что эти слова первого космонавта перекликаются со словами другого первооткрывателя, начертанными почти четыреста лет тому назад: «Мир маленький; я говорю, что мир не так велик, как думают простые люди...» Это в одном из писем с Ямайки написал Христофор Колумб, и написал в 1503 году.

...Не утихает боль от сознания того, что Юры нет с нами. Трагедия надломила здоровье отца — он долго болел и умер в 1973 году; трагедия сказалась на матери... Не утихает боль. Мучительна бессонница в ночи: терзает картинками из детства, из юности и — жгучей памятью о том мартовском дне. А приходит утро — и рождается в душе понимание того, что надо жить и работать так, как жил и работал он: с полной отдачей, чтобы сердцу скучно не было от безделья.

В музее космонавтики Звездного городка есть книга отзывов. Не об этом ли написали на ее страницах и товарищи Юры — Алексей Леонов и Валерий Кубасов. Вот их запись: «Юрию Гагарину, нашему другу, положившему начало нашей профессии космонавта... Мы приложим все силы, знания, опыт, чтобы достойно продолжить начатое тобой дело». И не ту ли мысль выражает другая запись, сделанная Глинном Ланни, техническим директором американской части проекта «Союз» — «Аполлон»: «Наша группа, участвующая в выполнении программы «Союз» — «Аполлон», особенно рада возможности посетить Звездный городок. Мы надолго запомним оказанное нам гостеприимство и дружеский прием. Каждый из нас будет стремиться продолжать дело, начатое Юрием Гагариным».

Начатое тобой дело... Дело, начатое Юрием Гагариным...

Повторения буквальные и многозначащие...

Город Гагарин, Проспект Гагарина...

Раньше писали по адресу: город Гжатск, улица Ленинградская... Теперь — по тому, что вынесен в заголовок. Впрочем, не только по этому. Они, письма из разных уголков страны, приходили и приходят в редакции газет и журналов, сопровождаемые просьбой «обязательно передать родителям космонавта», получали их и на клушинской почте, и в Звездном городке.

Поток этих писем не поддается никакому учету, случаются дни, когда количество их определяется не единицами — выходит

за пределы десятка.

Разумеется, время и обстоятельства меняют характер и содержание писем, но одно остается неизменным: уважение и любовь к космонавту, благодарность родителям, вырастившим такого сына.

Здесь я и хочу рассказать о малой толике из множества поступлений, составляющих почту родителей, а теперь, после смерти отца, почту матери. Оговорюсь, что все извлечения из писем сделаны с ее ведома и разрешения.

Я уже рассказывал, что в день 12 апреля 1961 года на родительский дом обрушилось половодье приветствий и поздравлений: телеграммы приносили пачками по пятьдесят — сто штук через каждые полтора-два часа. Люди — ив нашей стране, и за рубежом — радовались взлету «Востока» с человеком на борту, выражали свой восторг, свое восхищение. Дня через два-три на смену телеграммам хлынули письма. Тоже восторженные, празднично весенние, потому что чем иначе, как не весной космонавтики, можно было назвать первый выход человека на орбиту Земли?

На катастрофу, случившуюся 27 марта 1968 года, люди тоже отозвались и телеграммами, и письмами, полными участия.

«Дорогие Анна Тимофеевна и Алексей Иванович! Потрясена и не могу смириться с гибелью вашего дорогого вам и нам сына. Искренне соболезную в постигшем вас горе и горюю вместе.

Уважающая вас Александра Николаевна».

Это письмо пришло из Таллина в числе первых. Я не знаю фамилии женщины, отправившей его, возможно, фамилия была на конверте, а конверт не сохранился. Не знаю ее возраста, социального положения. Но в коротких строках, подписанных Александрой Николаевной, сконцентрированы и скорбь народа, и его желание ободрить родителей, желание подставить и свои плечи под тяжесть невыносимого их горя.

«Дорогие Анна Тимофеевна и Алексей Иванович! Ваш сын никогда не умрет: он Человек-легенда. Мужайтесь, вы очень дороги всем людям как родители Юрия Гагарина.

Р. Федоренко, г. Смоленск».

Вместе с этими строчками жена Николая Григорьевича Федоренко, бывшего некогда в Гжатске секретарем горкома партии, вложила в конверт номер «Комсомольской правды» от 31 марта: с газетных фотоснимков смотрит улыбающийся Юра в окружении родных и близких ему людей, тяжелым черным шрифтом набрано через полосу заглавие очерка — «Слово о Гагарине».

«...Когда-то мальчик, пионер в школе, Ваш Юра стал

пионером в космосе. Мы уверены, что многие сегодняшние ученики пойдут его славной дорогой — дорогой покорителей Вселенной»,— написали школьники из подмосковного города Зарайска и заключили свое письмо обещанием учиться только на «хорошо» и «отлично».

Как и после Юриного полета в космос, приходили стихи.

Мария Дмитриевна Прокушева, пожилая женщина из Москвы, написала: «...вместе с вами скорблю о вашей великой потере, и захотелось мне вас утешить, как могу». А дальше шли стихи — наивные, бесхитростные, но от сердца:

У порога его Бессмертья
С вами — миллионы матерей земных,
И образ Юры будет жить столетья...

Капитан запаса Алексей Иванович Гореленков изложил в стихах весь жизненный путь Юры. Есть в его сочинении такие строки:

Священна та земля, где он родился,
Где крылья мужества в борениях обрел...

А из северных краев России пришла в дом родителей «Былина о Гагарине». И начинается она, как положено всякой былине, запевом:

Как на земле на святой на русской
Во славном городе да во Гжатске
Родился добрый молодец
По прозванию Гагарин Юрий свет Алексеевич...

И тоже — вся биография Юры, от детских лет до полета в космос, до той последней секунды, когда оборвалось его дыхание. А заканчивалась былина так:

...на Руси славу поют ему,
Гагарину Юрию свет Алексеевичу,
Аи славу поют век по веку,
Да и будут петь ее вечно...

Многие из авторов писем, соболезнуя отцу и матери, рассказывают о собственных невзгодах и лишениях. И за этим не

проявление личной их слабости видится мне, нет — все то же стремление как-то утешить родителей. Вот послание Татьяны Н. из города Щорса — пронзительная исповедь человека уже не молодого и, возможно, небезразличного к религии, потому что в тексте встречаются ссылки на Евангелие. Жизнь ее, одинокая жизнь слабой, болезненной женщины, сложилась неудачно, но Н. не ожесточилась, не озлобилась на всех и вся, и очень подробное ее письмо, из которого я приведу только выдержки, дышит неукротимой энергией:

«...Может, лучше было бы и не говорить ничего, ибо молчаливая скорбь — тоже участие, но я вспоминаю, как славно радовались мы возвращению Юрия Алексеевича из космоса, и не могу молчать. Мне хочется сказать вам, что Юра не будет забыт людьми, вашу боль разделяет весь народ. Многие родители нарекали своих детей его именем, и они теперь будут равно с вами скорбеть, помня всегда, что в их жизни был Юрий Алексеевич Гагарин... Может, Юрий Алексеевич и не похвалил бы нас за то, что мы так переживаем, но просто нет сил. Нам бы перенять его мужество, позаимствовать его силу воли, чтобы достойно перенести эту утрату!.. Берегите себя, родные, у Героев в жизни особые пути. Разбитое сердце Юрия Алексеевича стало достоянием всех, каждому из нас досталась крупица — давайте помнить об этом».

И, как бы венчая эти строки глубокой печали и непоказного мужества, «старая мать Анна Григорьевна Ожиганова» (так эта женщина подписалась), называя Юру «нашим первенцем, сыном всего народа», просила:

«Анна Тимофеевна и Алексей Иванович!

Не уезжайте из Гжатска. Не покидайте места, где бывал Юрий Алексеевич. Он любил родительский дом, любил город своей юности. Любил сюда приезжать, привозить гостей, отдыхать — быть просто Юрой, ловить рыбу, угощать ухой, вдоволь смеяться и радоваться.

Будут теперь сюда приезжать люди. Будут подрастать его дочки, ходить по тем же дорогам и тропкам, по которым любил ходить он. Там все напоминает о нем.

Пусть Гжатск будет его городом, где снова и снова можно будет встречаться с ним...

Обнимаю вас, дорогие.

Если бы я могла что-нибудь сделать для вас хорошее ...»

Анна Григорьевна угадала: отцу и матери предлагали переехать из Гжатска, но они отказались.

А о содержании писем, строки из которых тут приводились, что можно сказать? Велика душа у народа, и доброе, отзывчивое у

народа сердце.

В почте последних лет преобладают письма от школьников. Ребята рассказывают о том, как учатся, как борются за право называться гагаринцами, создают в школах музеи космонавтики, приглашают в гости, просят обязательно ответить хотя бы несколькими строчками. И мама старается ответить, но, честное слово, ответить буквально всем корреспондентам — даже для молодого и здорового человека задача непосильная, а когда вам за семьдесят, и хвори одолевают... Пусть читатели поймут меня правильно.

Однако откроем несколько конвертов.

Вот двойной лист из тетради в клеточку, подписанный воспитательницей школы-интерната Валентиной Дмитриевной Дерягиной из города Измаила:

«Здравствуйте, дорогая Анна Тимофеевна!

От имени всех своих деток (своих четверо да в группе 30 человек) поздравляем Вас с Международным женским днем и желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Я прочитала книгу Вашего сына Юрия Алексеевича «Дорога в космос» и повесть Валентина Алексеевича «Мой брат Юрий» и все, что есть написанного про вашего Юрия — первого космонавта, Героя Советского Союза. Ваша жизнь, жизнь Юры — это великий источник для воспитания мужества, смелости, честности, трудолюбия. Я много рассказываю ребятам о Вас и Вашем сыне Юре, о его детстве, школьных годах. Ребята слушают с большим интересом и просят рассказывать еще и еще. Я уже так хорошо знаю про Вашу жизнь, про Вашу семью, как будто я жила рядом с Вами. 9 марта мы будем отмечать день рождения Юры, ибо он своими делами обессмертил свое имя. Он среди нас, в наших сердцах, в сердцах наших детей. Мы были бы очень рады, если бы Вы прислали нам свое фото. С горячей любовью к Вам!

Валентина Дмитриевна Дерягина и все мои воспитанники».

Далее действительно следуют подписи тридцати учеников из группы Дерягиной.

Пионерка Люба Афонченкова из шашковской школы на Смоленщине сообщает маме, что они получили ее письмо, и рассказывает:

«Дорогая наша Анна Тимофеевна!

Письмо Ваше читали на торжественной линейке под звуки горна и барабана. Чтец, пионерка-отличница, читала, стоя у пионерского знамени. Многие не удерживали слез, особенно девочки и учительницы.

По просьбе наших родных письмо обошло пять деревень. Читая, все плакали, особенно женщины-мамы, потерявшие

сыновей во время войны...»

Школьница из Темиртау Валя А. признается: «Если у меня бывает трудный момент, я спрашиваю себя: а как бы на моем месте поступил Юрий Алексеевич? Вспоминаю, как отважился он на свой героический подвиг, и решаюсь идти навстречу трудностям... Я мечтаю стать летчиком-испытателем, и как бы мне хотелось, чтобы Юрий Алексеевич был жив, чтобы когда-нибудь на аэродроме я услышала от него слова одобрения...» Дальше Валя просит рассказать о детстве Юры, о его увлечениях, назвать его любимую песню. «Я тоже хочу любить все то, что любил он...» — заявляет девочка.

Надо ли, Валя? Пусть в каждом из нас живут и развиваются свои собственные, не навязанные со стороны, вкусы и наклонности. Садовники знают: не всякая веточка прививается на чужом стволе. Тогда и хорош человек, когда он самобытен, неповторим.

А песни Юра любил многие — и старинные, и народные, и времен Великой Отечественной войны, и более поздние. В космосе, как известно, завершая полет по орбите, он запел: «Родина слышит, Родина знает...» В последнее время очень нравилась ему пахмутовская — «Когда усталая подлодка из глубины идет домой...». Наверно, напоминала о Севере, о лейтенантской юности его!

Конверт с заграничной маркой, адрес, написанный размашистым почерком: «СССР, г. Гагарин, улица Гагарина, дом Гагарина (за мать Гагарина)...» Обратный: Болгария, школа... Следом — другое письмо из Болгарии: пишут комсомольцы-гагаринцы из города Русе, учащиеся механического техникума.

Письма из ГДР, из Чехословакии, с Кубы... Всех не перечесть!

Письма от рабочих и колхозников, от воинов и бойцов студенческих строительных отрядов.

Письма от людей, широко известных в нашей стране, таких, как первая в мире женщина — капитан дальнего плавания Анна Ивановна Щетинина, космонавты Николаев, Леонов, Хрунов, композитор Френкель...

Письма от Валентины Ивановны и внучек.

А вот в конверте, отправленном семьей Осколковых из Кировской области, цветная фотография обряженной в игрушки и электрические огни стройной елочки. Стоит елочка в снегу, за оградой, из окон деревянного дома струится на нее уютный свет. На обороте снимка пояснение: «Елочка Юрия Алексеевича...» В ту весну, когда «Восток» вышел на орбиту Земли, Осколковы посадили под окном крохотное деревце, назвали его Юриным. За полтора десятилетия вон какая красавица поднялась!..

Каждый день заходит письмоносец в дом № 106 по улице Гагарина. Приносит письма.

Наверно, это хорошо, что они приходят. В них — продолжение Юриной жизни.

На улицах родного города

Прозрачное летнее утро. Поезд останавливается на железнодорожной станции Гагарин.

Вокзал — ворота в город. На фронтоне здания — портрет Юры. На портрете брат — совсем еще молодой, улыбчивый: такой, каким увидели и узнали его люди по возвращении из космоса...

Вон и автобус бежит навстречу, торопится напомнить: садись — мигом домчу до нужного места.

В который уже раз шагаю я по этим улицам. И каждый раз дивит меня разительное их обновление. Вот и сейчас, в очень раннее и очень солнечное время июльского утра, город показывает мне помолодевшее, а может быть, и новое лицо. В общем-то, расхожий и безликий лозунг «Вас встречает древний и вечно юный...», коли начертать его на вратах нынешнего Гагарина, вряд ли будет восприниматься здесь как штамп. Город стремительно расстается с былым своим обличьем. На месте старых деревянных бараков высятся громады многоэтажных кирпичных домов: таким столица позавидовать может! Упругое полотно асфальта выровняло ухабистую, почти непроезжую некогда дорогу. Новый кинотеатр «Космос». Новая гостиница «Восток». Названия эти — «Космос», «Восток» — воспринимаются здесь с каким-то особым, обостренным чувством. Мемориальные доски на зданиях: школы — здесь будущий космонавт постигал азы грамоты; завода «Динамик» — здесь встречался он с рабочими; горкома партии — здесь выступал перед трудящимися в качестве депутата Верховного Совета СССР.

На центральной площади города — памятник ему. Дерзкий, молодой, запрокинул он голову — к солнцу, к неведомым дотоле человечеству мирам, к неоткрытым тайнам Вселенной. Еще шаг — и первым из землян преодолеет силу земного притяжения. «Поехали!» — скажет с улыбкой, будто бы и не в космос вовсе поехал — на прогулку за город. Годы проходят, а по-прежнему свежи они в нашей памяти, те сто восемь минут ставшего сразу легендарным полета...

Навстречу мне — группками и порознь — парни и девчата в зеленых и синих куртках бойцов студенческого строительного отряда. Разноязычная речь, но смех одинаковый, роднит —

заразительный, веселый. На объекты спешат ребята. Их, посланцев самых разных вузов страны, здесь тысяча человек. И это уже многолетняя и славная традиция: главные новостройки города возводятся руками юных. Стать бойцом Гагаринского стройотряда — высокая честь, конкурс за это право не меньше и не легче конкурса среди поступающих в вузы...

Позже, когда я зайду в горисполком, мне скажут, что бойцы студенческого строительного отряда работают как заправские мастера, выполняют огромный объем работы. Все, что украсит жилые кварталы города: новые детские сады и ясли, школа, библиотека на сотни тысяч томов, спортивный комплекс,— все будет построено студентами. Старинный провинциальный город станет, вернее, уже становится одним из самых юных и красивых в России — под стать своим зодчим.

Вот и калитка, и — за деревянной оградой, в тени яблонь — дом № 106 по проспекту Гагарина, и мама в дверях...

День был забит заботами, как добрый колос — зерном. Первым делом сходили в музей — посмотрели новую экспозицию. От стен старого дома, завешанных фотографиями и картинами, потесненных стеллажами и витринами, пахнуло вдруг родным, неизбывным: здесь, в этих стенах, прошли детство и отрочество, видели они и раннюю нашу юность, и молодость... Потом — надолго! — отвлекли маму шустрые парни из Ленинградской студии телевидения... Официальные делегации и «неорганизованные», но любопытствующие туристы — числа им несть: дверь в доме, открытая спозаранку, не закрывалась до позднего вечера.

А вечером, когда чашкой чая собрались согнать дневную усталость, пришли девчата из студенческого отряда:

— Анна Тимофеевна, приглашаем вас на концерт художественной самодеятельности. И вас, Валентин Алексеевич.

Концерт затеяли на открытом воздухе, во дворе средней школы, и многие горожане пришли посмотреть и послушать песни и пляски студентов. Наплывали на крыши мягкие сумерки, зажигали электрические лампы на столбах и звезды в небе. Крепли, наливались силой голоса парней и девушек, и звенело над притихшими улицами: «Знаете, каким он парнем был...»

В августе 1977 года я снова встречался в Гагарине со студентами-строителями. Но месяц этот был омрачен еще одной трагедией в жизни нашей семьи: едва перешагнув за сорокалетний рубеж, умер Борис. Младший из нас, братьев.

Причиной ранней смерти была тяжелая болезнь...

В Рязани, на радиозаводе

И о том еще не могу я умолчать, что биография Юры вошла в биографию Рязанского радиозавода. Случилось это и для меня неожиданно.

А было так.

В последний, кажется, мартовский день 1973 года вернулся я из поездки. Невеселое совершил путешествие: сперва на владимирской земле побывал, на месте гибели брата, оттуда мать проводил до дому. А в Рязани, подгоняемый желанием забыться, заглушить в себе тоску, заторопился я на работу, в цех родного завода.

В проходной мое внимание привлекла «молния». Все в ней было необычно: и яркие краски, и многочисленные знаки восклицания, и — главное! — крупно выписанные фамилии. «Молния» сообщала, что в марте месячный заработок слесарей-сборщиков Гагарина, Серегина и Комарова составил 1000 (тысячу!) рублей и что вся, до единой копейки, сумма эта переведена на текущий счет № 170039 Советского фонда мира...

Не сразу. осмыслил я содержание листовки. Читал, перечитывал текст, пока не озарило, что никаких совпадений быть не может, что — хотя и инициалы не указаны — это о них, о Юре и его товарищах идет речь.

И все же какие-то сомнения одолевали меня, и тогда я пошел в партком. Там показали мне официальный документ — приказ № 360 по Рязанскому радиозаводу:

«...Поддерживая патриотический почин коллектива цеха № 8 и на основании решения общего собрания цеха, приказываю:

§ 1. Зачислить в списки личного состава цеха № 8 слесарями-сборщиками Юрия Алексеевича Гагарина и Владимира Сергеевича Серегина.

§ 2. Бухгалтерии начисленную по нарядам на имя Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина зарплату перечислять ежемесячно в Рязанское отделение Госбанка СССР на текущий счет № 170039...»

В третьем параграфе приказа выражалась уверенность, что почин поддержат другие цехи и службы. Подписано директором.

Другим приказом в коллектив другого цеха, тоже слесарем-сборщиком, зачислялся космонавт Владимир Михайлович Комаров.

Сложное чувство овладело мной в те минуты, когда прикоснулся я к сухим, официальным строкам документов. Тут была и с новой силой вспыхнувшая скорбь по безвременно ушедшему из жизни близкому человеку, и великая благодарность людям, с которыми не первый уже год тружусь я бок о бок. Ведь

это в их сердцах — сердцах простых рабочих — родилась идея зачислить в списки коллектива летчиков-космонавтов, каждомесячно изо дня в день выполнять за них сменную норму. Как-то по-новому — просветленно, что ли,— открылись мне эти бескорыстные люди. И сейчас не могу удержаться от того, чтобы не назвать имена некоторых. Вот Валентина Васильевна Абидова: мать двух сыновей, бригадир на участке коммунистического труда, четверть века отдала она заводу, награждена орденом Ленина. Вот Борис Дмитриевич Сергеев — всесторонне образованный человек, увлекающийся трудами Циолковского, Кибальчича, Цандера. Ударницы коммунистического труда Мария Третьякова, Анна Селезнева, Мария Кирсанова, Александра Коростина, Мария Палицына...

Конечно, Юра догадывался о том, какое место отведено ему в истории. Но честолюбие никогда не было ведущей чертой в его характере: прежде всего он думал не о личном престиже и персональной славе — о деле думал, оно всегда стояло на первом плане. «Иногда нас спрашивают, зачем нужна такая напряженная работа? — говорил он, повествуя о быте космонавтов.— Но разве люди, перед которыми поставлена важная задача, будут думать о себе? Подвиг — убежден! — не совершается сам по себе. Он приходит как естественное завершение прожитой до него жизни. Нужно работать каждодневно, ежечасно, во имя людей наших, во имя Родины. Это, если хотите,— подлинный героизм...» И сознавая, что имя его люди будут помнить долго, он вряд ли догадывался, в какие формы будет облечена живая память о нем, людская благодарность к первопроходцам Вселенной. Я, кажется, уже говорил о том, что на одной из пресс-конференций за границей Юру спросили:

— Что бы вы хотели пожелать своим дочкам!

И брат ответил без колебаний:

— И дочерям, и всем детям, и всем людям на земле я хочу пожелать мира, счастливой жизни.

Быть может, в те мгновения, на той пресс-конференции собственное детство в Клушине, ужасы фашистской оккупации всплыли в его памяти... Да что там всплыли! Эта боль жгла его постоянно...

И еще Юра, после ста восьми минут своего космического полета, не уставал напоминать, как она прекрасна, наша планета, и было бы преступно жить на ней в ссоре... Памятуя об этом, мои товарищи по работе из месяца в месяц пополняют кассу Фонда мира.

Ко мне в Рязань не раз приезжала мама. И она побывала на радиозаводе, встречалась и долго разговаривала с рабочими. И

долго стояла в цехе № 8 перед портретами Юры и Владимира Серегина. Кстати, портреты эти написаны Виктором Петровичем Филипенко: в цехе он — секретарь партийной организации, а рисованием увлекается давно и всерьез.

Кто-то однажды пошутил: «У нас на заводе теперь целая династия Гагариных работает. Трое!» Значит, мы с дочерью Людмилой, а еще — Юра, на которого приходится нам держать равнение...

Эпилог

Я уже говорил, что в 1962 году, осенью, наша семья переехала на постоянное жительство в Рязань. Называл причины переезда.

Юра бывал у меня в Рязани. Дважды. И об этом, наверно, надо рассказать чуть подробнее.

Он старался приехать, что называется, инкогнито: никого не предупреждал, не ставил в известность. Но его неизменно угадывали, узнавали — узнавали орудовцы на дороге, мои соседи по дому; в ту минуту, когда он выходил из машины, узнавали дети.

Тайное становилось явным. Начинался наплыв гостей, званых и незваных — официальных, полуофициальных, совсем неофициальных.

Мне кажется, это немало тяготило Юру — уставал он очень от людского потока. Но никогда не жаловался. И со всеми был прост и сердечен, одинаково открыт и доступен для всех.

Первый его приезд случился осенью. Он оделся в штатский костюм, низко на глаза надвинул шляпу, и мы с ним отправились бродить по городу. Рязань пламенела багряной листвой, яркими красками полыхало небо. Неторопливо шагали мы по улицам и переулкам, пересекали площади и, незаметно для себя, оказались в городской роще.

Тут-то и произошла та курьезная история, о которой позже вспоминали мы с улыбкой.

Городская роща — огромный, вековой давности парк — когда-то размещалась на окраине Рязани, а за последние десятилетия, с ростом города, заняла едва ли не центральное место в нем. Уютные аллеи, затененные густыми кронами деревьев, пересекают рощу во всех направлениях. В аллеях всегда полным-полно людей: тут и детсадовцы на прогулке, и пенсионеры, жаждущие глотнуть не замутненного бензиновым чадом воздуха, и школьники, собирающие листву и цветы для гербариев, и конечно же молодежь — студенты, рабочие с ближних предприятий.

Навстречу нам по аллее как раз и двигалась шумная группа юношей и девушек. Поравнялись. И вдруг один из молодых людей, внимательно взглянув на Юру, оторвался от группы и бросился в сторону: там, под сенью лип, торговали с лотка литературой. Юноша швырнул на лоток деньги, схватил какую-то брошюру и бегом вернулся к товарищам.

— Сдачу, сдачу забыл! — закричала вслед лоточница — молодая женщина в модной куртке. Парень не услышал ее.

— Ты же без пяти минут инженер-электроник, зачем тебе эта абракадабра? — со смехом поддел его один из приятелей.

— Дураки, вы ничего не видите: это же сам Гагарин! — возбужденно выкрикнул парень и, выхватив у кого-то авторучку, подскочил к брату.

— Юрий Алексеевич, сделайте милость, разоритесь на автограф!

Делать нечего — не спасли низко надвинутая на глаза шляпа, черные светозащитные очки. Юра взял книжицу, покорно расписался на титульном листе. Улыбнулся, взглянув на обложку: «Посадка картофеля квадратно-гнездовым способом».

Парень, вежливо поблагодарив, отошел.

А в стороне, под сенью лип, творилось невероятное. Ватага молодых людей — оказались они студентами радиотехнического института — штурмовала лоток. Летели на утлый прилавок деньги — бумажки и мелочь, у кого что в кармане обнаружилось, ахала и охала, грудью оберегая свое добро от невиданной этой напасти, продавщица, но — куда там?! — толпа росла, люди в мгновение ока растащили все брошюрки, плакаты, настольные и настенные календари, открытки.

Когда улеглись страсти, когда был подписан последний автограф, Юра подошел к продавщице.

— Вам, вероятно, большой ущерб причинили? — спросил с улыбкой.— Поскольку вина тут моя, готов возместить затраты.

Продавщица оправилась от волнения.

— Что вы, Юрий Алексеевич, я подсчитала: лишние деньги оказались. Сдачи-то не брали почти. Куда я теперь с ними? Вот всегда бы так залежалую литературу разбирали! — вздохнула она и призналась, чуть смущенно: — Одну книжечку, Юрий Алексеевич, я все же спасла. Распишитесь для меня.

Достала из-под полы куртки брошюру, протянула. Юра взял ее в руки и громко рассмеялся: все та же — как сажать картошку квадратно-гнездовым способом.

Ближе к вечеру мы пришли на набережную Оки.

Юра долго стоял, положив руки на решетку ограждения: загляделся на стены и башенки Рязанского кремля, на тонкую свечу вознесенной высоко в небо колокольни Успенского собора. Лучи заходящего солнца ломались и дробились на золотых покровах древних строений, отражаясь, кололи глаза. Ветер заметал под ноги рыжую листву из сквера.

Он сказал:

— Знаешь, вот постоял, посмотрел на кремль — и как-то спокойней на душе стало. Кремли... Сколько их в России... Москва, Новгород и Псков, Астрахань, Ростов... Очень прочно

стоят они на земле.

К нам подошли мои знакомые — ребята, с которыми вместе работал я на заводе. Фоторепортер местной газеты появился неожиданно, как умеют появляться фоторепортеры, и сразу же схватился за камеру. А разговор стал общим — шумным и немного бестолковым.

Потом мы отправились домой, окруженные гурьбой восторженно галдящих мальчишек и девчонок. И Юра охотно фотографировался с ними, и говорил о Евпатии Коловрате и Авдотье-рязаночке, читал по памяти стихи Сергея Есенина:

Седины пасмурного дня
Плывут, всклокоченные, мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.
Над куполом церковных глав
Тень от зари упала ниже...

— Как здорово, сильно как сказано,— заметил он.— Просто и сильно. Погоди, Валентин, выберемся мы с тобой в Константинове. Есенин у меня вот здесь,— он коснулся рукой груди,— в сердце у меня Есенин. Я «Анну Онегину» от строчки до строчки помню... Знаешь, Валя, такое совпадение: Сергей Павлович от Есенина в восторге, великое множество его стихов знает.

Он, конечно, имел в виду главного конструктора.

На второй день мы ушли на дачу, и Юра, сняв рубаху, подставив нежаркому солнцу коричневую от загара спину, размечал лопатой будущий сад и азартно копал ямки под яблони. Кстати, саженцы эти он сам и выбрал в саду у соседа по даче: штрифель, славянку, антоновку.

Уезжая, он признался, что успел привязаться к Рязани и рад за меня, что поселился я в таком древнем русском городе.

Яблони, посаженные Юрой, покрываются веснами нежным светло-розовым цветом, а осенью их ветки гнутся под непомерной тяжестью плодов.

...Была весна, и неуемный солнечный свет обещал скорое цветение, близкую зелень листвы, когда Юра приехал в Рязань во второй раз.

Весь вечер и всю ночь напролет не сомкнули мы глаз. Мы говорили о том, о чем, наверно, могут говорить два родных человека, оставшись наедине. Вспоминали детство, войну, Клушино, Гжатск.

— Хорошо, что человеческая память способна хранить в себе

так много,— сказал Юра.— Без памяти, забыв о своем прошлом, человек не был бы способен жить ни для настоящего, ни для будущего.

Мы легли под утро.

А ближе к полудню в дверь квартиры кто-то позвонил. Юра опередил меня — быстро натянул свой синий тренировочный костюм и пошел открывать.

В дверном проеме выросли фигуры Бори Жаворонкова и Саши Архипова.

— Юра,— сказал я,— это наши рязанские поэты.

— Вот кстати,— обрадовался брат.— Поэты! Земляки Есенина! До чего же здорово! Заходите, ребята, будем завтракать и читать стихи.

Ребята переминались с ноги на ногу, потом Жаворонков громко сказал:

— А ведь похож, очень похож!

Архипов вытащил из кармана книжку:

— Мы вам, Юрий Алексеевич, наш коллективный сборник стихов хотим подарить. Недавно вышел.

— Ну-ка, ну-ка, интересно. «Путь к звездам»? Тем более интересно. Звезды видят вблизи только мечтатели — поэты и космонавты. Я думаю, что космонавты тем и сродни поэтам, что тоже умеют красиво мечтать. Так вы проходите, пожалуйста.

Он улыбался им — весело и дружелюбно, и ребята, оправясь от смущения, переступили через порог.

...Теперь я знаю, у каждого из них есть стихи о первом космонавте.

1969-1970, 1977 гг.

Для старшего школьного возраста
Литературная запись Валентина Сафонова
Печатается по изданию:
Гагарин В. Мой брат Юрий.— Мн.,Юнацтва, 1982.
Художественное оформление. Издательство «Юнацтва», 1988.

Гагарин В.
Г 12 Мой брат Юрий: Повесть: Для ст. шк. возраста / Лит. запись В. Сафонова.— Мн.: Юнацтва, 1988, — 431 с, 24 л. ил.
ISBN 5-7880-0098- X

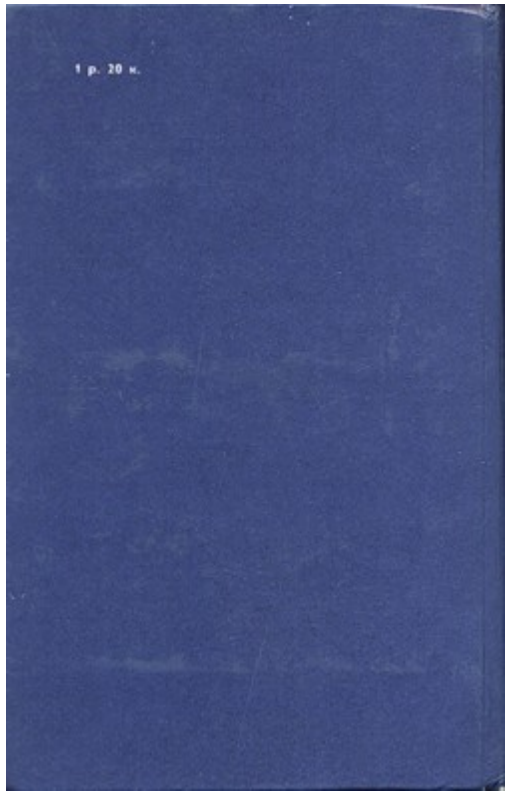
ББК 84 Р 7
ГАГАРИН Валентин Алексеевич
МОЙ БРАТ ЮРИЙ
Повесть
Фотографии А. Щекочихша
Для старшего школьного возраста
Минск, издательство «Юнацтва»
Зав редакцией В. М. Новик
Редактор В. Б. Идельсон
Мл. ред. Г. Д. Зинченко
Художник Т. Д. Царева
Художественный редактор В. И. Клименко
Технические редакторы Г. Ф. Дубровская, А. В. Русецкая
Корректор Л. П. Стесик
ИБ № 1073

Сдано в набор 06.05.87. Подписано к печати 16.10.87. Формат 84Х108 1/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура Кудряшевская энциклопедическая. Высокая печать с ФПФ. Усл. печ. л. 22,68 + 2,52 вкл: Усл. кр.-отт. 27,93. Уч.-изд. л. 23,30. Тираж 90 000 экз. Зак. 390.

Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Юнацтва» Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220600, Минск, проспект Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23.


1 р. 20 к.